



ЮНОСТЬ

11

1969



Из иллюстраций О. Верейского
к книге М. Прилежаевой «Жизнь Ленина».
Подписи к рисункам — из текста книги.

Москва, март 1918 г.

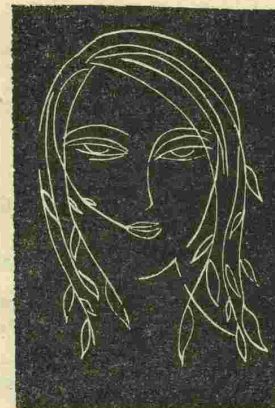
«На другой день после приезда Владимир Ильич с Надеждой Константиновной решили прогуляться, поглядеть, что за Кремль. Поехал с ними старый друг Бонч-Бруевич...»



1870-
-1970

ЮНОСТЬ

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР



ГОД ИЗДАНИЯ
ПЯТНАДЦАТЫЙ

11

(174)

НОЯБРЬ

1969



1870-
1970

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА» МОСКВА

● В НОМЕРЕ ● В НОМЕРЕ ● В НОМЕРЕ ●

● ПРОЗА

- Константин СИМОНОВ. Записки молодого человека 5
 Степан ЩИПАЧЕВ. Миниатюры 40
 Дмитрий ТАРАСЕНКОВ. Человек в проходном дворе. Повесть. Продолжение 43

● ПОЭЗИЯ

- Леонид ВЫШЕСЛАВСКИЙ. Дерево в Горках. Дорога на Торчиновичи. Родство. Лунная ночь. Птицелет. Предгрозье. 2
 Евгений АНТОШКИН. Огненные кони. «И голод был тогда и холод...». «След, уводящий от порога...» 3
 Екатерина ШЕВЕЛЕВА. Логика истории. Сосна 3
 Владимир ПЕТОНОВ. «В Шуше, у подножья Саяна...» Перевел с бурятского Илья Фаликов 4
 Валентин БЕРЕСТОВ. Одуванчики. «Любили тебя без особых причин...» Голос отца. «Один лишь раз, и то в начале детства...» Первая любовь. Зритель. Костик. Билет метро. Военная игра. «Полна, как в детстве, каждая минута...» Дети и звезды. Дверь. Небо первых пятилеток. Ярмарка 65
 Флор ВАСИЛЬЕВ. «Рена раздвинула пределы...» «Не спеша...». «Искусством и молвой увековечен...» Воспоминание. Перевели с удмуртского. Владимир Савельев и Татьяна Кузовлева 66
 Альгимантас БАЛТАКИС. Антилопа. Перевел с литовского Поэль Карп 67

● К НАШЕЙ ВКЛАДКЕ

- О Ленине — детям (интервью с художником О. Верейским) 64

● ТЕАТР

- Е. СИДОРОВ. Семьдесят лет спустя 68

● ПУБЛИЦИСТИКА

- Д. МИЛЮТИНА. Один из ленинской гвардии 74
 Александр МИЛЬЧАКОВ. Рожденный в грозе и буре 88
 Э. КОСТЯШКИН. Педагогическая романтика 93

● ВСТРЕЧИ

- Надежда ЧЕРТОВА. Бессмертный летописец 82

● СРЕДИ КНИГ

- Вяч. ИВАЩЕНКО. Дети революции 91

● НАУКА И ТЕХНИКА

- Владимир ЛЕВИ. Я — для других. Психологические заметки 99

● ЗАМЕТКИ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

- Алла ДЕМИДОВА. Я слушаю ее песни * Чингиз ГУСЕЙНОВ. Повесть о медном лебеде * Е. ЮРЬЕВ. Встреча в Красной Пахре 103

● СПОРТ

- «Высший пилотаж» Ирины и Алексея 106

● «ПЫЛЕСОС»

- А. и Л. ШАРГОРОДСКИЕ. Кем быть? 110
 Александр САВЧЕНКО. Байки. 110
 Анатолий ЖИТНИЦКИЙ. Воспитание талантов. 111

На 1-й—4-й страницах обложки — рисунок Е. СОКОЛОВОЙ и А. МАКСИМОВА.

Художественный редактор Ю. Цишевский.

Технический редактор Л. Зябкина.

Адрес редакции: Москва, Г-69, ул. Воровского, 52.

Тел. 255-17-83. Рукописи не возвращаются.

А 10822. Подп. к печ. 21/Х 1969 г. Формат бумаги 84×108¹/₁₆. Объем 12,18 усл. печ. л. 17,62 учетно-изд. л.

Тираж 2 000 000 экз. Изд. № 2148. Заказ № 2486.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина. Москва, А-47, ул. «Правды», 24.



Леонид
Вышеславский

Дерево в Горках

На склонах берега лесного,
в лугах у каждого бугра
приметы времени много
хранит хрустальная Пахра.
Неторопливо дуб вздыхает,
блестя израненной корой;
раскинулся и отдыхает,
как старый пахарь, над Пахрой...
Яснели будущего годы,
определялся новый век,
и с тайным разумом природы
сливал свой разум человек.
На ветках, взвитых в поднебесье,
лесной мудрец за сотни лет,
как на весах, уравнивал
с землею небо, с тьмою — свет.
И вновь навеки ветром вспенен
его несношенный наряд,
и кажется ему, что Ленин
стоял здесь миг тому назад.

Дорога на Торчиновичи

Есть у меня сокровище одно,
пониные возвышающее душу:
сознание, что некогда и я
вооружен был доблестью свободы
и разряжал оружие свое,
когда того велела справедливость,
такая ж непреложная, как Юг
или как Север, как Восток иль Запад...
Мне памятно созвездье городов:
в тени Карпат недрогнувший Дрогобыч,
и Борислав, и Стрый, и Трускавец,
прославленные нефтью и нефтусей.
Там проходила армия моя —
гвардейская, честнейшая, святая,
вся — молодость, вся — гордость, вся —
порыв,

и эти города освобождала,
и дальше шла в лесную глушь Карпат
по старой Старо-Самборской дороге,
где славный Днестр — всего лишь ручеек,
бегущий по кремнистым перекатам,
где церковь Торчиновичей видна...
И жадно я по всей дороге этой
пил, пил мечту о том, как буду жить
после войны [коль выживу, конечно].
И вот я выжил. Пробили часы
□ Дрогобыче на ратуше старинной

с поры той четверть века...

Ну, и как!

Верна ли жизнь твоя твоим тогдашним
заветам, думам, помыслам, мечтам!
Всегда ли был им по-солдатски предан,
иль, предавая их, терял себя
и падал, падал в рытвины и ямы!..
Вон поднялись Карпаты предо мной,
похожие на медленные тучи...
Как хорошо, что есть в моей судьбе
м о и Карпаты — тропы и вершины —
ни на одной их карте не найти,
но все они, как эти, достоверны.
И среди них одна есть высота,
звущаяся просто в ы с о т о ю.
Ее, в лазурь ушедшую, достичь
теперь, пожалуй, сердцу невозможно,
но я хочу равнять по ней одной
теперешние трудные высоты,
равнять не на привалах круглых дат,
а на угластых склонах повседневно...
Въезжаю в Торчиновичи. Иду
к знакомой хате. Из дверей — хозяйка.
Знакомимся. О прошлом говорим.
Ей двадцать пять.
Войны она не помнит.

Родство

Поселок южный... Южная теплынь...
Щербатый дом на порыжевшем склоне...
[Он предо мной святыней из святынь
предстанет вновь уже на жизни склоне].
Трепещет ночи чуткая душа,
железный путь простерся с нею рядом.
Гремит курьерский, будто из ковша
Медведицы
на землю камни —

градом.

И захлестнуть старается листва
гнездо звезды на одиноком вязе,
но есть на свете ниточки родства,
не рвутся в мире родственные связи.
Теплеет чувства этого запас,
когда, беря глухие перегоны,
и в летнем зное обжигают нас
жесточкой стужей жесткие вагоны.

Лунная ночь

Все те же волны в беге скором,
все та же ночи темнота,
и лишь луна за косогором
все та же — и уже не та.
Уже не та, что нашим дедам
чертила на небе круги,
не та, которой был неведом
след человеческой ноги.
В каком бы ни была покое
она, меж звездами паря,
с людьми придет и все людское
в ее бездушные моря.

Птицелет

Они слетают ниже, ниже,
стремясь побыть хоть миг один
поближе к улице, поближе
к живому зареву витрин.
Пред ними — осень на ущербе,
к закату — небо грозовой,

и дотемна тревожный щебет,
как щепень, сыплется с ветвей.
И провод выгнулся гиляндой,
выдерживая тяжесть их,
над самым шумным и нарядным
из перекрестков городских.
Огней здесь улица не тушит,
вовсю троллейбусы снуют...
Смотрите, люди: птичьи души
в смятенье к нашим душам льнут!

Предгрозье

Накрыло небо грозное
дома приречной полосы.
Запутав стрелки в колкой хвое,
идут осенние часы.
На телеграфной магистрали
к столбам привинченный фарфор
на фоне тучи цвета стали,
как снегом, ослепляет взор.
Окно, распахнутое настужь,
поскрипывает на крючках,
и разгорается ненастье
в янтарно-фосфорных зрачках.
Узлом, завязанным потуже,
сгустилась к ночи тишина,
а небо вздрагивает в луже,
как напряженная струна.

□ □ □



**Евгений
Антонов**

Огненные кони

Когда во мгле еще планета,
Когда она спокойно спит,
Восток, уже раздутый ветром,
Кровавым пламенем горит.
Я вижу вновь светло и ясно —
От этого не спится мне,—
Сминая травы, всадник красный
Летит на красном скакуне.
На тыщу верст вокруг Россия.
Летят ко мне из темноты
Буденовки родные крылья
И свет пяти лучей звезды.
И, увлеченные погоней,
Не зная страха и преград,
Все скачут огненные кони:
Восход — закат, восход — закат.

☆

И голод был тогда и холод —
В руинах черных вся страна.
Мы все равно ходили в школу,
Еще не кончилась война.

И был урок последний пеня,
Бачок с водой в углу замерз.
Откуда-то сухих поленьев
Мой друг в холодный класс принес.
Была учительница рада,
Что в печке теплились огни:
«А ну-ка, подружней, ребята,
Про Волочаевские дни!»
Мотив не сразу нам давался,
Но были все увлечены.
С портрета Ленин улыбался.
Казалось, не было войны.

☆

След, уводящий от порога,
И дума тайная одна,
И сад, и дальняя дорога,
И три завешенных окна.
И санный полоз в лед закован.
И дуб ветвистый, как олень.
И новый клуб, сельпо и школа,
И отсвет дальних деревень.
И лошади бочок подталый,
И сеном пахнущий февраль.
А если б этого не стало,
А если б только снег и даль!..
И будешь думать: может, глупо
Куда-то мчать, сойдя с ума,
Следя за лошадиным крупом,
Считая версты и дома!
И вспоминать былые споры
В кругу родных, в кругу друзей.
Село — оно теперь, как город,
Село охоче до вестей.
И что ему мой глупый лепет!
И будет все манить назад:
И огонька далекий трепет
И матери прощальный взгляд.

□ □ □



**Екатерина
Шевелева**

Логика истории

Сумятица цитат, тревог.
Приятели неистовы.
Казалось бы, что шаг всего
до очевидной истины.
От столкновения умов,
разгоряченных спорами,
до полки ленинских томов,
до логики истории.
Ведь полка эта — вот она,
над головами дымными!

Но по сверкающим волнам,
под аргументов ливнями,
по твердокаменному льду,
по розовому вереску
они дойдут,
они дойдут
до этой полки ленинской!

Сосна

Крутых ветров выдерживая ярость,
Она в песке уже века стоит.
Был сильный шторм.
Я крепко к ней прижалась,
К ее ветвям — зеленый пух на вид!
В меня вонзились длинной хвои стрелы —
Разлук и расставаний остряя.
Все расстоянья мне вонзились в тело,
Но лишь сильнее к сосне прижалась я.
И чудится уже, что губы ранит,
Сгибает плечи добровольный груз
Всех бесконечно долгих ожиданий.
Смолой считалась — камнем становлюсь.
Напоминая о казачьих предках,
Сливаясь с ураганом, одичав,
Иголками утыканная ветка
Меня нагайкой хлещет по плечам.
Но испытанье выдержу любое,
Но сохраню на сердце каждый шрам,
Пронзенная тысячетней болью,
Счастливая любовью к Вам.

□ □ □



Владимир
Петров

«В Шуше, у подножья Саяна...»

1. Невеста

В такую глушь опаздывают вести,
но эта весть поистине нова:
— К Ульянову
приехала
невеста!..
Разносит эхо свежая молва.



Улыбчива невеста молодая,
бела лицом, лучистые глаза,
и, под сибирским солнцем отливая,
с плеча спадает русая коса.

В глазах блистают солнечные блики,
и этот свет сильнее тьмы и зла.
Ах, счастье-то какое —
вот и книги,
те, нужные, —
она их привезла!

— Теперь мы богачи!
Мы всех богаче! —
Он оглашает тихое жилье
и в выпуклые щеки
по-ребячьи,
зардевшуюся, чмокает ее.

Тюки такие —
через всю Россию!..
Он прямо на полу склонился ниц,
редеющие прядки золотые
касаются мелькающих страниц.

Стучат часы...

Она,
лукаво глядя,
легонько гладит волосы его;
и слышится сквозь смех:
— Володя!..
— Надя!..
И молодость справляет торжество!

2. Сияние

«...и я.. сочинял еще в
Красноярске стихи:
«В Шуше, у подножья
Саяна...»
Из письма В. И. Ленина
М. А. и М. И. Ульяновым
от 18/V 1897 г.

Вечный снег на хребте осиянном.
И в высоком сиянье
шорох сосен плывет над Саяном,
пересвист, кукованье.

Это — молодость, раннее лето!
В птичьем звоне и гаме
он проходит по белому свету,
ружьецо за плечами.

Проникает сияние в душу,
и на лоне поляны
так блаженно бормочется: «В Шуше,
у подножья Саяна...»

Нет в груди ни сомненья, ни страха,
грудь все крепче и шире,
и сияют вершины, как сахар, —
сладок воздух Сибири!..

Птичье пение к вечеру глуше,
лес в кумысе тумана,
словно снег опускается к Шуше
с векового Саяна...

Перевел Илья ФАЛИКОВ

Константин Симонов

*Людмила Кудымичева
на добрую
память
от немого
дого автора*

Записки молодого человека



Фотография 1941 года.

Рисунки Ю. Цишевского.

ДВАДЦАТЬ СТРОК НА МАШИНКЕ...

*Постараюсь, чтобы мое предисловие заняло не больше двадцати строк.
Все, о чем рассказано в этих записках, было очень давно.*

Мне было двадцать шесть, когда я на второй год войны по своим блокнотам и по памяти продиктовал их в том виде, в каком они у меня с тех пор сохранились. А когда я улетал в ту первую командировку на Север, которая в них описана, мне было двадцать пять. Вот почему я назвал их «записками молодого человека».

За четыре года войны редакция «Красной звезды», где я работал, около тридцати раз посылала меня и в длинные и в короткие командировки на фронт. Первая из них была под Могилев, последняя — под Берлин. В этой тетради записок пойдет речь о тех командировках, что были в первую военную осень и зиму, когда упрямо жившая в нашей душе вера в то, что мы выстоим, нашла себе подтверждение в первых трудных победах над немцами.

Я исключил некоторые длинноты, главным образом связанные с разными подробностями нашей корреспондентской жизни. А в остальном, не желая вторгаться задним числом в свои тогдашние мысли и наблюдения, ограничился исправлением стилистических погрешностей. Такого же принципа я придерживался и раньше, когда в последний год войны печатал некоторые страницы этих записок.

1969 г.

Летим в Мурманск

В предписании и у меня и у летевшего со мной Миши Бернштейна было сказано:

«С получением сего Вам надлежит отправиться в Действующую Северную армию и Северный Морской флот для выполнения заданий редакции».

Вышло это так: после возвращения из Крыма я приехал в редакцию «Красной звезды» сдавать свой последний очерк о боях на юге и столкнулся там с Мишкой, которого не видел с Халхин-Гола. Он был недавно ранен, но уже поправился, встретил меня с шумом и объятиями и взял с меня слово ехать в следующий раз на фронт вместе.

Как раз в тот момент, когда меня вызвали к редактору «Красной звезды», ему принесли сообще-

ние ТАСС о том, что в боях на Карельском фронте принимают участие английские летчики. Ортенберг сразу же загорелся и сказал, что надо послать туда человека. Ну, а поскольку именно я находился в этот момент в его кабинете, естественным продолжением его мысли было послать меня туда. Я ответил, что ехать готов, но напомнил, что в Крыму моего возвращения ждет член Военного Совета Николаев.

— Ничего, — сказал Ортенберг. — Подлетишь на недельку, вернешься и поедешь обратно в Крым.

Я предложил, чтобы как фотокорреспондента со мною послали Бернштейна, и наша поездка была решена. Сразу же вслед за этим начались звонки по телефонам — Ортенберг добывал самолет.

Из Москвы до Вологды мы долетели на «Р-5», а там, после четырех суток полетной погоды и ожидания, пересели на двухмоторный «ТБ-1», который шел до Архангельска.

Четверо суток в Вологде прошли нудно и бесцельно. Мне хотелось поскорее впрячься в работу, и эта задержка меня очень расстроила.

Вологда в эти дни выглядела абсолютно тыловым городом. У ресторанов стояли толпы, кого-то били, швыряли на землю, порой пахло поножовщиной, случались драки и между военнослужащими. Все это удручало меня. Иногда вдруг мерещилось, что попал куда-то в третий или четвертый год первой мировой войны. Какие-то люди в военной форме, приехавшие в командировку откуда-то из АХО или продотделов, толкали, брали за грудки других людей и вопили: «Мы, фронтовики...» — чего, судя по моим наблюдениям, действительно фронтовики обычно себе не позволяют.

А сам город был осенний, дождливый, весь в деревянных мостках со скрипящими досками, с низкими серыми домами и с крылечками, похожими на те, какие писал на своих картинах Рерих. От самого города у меня осталось хорошее воспоминание. Именно там, в эту поездку, у меня родилось первое ощущение Севера, которое потом, почти без изменения, повторилось и в Архангельске. Там, в Вологде, я написал первые строфы стихотворения «В домотканом деревянном городке...», которое дописал уже позже.

Вылетов из Вологды, мы примерно через два с половиной часа прилетели в Архангельск. Все кругом было низко и плоско: серое море, серый широко раскинувшийся северный городок. Много простора, много дерева, холодно и красиво.

Сидя у дежурного по аэропорту в надежде перекусить — о чем с присущей ему энергией уже хлопотал Мишка, — я прочел в местной газете, что сегодня в Архангельском драматическом театре идет пьеса «Парень из нашего города»...

Архангельск выглядел совершенно мирным городом. На улицах было много народу, кое-где в толпе сновали английские матросы. Глядя на других людей, мы вдруг заметили, насколько мы не бриты и не мыты и, прежде чем являться в театр, почистили сапоги и зашли в парикмахерскую.

В театре мы познакомились с его директором Андреевым, бородатым, уютным, умным русским человеком, и с художественным руководителем Простовым, сибиряком, мужчиной высоким, хитроватым и не лишенным юмора.

После спектакля пили у него чай, который нам разливала его мама-сибирячка, с гладко зачесанными назад волосами, иконописным, как из камня вырезанным лицом и спокойно льющимся голосом.

После чая нас уложили ночевать на заботливо по-

стенных театральными диванчиками в задней комнате за директорской ложей.

На рассвете через еще не проснувшийся город пошли к пристани. Там в ожидании рейсового парохода я вдруг заметил двух интендантов — одного сухопутного, а другого Морского. Лицо сухопутного интенданта мне показалось очень знакомым, и, взглядевшись, я узнал Юрия Германа. Морским интендантом оказался корреспондент «Северной вахты» Коновалов, белобрысый молодой человек ленинградского типа, корректный и язвительный.

Герман жаловался, что он уже пятый день не может добраться до Мурманска: два раза вылетал и два раза возвращался из-за непогоды.

По дороге Герман рассказал, что здесь, в Архангельске, дожидаясь отправления в Мурманск, сидит еще и Александр Жаров и фотокорреспондент «Известий» Зельма.

Добравшись до аэродрома, мы узнали у дежурного, что все места в самолете уже расписаны. Почувствовав, что если я не улечу сегодня, то просижу здесь столько же, сколько уже просидел в Вологде, я начал напирать на дежурного. Кроме командировочного предписания «Красной звезды», у меня была еще бумага из ПУРа, подписанная самим Мехлисом. В результате в списках пассажиров чьи-то две фамилии были зачеркнуты, а наши две вставлены, и нам было сказано, чтобы мы быстрее шли к самолету.

Все это произошло на глазах у растерявшихся Юрия Германа и Коновалова; они, в свою очередь, нажали на дежурного, но уже ничего не смогли поделать — их оставили до следующего самолета.

На мое несчастье, я оказался без вины виноватым. Как выяснилось уже потом, в Мурманске, две вычеркнутые дежурным фамилии оказались фамилиями двух других военных корреспондентов, а именно Германа и Коновалова. Боюсь, что они мне так потом и не простили этого, хотя, клянусь богом, я узнал об этом только несколько дней спустя.

Через пять минут мы погрузились в самолет и вылетели.

Было адски холодно. Самолет шел над морем, а потом над безлюдными пространствами восточной оконечности Кольского полуострова. Делалось все холоднее и холоднее.

Над самым Кольским полуостровом мы летели часа полтора. Делать было нечего, и я все время смотрел вниз. Но сколько ни смотрел, не увидел там под нами ни одного людского жилья.

В двенадцать часов дня мы приземлились на аэродроме. Кругом лежал снег — Север уже окончательно вступил в свои права: картина, знакомая по 1938 году, когда я в первый раз был в этих краях.

Дожидаюсь машины, которая бы довезла нас до города, мы просидели два часа в штабе авиадивизии. Летчики расспрашивали меня о том, как дела на Юге. Почему-то это их интересовало больше всего другого. Может быть, по закону контраста.

Мы доехали до Мурманска на разбитой полуторке. За те три с половиной года, что я в нем не был, город заметно отстроился. Вместо единичных каменных домов в нем уже было две или три сплошь каменные улицы и большой пятиэтажный проспект Сталина.

Заехав в редакцию армейской газеты и побывав в этот же вечер на командном пункте 14-й армии, расположившемся за городом, в неприметном, глухом месте между сопок, мы к ночи добрались до го-

стиницы «Арктика», в которой, на наше счастье, оказался свободный номер, да притом еще, как это обычно называют в провинциальных гостиницах, «правительственный». В номере было целых две комнаты, так называемая «люксовая мебель» и неработавшая ванна, которую потом мои коллеги фотокорреспонденты сделали своей лабораторией.

После всех перелетов и переездов этого дня — по морю, по воздуху и по суше — мы заснули как мертвые.

У англичан

Ава следующих дня ушли на знакомство с людьми и выяснение того, как, с кем и с чьего разрешения можно съездить к английским летчикам для того, чтобы сделать о них очерк. Тем временем из Архангельска прилетел Юрий Герман, и мы вместе с работником политотдела армии Развилковским поехали к англичанам.

Поездка началась с того, что мы направились в Грязное, на командный пункт командующего морской авиацией генерал-майора Кузнецова. Английские летчики находились в его непосредственном подчинении, и от него зависело разрешение посетить англичан.

Командный пункт Кузнецова был устроен под землей, врезан в холм и оборудован, я бы сказал, по корабельному принципу: с отсеками, с каютами, с иллюминаторами. Чисто и уютно. Сам генерал Кузнецов был красивый мужчина, из-за своей седины казавшийся по крайней мере сорокалетним, но когда я поближе пригляделся к нему, то понял, что ему едва ли перевалило за тридцать. Он говорил с нами сдержанно, с достоинством и с той, ставшей уже традиционной для всех имеющих отношение к флоту привычкой несколько акцентировать эту свою принадлежность и подчеркивать превосходство всего морского над сухопутным. Хотя, вообще-то говоря, и сам генерал Кузнецов и все его летчики-истребители были воспитаны на сухопутье и отличались от других здешних летчиков-истребителей главным образом тем, что ходили в морской форме.

Кузнецов рассказывал нам, что в его руках объединили и истребительную авиацию и зенитную оборону и что благодаря этому он имеет возможность более планомерно отражать воздушные атаки немцев.

От Кузнецова мы поехали к англичанам. Нас встретил заведующий хозяйством этого английского авиационного крыла — мистер Ходсон. Это был маленький, плотный, краснолицый человек, очень предупредительный и вежливый, но с проскальзывавшими иногда металлическими нотами в голосе. До революции он подолгу жил в России; во время интервенции, как он сам рассказывал, был в Архангельске и Мурманске, а потом, по его словам, в течение последних двадцати лет служил в английском туристическом бюро. Два или три раза за это время приезжал в СССР, но главным образом специализировался по Германии и знал ее, как он выразился, досконально.

С начала войны и до поездки к нам, в Мурманск, он работал в министерстве авиации. Как он нам объяснял, территория Англии разделена на несколько десятков округов, в каждом из которых имеется свой шеф-переводчик, он же, как я понял, контрразведчик, который на территории своего района допрашивает всех сбитых и попавших в плен немецких летчи-

ков. Такая система, по словам мистера Ходсона, обеспечивала планомерность этой работы и создавала кадры опытных в своем деле людей.

Судя по пронзительному взгляду мистера Ходсона и по его манере держать себя, он и сам был человеком опытным. Надо думать, за двадцать лет работы в туристическом бюро он основательно изучил и Германию и немцев и, наверно, хорошо умел их допрашивать...

Он казался мне похожим на управляющего каким-нибудь крупным именем, а моментами даже чудилось, что это не англичанин, а русский эмигрант. Очевидно, все же это было не так, но он совершенно изумительно говорил по-русски. На груди у мистера Ходсона красовалась целая радужная полоса — ленты английских и французских орденов, которыми он был награжден за первую мировую войну.

Он любезно взялся сопровождать нас в течение всего времени нашего пребывания у англичан.

Стоявшая под Мурманском английская авиационная часть называлась «крылом». Крыло — это основная единица в британских воздушных силах. Она бывает и меньше и больше по своему составу. В одних случаях почти соответствует нашей дивизии, а в других немножко превышает по количеству машин наш полнокompлектный авиационный полк.

Что меня удивило и что показалось заслуживающим внимания, так это то, как мало у англичан лишних людей в их штабном аппарате. Весь штаб крыла состоял из подполковника — командира крыла, из офицера Интеллидженс Сервис — он же начальник штаба и начальник разведки в чине капитана, из мистера Ходсона — заведующего административной частью, и трех унтер-офицеров — клерков штаба. Все остальное — только летный и технический состав.

На знакомство с англичанами у меня ушло два дня. С особой тщательностью и подробностью мистер Ходсон показывал нам хозяйственную сторону дела. Англичане приехали, не собираясь расставаться со своими домашними привычками, и привезли с собой множество отечественных бытовых и хозяйственных предметов. В жилых комнатах летчиков мистер Ходсон показывал нам все то снаряжение, которое возит с собой английский офицер. Оно благообразно подобрано и при этом относительно портативно. Разумеется, при условии сидения на одном месте. Всего уже и не упомяну, а в частности, каждому офицеру полагается иметь пять одеял, из которых может быть сооружена кровать, а в случае надобности — палатка. Кроме того, с собой возится небольшая брезентовая ванна и ведро, ибо предполагается, что уважающий себя англичанин без ванны не проживет.

Мистер Ходсон водил нас по разным комнатам штаба, и в одной из них произошел забавный разговор.

— А вот это наш шифровальный аппарат, — сказал Ходсон, показывая мне какую-то крутящуюся штуку. Перед ней сидел человек, а самой этой штуки я отродясь не видел.

Мы с Германом кивнули головами с понимающим видом. После этого Ходсон небрежно сказал:

— А хотя вам, наверно, не впервые это видеть. У вас ведь такие же аппараты?

Мы промолчали.

Переждав это молчание, он повторил:

— Какие у вас аппараты, такие же круглые, да?

Юрий Герман сказал, что, очевидно, да. Впрочем, он не знает точно.



— Но у вас же не руками шифруют,— настойчиво сказал Ходсон.— Ведь верно? У вас же все-таки на аппарате шифруется?

На этот раз Юрий Герман промолчал, а я сказал, что, очевидно, не руками, но я лично вижу шифровальный аппарат впервые в своей жизни.

Хотя это была святая правда, но по лицу Ходсона я увидел, что он мне, видимо, не поверил. Счел, что мы осторожничаем с ним и уклоняемся от истины.

После осмотра штабных помещений мы отправились на аэродром. Шел мелкий снежок, и было довольно холодно. Кругом нас сновали английские солдаты. Все они ходили налегке — серые штаны, шерстяная куртка, на голове — пилотка, а в руке или у пояса неизменная каска, по форме больше всего похожая на перевернутую тарелку.

Когда я спросил Ходсона, зачем они носят с собой эти каски, он сказал, что таков приказ по армии: ни при каких обстоятельствах не расставаться с каской. Что офицеры еще иногда позволяют себе в этом смысле вольности, но солдатам это категорически не разрешается, и один из них недавно даже попал за это под суд.

При встрече англичане неизменно козыряли, но делалось это как-то небрежно, я бы сказал, слегка. Солдатской выправки в обычном понимании этого слова не чувствовалось. А в то же время за этим чувствовалась какая-то иная, своя форма дисциплины.

Как и все здешние северные аэродромы, аэродром представлял собой довольно большое зигзагообразное поле, искусственно выравненное, очищенное от валунов и со всех сторон окруженное скалами. Все самолеты, кроме дежурных, стояли по краям поля, в небольших замаскированных сверху укрытиях. Несколько англичан играли в футбол посреди снежного летного поля.

Мы подъехали на машине к командному пункту крыла и взобрались на скалу, на которой он находился.

В помещении командного пункта сидел подполковник Ишервуд, красивый человек небольшого роста, с тяжелой, начинающей седеть головой и умным лицом. Рядом с ним сидел капитан — офицер Интел-

лидженс Сервис, неплохо говоривший по-русски и производивший впечатление совершенно обратное тому, какое производил подполковник. Подполковник был, несомненно, солдат, в то время как капитан был, несомненно, разведчик. Чего он, впрочем, и не скрывал.

Особенно длинного разговора не получилось. Мы немножко поговорили с Ишервудом с помощью нашего представителя при англичанах — капитана морской авиации Андрюшина, потом постояли на наблюдательном пункте и двинулись в блиндажи эскадрильи, расположенные по краям летного поля.

В этих блиндажах сидели и дежурили летчики. Сначала мы заехали в блиндаж эскадрильи майора Рука. Майор Рук был высокий мужчина лет тридцати или тридцати с небольшим, черноволосый, с веселыми глазами и черными усиками. Если майор Рук был очень высок, то его брат, капитан Рук, отличался и вовсе гигантским ростом. Кстати, это было запечатлено на висевшей в блиндаже карикатуре — капитан Рук летел в бой, сидя верхом на своем «харрикейне» и свесив ноги от неба до земли. По словам Ходсона, Рук и его брат происходили из «хорошей», как он выразился, семьи.

В своем, хотя и низком, но довольно просторном блиндаже англичане сделали все, чтобы возможно веселее отбивать время дежурств. В блиндаже стоял патефон с танцевальными пластинками, и было несколько игр: бильбоке, китайский бильярд и пробковый круг, в который, как в мишень, по этому же принципу, бросают металлические стрелки со стабилизаторами из перышек. Эта простая на вид игра требует для успеха довольно длительной тренировки, для которой, впрочем, в условиях здешних северных непогод у англичан было вполне достаточно времени.

Из досок и набитых сеном матрацев англичане устроили у себя в дежурке низкие самодельные кресла, на которых можно сидеть развалившись и даже думать. Меня приятно поразило, по контрасту с тем, что я иногда видел у нас, это отсутствие у англичан серьезности и официальности там, где ни то, ни другое вовсе не требуется. У нас в авиационном полку пришлось бы, пожалуй, сначала убеждать со-



ответствующее командование, что это никого не размагнитит и никого и ни от чего не отвлечет и что вообще ничего не будет плохого, если в блиндаже, где дежурят летчики, появятся вот такие игры или патефон с пластинками. Есть у нас, у русских, этот грех. Какая-то мрачная отрешенность: на реку — так на реку; воевать — так воевать; дежурить — так дежурить, мрачно сложив руки на животе. А между тем это отнюдь не улучшает настроения, скорее наоборот.

В блиндаже у англичан царила веселая непринужденность, а в быту, в личном общении они обходились друг с другом по-товарищески, легко и свободно, в этом смысле очень напоминая наших летчиков.

Бернштейн долго мучил терпеливых англичан. Сначала снимал в блиндаже, потом вытащил на мороз и снимал у самолета, слева и справа, в кабине, в летных шлемах, без шлемов, и основательно проморозил их. Но они крепились, старались не стучать зубами и делали бодрые, фотогеничные лица.

Нам представилась возможность убедиться на практике в правильности слухов о том, что англичане и американцы — большие любители сувениров. У многих английских летчиков были приколоты к мундирам наши звездочки, у некоторых привинчены «шпалы», у других пришиты наши форменные пуговицы. Нам тоже пришлось вывернуть карманы и отдать все, что нашлось.

В эту ночь, перед нашей следующей поездкой к англичанам, Юрий Герман сидел на койке в номере гостиницы и, положив на колени казавшийся ему уже ненужным в силу атмосферных условий плащ, одну за другой терпеливо спарывал с него пуговицы в предвидении новой встречи с союзниками.

В этот и на следующий день мы познакомились с несколькими английскими летчиками, в том числе с маленьким Россом. Это, как нам сказали, был очень хороший летчик, представленный в Англии к высшему авиационному ордену. Он сбил над Лондоном двенадцать немецких самолетов, но здесь, в Мурманске, ему не везло. Ему за все время еще не удалось сбить ни одного самолета, в то время как длинный капитан Рук сбил уже трех немцев.

А вообще англичане сбили здесь уже не то шестнадцать, не то семнадцать самолетов. Причем тринадцать или четырнадцать сбילה эскадрилья майора Рука, а вторая эскадрилья — майора Миллера — всего-навсего три.

Майор Миллер, тоже, как и Рук, высокий детина, но несколько постарше него, рыжий, с лысеющей головой и густыми рыжими усами, почему-то напомнил мне портреты рыцарей в латах, но без шлемов, на страницах читанных в детстве «Всеобщих историй». Майор Миллер был похож на предводителя ландскнехтов, а эскадрилья его занималась главным образом передачей нашим летчикам прибывших из Англии с транспортом истребителей «харрикейн». Этим он и объяснял, что его ребята сбילה пока так мало самолетов, но, несмотря на логические объяснения, сам этот факт явно расстраивал Миллера.

Когда англичане пригласили нас, корреспондентов, пообедать, за столом выяснилось, что они тоже не лыком шиты: один из их унтер-офицеров — клерк, служивший в штабе крыла, одновременно являлся корреспондентом крупной лондонской газеты.

Из офицерской столовой мы пошли посмотреть солдатскую. Там, рядом с кухней, прямо на земле стояли глиняные бутылки с ромом. Рацион состоял из одного металлического стаканчика рома вместимостью граммов в 70, но его разбавляли водой. Неразбавленный ром пить воспрещалось.

Уже вечером, перед отъездом, мы зашли в жилые помещения летного состава. Вернувшиеся с дежурства летчики собрались в большой комнате с самодельными низкими диванами. Там висел такой же пробковый круг, как в дежурке, и несколько летчиков беспрерывно бросали в него стрелы. Двое или трое читали журналы, остальные болтали, развалившись на диванах.

По комнате ходил унтер-офицер, обносивший всех желающих виски и содовой. У англичан своя система выпивки, диаметрально противоположная нашей. Они наливают на дно стакана микроскопическое количество виски и по несколько раз доливают его водой. Каждая порция не превышает тридцати граммов, но пьют они целый вечер.

Вдруг обнаружилась смешная для меня подробность. У разносившего виски унтер-офицера была с собой книжечка, в которой расписывался каждый, кому наливалось виски. Когда мы удивленно спросили Ходсона, что это означает, он объяснил, что офицерам, так же как солдатам, в качестве бесплатного рациона полагается ром, а виски — это их личный расход. Поэтому каждый и расписывался за свою порцию. Вообще-то это понятно, но меня вдруг рассмешило, когда я представил себе на минуту наших собравшихся на отдых летчиков, которых обносят рюмками с налитыми в них тридцатью граммами водки и заставляют каждый раз расписываться за каждые тридцать граммов.

От англичан мы снова вернулись в Грязное и, переночевав там, во второй раз пошли к Кузнецову. После англичан было решено съездить в стоявшие тут же неподалеку наши авиаэскадрильи. Советуя, куда именно поехать, Кузнецов отзывался о своих летчиках с понравившимся мне чувством собственного достоинства и умной сдержанностью, которая не всегда у нас встречается. Слишком часто начальники говорят у нас о своих подчиненных взхлеб, толком не зная всех обстоятельств и подробностей и не слишком дорожа своими словами, не до конца отвечая за каждое из них.

Самого известного тогда, да и потом, здесь, на севере, летчика капитана Сафонова нам повидать не удалось. Мы развехались с ним, — оказывается, он поехал к англичанам. Но вместо него мы увидели нескольких других хороших людей, в том числе командира эскадрильи капитана Туманова и старшего лейтенанта Коваленко, о котором я написал потом очерк «Истребитель истребителей».

К ночи мы вернулись в Мурманск. В нашем номере прибавился третий жилец — фотокорреспондент «Известий» Гриша Зельма, а Юрий Герман переночевал и утром уехал в Полярное. Мы договорились с ним, что не будем посылать материал об англичанах отсюда, а отправим его, когда вернемся в Архангельск, предварительно согласовав, чтобы не повторять друг друга.

За ночь я написал очерк об англичанах — «Общий язык», а утром, открыв газеты, с огорчением увидел, что в «Известиях» от 5 октября уже напечатана корреспонденция Склезнева об этих же самых англичанах. Корреспонденция, на мой взгляд, была не такая уж хорошая, но так или иначе этот материал на ближайшее время был исчерпан, и я, перечитав свой написанный за ночь очерк, положил его в полевую сумку.

Что дальше?

Выходило, что главное, из-за чего мы приехали, с точки зрения материала в газете, не состоялось. Вставал вопрос: что дальше? Настроение было поганое. Из Москвы начали идти тревожные известия о том, что немцы прорвали фронт и наступают. Первое желание было — бросить все и вернуться!

Но, с другой стороны, нельзя было делать такой огромный конец впустую. Вдобавок меня тревожило, что в период отступления — я это уже хорошо знал по своему опыту — ценный для газеты материал получить почти невозможно, и, значит, газета сидит голодная. Именно в такие дни, как никогда, нужны материалы с других, устойчивых участков фронта.

А еще, кроме всего прочего, мне очень хотелось после Одессы — самой южной точки фронта — побывать на Рыбачьем полуострове, на самой северной его точке. Но на море были шторма, и на Рыбачий ни сегодня, ни завтра не было надежды выбраться. А газета не ждала!

Поэтому я занялся делом, которое меньше всего люблю, — стал собирать с чужих слов материал для того, чтобы немедленно передать какой-нибудь очерк.

Впрочем, на этот раз мне повезло, и я познакомился с рядом людей, которые стали потом моими фронтowymi друзьями.

В морской разведке я познакомился с ее начальником — капитаном второго ранга Визгиным, плотным, веселым человеком, добродушным, хотя и несколько резковатым в обращении, — и с его заместителями. Один из них был сдержанный, невозмутимый подполковник Добротин. Когда-то он начинал свою судьбу в Конармии, потом много ездил по белу свету, уж не знаю в качестве кого, хорошо владел языками, был очень вежлив и обязателен — словом, являл собой тот тип высокообразованного военного профессионала, с которым не каждый день встретишься.

Он довольно подробно рассказал мне о работе морской разведки, прохаживаясь по комнате и слегка волоча ногу, еще не зажившую после недавнего ранения во время одной из наших диверсий против немцев в Норвегии.

Познакомился я и со вторым помощником Визгина, майором Люденем, о котором потом упоминал в очерке «В праздничную ночь».

Люден был полной противоположностью Добротина. Это был своего рода еврейский гусар — среднего роста, толстешустрый, лысеющий человек, в толстых очках, блестящих своими какими-то восьмигранными стеклами. У него были шумные повадки одессита и привычка вечно напевать какие-то арии и ариозы. Судя по всему, у него, как и у Добротина, был порядочный опыт за спиной и заграничные командировки, но при этом страшная любовь ко всему таинственному и романтическому. Говорил он об этом шумно, с азартом и, хотя, по сути, не выбалтывал ничего лишнего, то есть вовсе не был трепачом в отношении действительных секретов, но в его манере обращения и в его разговорах присутствовал оттенок чего-то немножко несерьезного, трепаческого. За ним утвердилась кличка «Диверсант», которая ему самому очень нравилась.

По своим поступкам это был боевой командир, ходивший уже шесть или семь раз в глубокие разведки в тыл к немцам, но, видимо, его служебной карьеры вредило то, что он такой шумный и веселый — то сыплет анекдотами, то делает таинственный вид.

Таким людям, как он, у нас трудно. Когда человек шумит и рассказывает анекдоты, это подчас кому-то кажется достаточным поводом для того, чтобы не повышать его по службе независимо от его реальных достоинств.

За день до моего прихода в морскую разведку туда вернулся с диверсии небольшой отряд, которым командовал лейтенант Карпов. Мы с ним долго разговаривали. Это был крепкий, коренастый, серьезный парень. Лицо его производило несколько странное впечатление оттого, что он в предпоследней разведке получил редкое ранение — пуля насквозь пробила ему нос, и теперь казалось, что у него по обеим сторонам носа посажены две черные мушки.

Рассказывал он мне деловито и гладко, и то, что он рассказал, послужило мне главным материа-

лом для первого, посланного отсюда, с Севера, в газету очерка «Дальние разведчики».

По профессии гидрограф, Карпов, когда у него убили брата, попросился в морскую разведку и стал работать в ней. Потом, уже в ноябре, мы отправились одновременно с ним в две разведывательные операции. Людены меня взял в одну, а Карпов пошел в другую. Из этой операции он уже не вернулся: был убит наповал из парабеллума во время ночного боя в немецком блиндаже.

Кроме Карпова, я познакомился с разведчиком, старшиной Мотовилиным и довольно много записал с его слов. Но для газеты это сделать не успел — все осталось только в блокноте.

Мотовилин представлял собой интересный тип парня, не столько дисциплинированного в прошлом; он нашел себя во время войны именно в качестве разведчика — смелого, решительного, великолепно го ходока — и вообще человека, словно специально приспособленного ко всяким жизненным случаям, связанным с работой разведчика.

При этом было любопытно, что он, с увлечением отдаваясь своей работе, был совершенно лишен честолюбия. Не думал о командирском звании, не хотел учиться на командира и не собирался оставаться после войны в армии. Его интересовали охота, рыболовство, и в его собственном отношении к работе разведчика было, пожалуй, больше от охотника, чем от солдата.

После разговора с Карповым и Мотовилиным разведчики неожиданно пригласили меня вниз, в свою кают-компанию. Выяснилось, что я случайно угодил на их маленькое, как они выражались, «семейное торжество». Они устраивали товарищеский ужин после возвращения из разведки одной из своих групп.

За столом было больше двадцати человек — Мотовилин, Карпов, Людены, Добротин, Визгин, военфельдшер отряда Ольга Бараева, крепко скроенная девушка, коротко стриженная, с хорошим русским лицом; она уже ходила в несколько разведок.

Я как-то особенно остро запомнил этот вечер в бревенчатом доме на окраине Мурманска. За окнами была метель, непогода, а в доме было жарко и тепло. Все выпили и говорили немножко громче, чем это было нужно для того, чтобы их услышали. Были тосты за возвратившихся, и в память погибших, и за тех, кто сейчас находится там, в тылу.

На меня пахнуло романтикой этой работы, и я почувствовал, что мне будет неудобно дальше расспрашивать этих людей, пока я хотя бы один раз не испробую на собственной шкуре то, что переживают они.

Я сказал Визгину, что хотел бы сходить с разведчиками в одну из операций. Он сперва пожал плечами, а потом сказал:

— Ну, что ж, я думаю, это можно будет устроить.

Я хорошо запомнил атмосферу этого вечера — дружескую и чуть-чуть взвинченную и из-за отсутствия людей, ушедших в разведку, и из-за присутствия других людей, только что вырвавшихся из смертельной опасности.

На другой день я познакомился с капитаном государственной безопасности Свистуновым. Это был сдержанный и корректный ленинградец, человек твердый в своих обещаниях. Он вызвал для разговора со мной недавно бежавшего из немецкого плена красноармейца по фамилии Компанеев, со слов которого я написал потом очерк «Человек, вернувшийся отсюда», в редакции его почему-то переименовали, назвав «В лапах фашистского зверя».

Я выспрашивал его несколько часов подряд, и рассказ его показался мне страшным. Страшным не по-

тому, что он рассказывал о каких-либо особых зверствах — как раз этого в данном случае не было, — но за его спокойным рассказом вырастала целая система мелкого садизма, гнусного отношения к людской судьбе, спокойного и неторопливого убийства человека, который попадает в плен. Рассказ этот, со всеми его мелкими подробностями — с костями, из-за которых дрались пленные, с мордобоем, с холодом, с голодом — был еще страшнее и реальнее в своей типичности, чем рассказы о вырезывании звезд на спине, о выжигании глаз и других зверствах.

В эти же дни я познакомился с полковым комиссаром Рузовым. Рузов оказался очень интересным человеком. До Папанина он был два года начальником зимовки на мысе Челюскин и написал об этом книгу. Все его товарищи за помощь при спасении челюскинцев получили ордена, а он нет, потому что, приняв по радио какую-то бюрократическую директиву от своего начальника из Севморпути, радировал ему матерный ответ — в буквальном смысле этого слова. В Москве, удивившись, затребовали подтверждение. Рузов подтвердил. В первую мировую войну он был разведчиком из вольноопределяющихся, имел солдатский «георгий». В гражданскую войну служил в кавалерии, а в эту войну его по причине знания иностранных языков законопатили сюда, хотя, как мне казалось, ему больше бы пришлось по душе работа в разведке. Он был человек смелый в своих суждениях, остроумный, занозистый, любитель и выпить, и поухаживать за женщинами, и пошуметь, и рассказать забавную историю. Словом, веселый, шумный человек, у которого есть и ум, и сердце, и собственные мысли в голове. Во всем, что касалось непосредственно служебных дел, он был абсолютно деловым и самоотверженным человеком.

Я познакомился с Рузовым в маленькой комнатке, где он допрашивал пленного немецкого летчика, красивого парня, начинавшего обрастать бородой. Было холодно. Немец зябнул и кутался. Хотя в печке трещали дрова, но ее только что затопили.

Рузов, допрашивая немца, бегал по комнате, время от времени подбегая к печке и на бергу протягивая к ней руки. Он был маленький, совершенно седой, с острым носом и устремленным вперед лицом. На груди у него был орден и две медали.

Встретил он меня весьма недружелюбно и лишь потом, к вечеру, сменил гнев на милость. Причиной его первоначального недружелюбия, как потом оказалось, был один мой коллега, который, взяв у него интересный документальный материал, потом переврал все, как сумел.

Я ходил к Рузову три дня подряд в ожидании, когда улучшится погода и пойдет наконец мотобот на Рыбачий полуостров.

17 октября, когда уже стало известно, что погода улучшилась и один из мотоботов сегодня в три часа дня отправится на полуостров Рыбачий, уходящий в город, Мишка Бернштейн вернулся красный и взволнованный. Оказывается, сегодня в Москву летели двое корреспондентов «Сталинского сокола», которые предлагали Мишке лететь вместе с ними. А кроме того, в Мурманск прилетел кто-то из газетчиков, вылетевший из Москвы накануне, и он рассказал Мишке некоторые подробности происшедшего в тот день... Теперь было уже ясно, что немцы угрожают непосредственно Москве.

До прихода Мишки было точно договорено, что я и Зельма плывем сегодня на Рыбачий, а Бернштейн, который не переносил качки, тем временем едет посуху в 52-ю дивизию, к генералу Вещезерскому. А

потом, когда мы вернемся и съедемся в Мурманске, Зельма и Бернштейн взаимно поделаются своими снимками.

Но теперь Мишка стал шуметь, что нас командировали всего на десять дней и что он дольше здесь не может оставаться, а должен лететь со всеми теми снимками, которые он уже сделал, прямо в Москву, что здесь, на Севере, ему уже больше нечего делать, а в Москве невозможно не быть.

Я разделял его чувство; мне самому было почти непереносимо думать о том, что происходит там, под Москвой, и к этому — что греха таить, — примешивались еще и личные чувства. В Москве оставались и мать, и отец, и все другие близкие мне люди. Но, с другой стороны, газетное чутье по-прежнему подсказывало мне, что именно сейчас газете необходимы корреспонденции отсюда, со стабильного фронта, где не отступают, где все в порядке, и что это по закону контраста в такие дни особенно хорошо прозвучит в газете. Поколебавшись и преодолев первое желание — немедленно лететь в Москву, я уговорил Мишку отправить снятые пленки с фотокорреспондентами из «Сталинского сокола», а самому ехать, как мы раньше условились, на фронт к Вещезерскому.

Плывем на Рыбачий

К двум часам дня мы с Зельмой пришли на лесную пристань и увидели судно, на котором предстояло плыть. Это был небольшой, до крайности грязный мотобот «Таймень», очень маленькое суденышко, на котором числилось всего восемь человек штатской команды, включая сюда капитана, и главного механика, и буфетчицу.

На этот раз «Таймень» был гружен дровами, которые в ожидании зимних, еще более свирепых штормов спешили заранее доставить на Рыбачий и Средний полуострова.

Мы влезли на мотобот, он отвалил, и мы часа два медленно шли по Кольскому заливу, еще долго продолжая видеть Мурманск. Погода была хорошая. Немцы совершали очередной налет на Мурманск. Над головами, над заливом крутились самолеты, шел воздушный бой, а где-то сзади бомбили.

Капитан, долговязый немолодой человек, в ватнике и в красной выцветшей фуфайке, всю дымя махоркой, рассказывал нам, как в прошлый рейс, когда он ходил в гавань Эйну, его обстреляла немецкая батарея и сделала ему несколько небольших пробоин. Он рассказывал нам эту историю на все лады и очень громко, как глухим. Из этого я уразумел, что, как видно, он в предыдущий рейс возил на Рыбачий не только дрова, но и водку, и это не осталось без последствий. Впрочем, сам капитан развивал другой вариант. Он с увлечением любующегося собственной ложью человека рассказывал о каком-то мифическом полковнике, который был хороший человек, очень хороший человек, прекрасный человек, и оставил ему целую бутылку водки: «Во!» — капитан в несколько приемов, постепенно все шире и шире разводя руками, показывал, какая это бутылка. «На тебе, Петруша! Пей, дорогой моряк. Пей, пока живой», — так звучали слова полковника в изложении капитана, которого с этой минуты мы стали звать между собой Петрушей.

В начале пятого спустились сумерки, и уже мимо Грязного мы шли в полной темноте. На море свежело. Петруша высказывал опасение, что «Мот-

ка, — так он по-моряцки называл Мотовский залив, — Мотка, она, стерва, помогает сегодня. Ох, и мотать будет!» — гозорил он с пьяной улыбкой и с таким довольным видом, словно его прогнозы могут доставить нам одно только удовольствие.

Потом мы по приглашению Петруши спустились в его каюту. Это была крошечная клетушка с крошечным столиком и двумя койками, одна над другой. Я завалился на верхнюю, а Зельма на нижнюю. К этому времени мы уже вышли в Мотовский залив, и нас действительно начало качать.

Часа через полтора в каюту пришел сменявшийся с вахты Петруша. По-прежнему вспоминая добрыми словами полковника, он вытащил из-под койки действительно изрядных размеров бутылку с водкой и налил в чайные стаканы — себе и нам. Мы выпили. Стало тепло и хорошо, и даже начало казаться, что меньше качает.

К этому времени в каюту Петруши явился парходный механик, человек с угрюмым характером и, как сразу же выяснилось, с весьма мрачными взглядами на жизнь. Он был недоволен сразу всем: Петрушей в качестве капитана, тоннажем своего мотобота, плохим состоянием машины, наличием войны между Германией и СССР. Но больше всего тем, что это его очень волновало, даже в таком пьяном виде, в каком он появился в каюте у Петруши. Очевидно, добродетельный полковник снабдил водкой не только Петрушу, но и механика. И я начал уже опасаться, как бы мы из-за доброты полковника не попали вместо гавани Эйны на мыс Пикшув, к немцам.

Между механиком и Петрушей произошел длинный спор, в котором оба они апеллировали к нам. Негодование механика не утихло часа полтора или два. Он вспоминал разные горестные эпизоды из своей жизни и укорял нас тем, что мы вот плывем и даже не знаем, с каким трудом он, механик, возит нас на этом паршивом мотоботе, на котором такая невозможная машина. Он упрекал Петрушу в том, что тот ушел с вахты, а немцы тем временем могут нас обстрелять. Но когда задетый этими словами Петруша решил раньше времени вернуться на вахту, механик стал обижаться: «На кого же ты меня оставляешь, Петруша?» Петруша остался.

На исходе второго часа беседы механик наконец уснул, положив голову на стол, а Петруша все же отправился на вахту.

Прошло несколько часов. Хотя довольно сильно штормило — было пять или шесть баллов, — но ветер оказался попутным, и мы пришли в Эйну раньше, чем предполагали, глубокой ночью. Ежась от холода, мы вылезли на палубу и по сходне перебежали на берег.

Влево и вправо уходили берега Рыбачьего полуострова, скалистые, покрытые снегом. И рядом с этим снегом окаймлявшее его море казалось почти черным.

Справа от того места, где мы пристали, поднимались мачты недавно затопленного здесь, а когда-то раньше известного всей стране гидрографического судна «Персей». Подальше торчали мачты и трубы еще двух затопленных судов.

После того, как немцы в первые же три дня войны своим маршем на восток, к реке Западная Лица, отрезали Рыбачий и Средний от материка, они лишили гарнизон полуостровов всякого сухопутного сообщения. Теперь, пытаясь нарушить единственную оставшуюся коммуникацию — морскую, немцы зверски бомбили и маленькую гавань Озерки на Среднем полуострове и гавань Эйну на Рыбачьем. И на причалах и в их окрестностях не было буквально

ни одного живого места, все было в занесенных снегом воронках.

Мы вылезли на берег и пошли искать начальство.

Ночь была студеная и ветреная. Мела метель, под ногами крутилась поземка. Проваливаясь в снегу, мы с Зельмой забралась на какую-то гору, но никого там не нашли, вернулись на пристань, пошли снова, но уже в другую сторону и, наконец, по легкому дымку нашли пещеру, в которой грелся дежурный патруль. Красноармеец проводил нас к коменданту. Его землянка, в километре от гавани, была врезана в один из каменных холмов.

В этой довольно просторной землянке с четырьмя койками, за сбитым из досок столом сидел комендант гавани Эйна старший лейтенант Гинзбург, как выяснилось, одесит по рождению, убеждению и образованию. Пока что за время войны здесь, на Рыбачьем, у него был только один корреспондент, и комендант очень обрадовался нам.

Мы сразу стали спрашивать его, как добраться до штаба укрепленного района. Он сказал, что быстро добраться туда нечего и думать. Днем из Эйны в Озерки морем не пройдешь, потому что все последние дни немецкая батарея с Пикшуева простреливает насквозь залив, а посуху надо ехать сорок километров. Но сейчас дорога, соединяющая Эйну с Озерками, занесена так, что несколько десятков грузовиков с продовольствием вот уже двенадцать часов стоят в снегу, и водители только и делают, что разгребают снег, чтобы грузовики окончательно не занесло.

Услышав это, мы попросили у коменданта разрешения доспать у него ночь, и он, по законам северного гостеприимства угостив нас водкой, чтоб согрелись, предложил нам укладываться.

Под утро меня разбудил могучий кашель и храпение. В землянку с разгрузки дров вернулся подполковник Собчак, старый вояка, на вид лет за пятьдесят, с седыми усами и зычным голосом лейб-гвардии фельдфебеля. Оживленно обсуждая с комендантом результаты погрузки и разгрузки, он храпел, кашлял, хмыкал, заполняя могучими трубными звуками все помещение землянки. Наконец Собчак с Гинзбургом заснуло, и я тоже.

Прошло еще полчаса или час. Я сквозь сон услышал, как комендант разговаривает с кем-то по телефону. Потом опять кто-то пришел в землянку, и начался служебный разговор в резком тоне, причем, как я, даже спросонок, сразу сообразил, одним из собеседников была явно женщина. Когда я открыл глаза, то увидел стоявшую перед Гинзбургом официально, навытяжку, девушку в набекрень надетой ушанке, в полушубке, бриджах и щеголеватых сапожках. Она говорила с ним очень громко и очень официально.

— Товарищ старший лейтенант,— говорила она,— если вы не обеспечите мне транспорт для срочной доставки раненых с пункта медпомощи на пристань, то я подам рапорт по команде.

Она говорила четко, соблюдая все периоды и все запятые. Гинзбург устал, спросонок сидел за столом и отвечал ей миролюбиво и тихо:

— Таисия Ивановна, ну зачем же рапорт? Я вам и так все сделаю. И почему вы сейчас пришли? У меня тут люди спят, журналисты приехали. Ну зачем вы с вашим рапортом людей будите?

Но Таисия Ивановна со всей гневной и непреклонной официальностью своих девятнадцати лет требовала выполнения каких-то параграфов, которые обязан был выполнить комендант гавани Эйна.

— Вы комендант или не комендант, товарищ старший лейтенант? — спрашивала она.

Гинзбург по-прежнему миролюбиво соглашался с тем, что он комендант.

— Так в чем же дело?! — непреклонно спрашивала Таисия Ивановна.

Комендант сказал еще несколько миролюбивых фраз, клонившихся к тому, что он выполнит требования Таисии Ивановны, после чего она наконец ушла, кинув на нас, грешных, высокомерный взгляд.

Когда я проснулся в следующий раз, сквозь крошечное оконце пробивалось чуточку белесоватого света. Зельма вскочил, схватил аппарат и отправился шастать по гавани, спеца снята все, что тут можно снять в светлое время. А я остался в блиндаже ждать куда-то ушедшего Гинзбурга. Вскоре он вернулся, и мы сели завтракать.

За завтраком он немедленно начал расспрашивать меня об Одессе. Первый вопрос был, конечно,— как там, в Одессе, оперный театр? Когда я сказал, что в оперный театр попали два снаряда, а множество повредили фронтон, Гинзбург стал ахать, как, впрочем, ахали при этом рассказе и другие одеситы, и долго сокрушался, говоря о том, какой это был изумительный театр и как ему жалко, что в него попали снаряды. Он так горевал, что могло показаться: разбитый фронтон одесского театра — чуть ли не главная наша потеря за время войны.

Ответив ему на все вопросы об Одессе, я все-таки стал выяснять, как нам добраться в Озерки. Выяснилось, что мотоботы: туда пока не пойдут, а машины тоже пойдут не раньше чем через сутки-две: метель все еще продолжается. А пробовать ехать туда верхами комендант не советовал.

— В такую метель, как сейчас, извините за выражение,— добавил он деликатно,— мы и в уборную-то по веревке ходим. Натянем и ходим, а то заблудиться можно.

Я попросил его созвониться со штабом укрепленного района, попросить, чтобы за нами будущей ночью прислали оттуда, из Озерков, моторку. Комендант одобрил мой план и приказал телефонисту дозвониться туда. Тогда я спросил, чем можно заняться здесь в течение этого дня. Он ответил, что ничего особенного тут у них нет, что Зельма, которого он встретил на улице, пошел снимать зенитчиков. Но они еще не проявили себя здесь в такой мере, чтобы о них стоило писать.

Потом мы разговорились. Он стал вспоминать жену и дочь, оставленных им в Одессе, сказал, что тоскует по югу, и шутя заметил, что если Кольский полуостров — нос европейского материка, то Рыбачий полуостров — это бородавка на носу, и, стало быть, он здесь не что иное, как комендант бородавки, только и всего.

Потом пришла Таисия Ивановна. Она не показала мне такой грозной, как ночью, и разговаривала теперь с комендантом уже менее сурово. Выяснилось, что она военфельдшер, начальник звачопункта в гавани Эйна, единственное лицо среднего командного состава женского пола в пределах всего Рыбачьего полуострова. Видимо, это обстоятельство и обязывало ее к такому строго официальному и суровому обращению с лицами командного состава мужского пола. А то, что ей было всего девятнадцать лет, составляло ее вдобавок требовать, чтобы в тех случаях, когда к ней обращаются не по званию, ее называли только полным именем и отчеством — Таисией Ивановной.

Гинзбург вскоре ушел, а мы с Таисией Ивановной остались сидеть в землянке. Когда мы разговорились, когда она сняла ушанку, под которой обнаружился короткий, по-мальчишески стриженный волос, Таисия Ивановна оказалась девушкой Таей, из

Ленинграда, с папой, мамой, с сестрами и братьями. Сюда, на Рыбачий полуостров, ее занесло уже шесть месяцев назад, и здесь у нее под началом было шесть женщин — санитарок и прачек, которыми она командовала со всей строгостью, присущей ее возрасту.

Кроме того, здесь, на Рыбачьем, было человек тридцать командиров, многие из которых поначалу сочли своей прямой и приятной обязанностью ухаживать за Таисией Ивановной. Удивляться этому не приходилось: большинство людей сидело здесь, в этом укрепленном районе, уже давно, со времени заключения мира с Финляндией — с марта сорокового года.

А между тем девушка была командиром и должна была выполнять свои служебные обязанности и вступать при этом в пререкания с другими начальниками из-за транспорта, из-за питания, из-за медикаментов и из-за многого другого. Уже сложились официальные отношения, которыми она не могла пренебрегать. От этого-то и родилось ее постоянно напряженное состояние, ее подчеркнутая официальность и даже требование, чтобы ее звали только по имени и отчеству. В условиях, когда кругом нее были только мужчины, малейшая фамильярность, одна улыбка кому-то из них уже не дали бы ей возможности работать дальше так, как она хотела и считала нужным.

Все это напомнило мне чем-то рассказ Горького «Двадцать шесть и одна» и ту опасность, которая угрожала там героине...

Днем я вместе с комендантом ходил в блиндаж к женщинам; политрук гарнизона проводил там комсомольское собрание.

К чему только не привыкаешь на войне! Но сейчас, когда я вновь вспоминаю этот крохотный блиндаж с длинными сплошными нарами, эту земляночку, в которой заперты семь женщин, на самом краю света, на холме над гаванью, которую все время бомбят; вспоминаю тамошние страшные ветры и постоянные метели, — мне начинает казаться, что я никогда не забуду тех, казалось бы, ничем не примечательных минут, что я пробыл там.

На собрании женщины сидели устало, клевали носами, не в силах преодолеть желания спать. Потому что как раз днем они обычно и спали, а по ночам работали. В прачечной стирали белье только в темное время, когда идущий из трубы дым не демаскировал наше расположение. И при таком распорядке работы получалось, что даже сейчас, когда полярная ночь еще не началась, эти женщины по целым неделям не видели дневного света.

К вечеру Гинзбург наконец дозволился, и ему обещали, если хоть мало-мальски позовет погоду, прислать за нами из Озерков моторку. А метель все продолжалась.

Ближе к ночи пришел подполковник Собчак. Он устало повалился на койку, свернул сигарку и вдруг стал рассказывать о финской кампании и о том, как он мучился тогда с оленьим транспортом, будь он проклят!

— Уж слишком неприхотливые животные — олени, — сердито говорил он. — Такие неприхотливые, что ничего, кроме своего ягеля, не жрут. А где его возьмешь, этот ягель? Дашь ему сена — головой мотает, дашь ему хлеба — головой мотает. Дай ему только ягеля! А ягеля нет. Так я и воевал с ними, с оленями. Я на себе вместо них грузы таскал, а они ходили и свой ягель искали.

Собчак стал одну за другой выкладывать разные административно-хозяйственные истории, связанные со службой на Севере. Запомнить я их не запомнил,

но понять хорошо понял: что здесь, на Рыбачьем, все перевозки, все виды снабжения — и топливо и еда — все достается горбом!

За этот день, что мы пробыли в Эйне, ее два раза бомбили, и один раз прямо над головами начался воздушный бой, ушедший потом куда-то за облака.

Теперь, ночью, говорили об этих бомбежках лениво, привычно обсуждая, где и когда падали бомбы, где сегодня, где в прошлый раз. Собчак сказал, что если бы собрать все железо, сброшенное на несколько домов, составлявших раньше поселок Эйна, то из одного этого железа можно было бы выстроить три таких поселка.

Про бомбежки говорили долго, наверно, часа полтора. И я понял, что как ни крепись, а сидеть здесь уже полтора года людям безмерно скучно и бомбы, падающие в разных местах — сегодня здесь, а завтра там, — пожалуй, вносят в их жизнь некое, хотя и жутковатое, разнообразие и именно поэтому являются главной темой ночных бесед. Не потому, что люди придают такое уж особенное значение этим бомбежкам, а просто потому, что здесь уже больше не о чем говорить.

Ночью по телефону позвонили, что моторка пришла.

Простившись с комендантом, подполковником и Таисией Ивановной, мы с Зельмой взвалили на плечи вещевые мешки и двинулись под гору, к гавани.

Плывем на Средний...

Моторка стояла у одного из разбитых причалов. В ней было двое — моторист и пулеметчик. Мы прыгнули в лодку, и она сразу тронулась. В самой гавани было сравнительно тихо, но едва мы вышли в Мотовский залив и пошли вдоль берега, как стало сильно мотать. Было пять-шесть баллов. Лодку швыряло то вверх, то вниз; она зарывалась в воду, и хотя я был одет поверх ватника еще в кожаное пальто, но все равно промок до нитки. Нам предстояло идти примерно часа полтора, но лодку с самого начала стало заливать водой. Моторист сидел за рулем, а пулеметчик, сняв пулемет со стойки, в обнимку с ним лежал под брезентом на носу.

Один раз с нашего берега нас окликнул часовой. Здесь по скалам ходили патрули, потому что от немцев и до нас напрямик через залив было всего два с половиной, а местами два километра. Мы шли близко под нашим берегом, чтобы нас не было видно на фоне скал. Ночь была хотя и бурная, но не особенно темная. Вдруг слева от нас, ближе к немецкому берегу, показалась тень. Моторист закричал пулеметчику:

— Волков, готовь пулемет к бою!

Пулеметчик молча вылез из-под брезента, установил пулемет на стойку и приготовился стрелять. Слева от нас прошел небольшой баркас — наш, видимо, за ночь решивший проскочить в Озерки и возвращавшийся оттуда.

— Отставить пулемет, — сказал моторист, и пулеметчик, молча сняв пулемет, залез с ним под брезент.

Мы прошли еще минут двадцать. Теперь, по нашим расчетам, было уже недалеко до Озерков. Но лодку швыряло все сильнее, и мне иногда казалось, что она нырнет и уже больше не вынырнет обратно. На дне сильно прибавилось воды. Пулеметчик, теперь лежавший в воде, сказал спокойно:

— Воды — больше некуда.

— Сколько до картера? — спросил моторист.

— Два пальца, — ответил пулеметчик.

— Ну, тогда пройдем, — сказал моторист, но на всякий случай подался еще ближе к берегу.

Лодку уже совсем захлестывало, когда наконец началась тихая вода гавани.

Мы пристали в Озерках к таким же разбитым в щепу причалам, какие были на Эйне, и по скользкому берегу взобрались наверх. На причалах громоздились мешки, ящики, бочки, и их грузили в темноте на машины. Очевидно, это было продовольствие, пришедшее в Озерки на встреченном нами баркасе.

Пока мы шли в Озерки, моторист все время торопился, потому что, как он нам объяснил, на этой же моторке после нашего прихода должна уйти на немецкий берег разведка. Через несколько минут после того, как мы вышли на берег, мы встретили эту разведку. К причалам шло пять или шесть человек в белых маскхалатах с автоматами. Как я узнал на следующий день, они в эту ночь выбрались на проходившую здесь близко к морю Петсамскую дорогу, одного немца убили, а другого взяли в качестве «языка».

Мы добрались до землянки пограничников и связались из нее со штабом. За нами обещали прислать машину. Но машина что-то не шла и не шла, и мы минут сорок, дрожа на холодном ветру, ждали ее у бывшего здания почты.

До войны Озерки были небольшим, наспех построенным городком, с клубом, школой, почтой и несколькими рядами двухэтажных и одноэтажных домов. Сейчас все это было вдребезги разбито. Из снега торчали щепки, бревна валялись поперек дороги. Уже четыре месяца поселок непрерывно бомбили и обстреливали артиллерийским огнем, хотя в нем уже давно никто не жил и ничего не было. Все ушло под землю, и лишь по ночам на причалах суетились люди, спеша разгрузить затемно пришедшие мотоботы и баркасы.

Наконец машина все же пришла. Она дважды застревала по дороге, и мы, вытащив ее на своих плечах, все-таки забрались на гору, а потом съехали в какой-то овраг, белый и пустой, в котором не было ни малейшего признака присутствия людей. На часового мы наткнулись буквально в упор, в двух шагах. В своей маскировочной куртке и штанах он на фоне снега был почти незаметен. Часовой сперва довел нас до политотдела, а потом оттуда проводил в блиндаж комиссара Шабунина. Вход в блиндаж был завешен белым полотном; новый часовой вышел тоже в двух шагах от нас, из ниоткуда. Чувствовался порядок.

В блиндаже, в который мы вошли, все было устроено по-хозяйски. Он был сколочен из толстых бревен и обшит изнутри досками. Койки были утоплены по сторонам в ниши. Это было постоянное, прочное жилье людей, которые уже давно живут здесь и собираются еще долго жить.

Сам Шабунин был такой же плотный и уютный, как его блиндаж. Ему было за пятьдесят, и он сидел тут комиссаром давно и знал, как он выражался, на обоих полуостровах каждую дырку, но, заболев здесь, на Севере, астмой, в последнее время сравнительно мало вылезал из блиндажа, не в пример своему беспокойному полковнику Красильникову.

Шабунин встретил нас очень радушно и угостил чаем, который к нашему приходу уже кипел на круглой гофрированной финской плитке. Зельма ушел ночевать в политотдел, а я остался ночевать у Шабунина. Забрался на койку в верхней нише и

лег, раздевшись догола, потому что абсолютно все, что на мне было, оказалось мокрым до последней нитки, и пришлось мне все это развесить на ночь сушиться вокруг железной печки.

Утром я вылез на воздух, хорошенько умылся снегом и с интересом огляделся. Метель к утру стихла, стояла ясная, тихая погода. Как выяснилось при дневном свете, командный пункт размещался в узком ущелье между двумя невысокими каменными холмами, сейчас, в середине октября, уже сплошь покрытыми снегом. В расщелинах между камней кое-где рос мелкий, цепкий, узловатый кустарник — единственная растительность на обоих полуостровах. Более холодную и неприятную землю трудно было себе представить. Сейчас, при дневном свете, если внимательно взглядеться, можно было увидеть в скалах, и выше и ниже, отверстия блиндажей, завешенные белыми полотенцами. Но с воздуха, вне всякого сомнения, их было совершенно невозможно увидеть, и мне теперь становилось понятно, почему немецкая авиация столько месяцев подряд бомбит давно опустевшие Озерки. У немцев есть только две возможности: или бомбить эти Озерки — единственный хорошо различимый с воздуха пункт на поверхности Среднего полуострова, или, ничего не видя, бомбить весь полуостров наугад, по площадям. Видимо, немцы все же предпочитали бомбить опустевшие дома, от которых хоть щепки летят.

А вообще достаточно было поглядеть при дневном свете на этот пейзаж, чтобы понять каторжные условия, в которых приходится работать здесь бомбардировочной авиации.

Когда пришел Зельма, то, к его несчастью, оказалось, что Шабунин — сам пламенный фотолюбитель. Он сразу же потребовал от Зельмы, чтобы все, что здесь будет снято, было здесь же проявлено и здесь же отпечатано, объяснив, что у него в хозяйстве все найдется: и фотобумага, и реактивы, и увеличитель.

— Вы не думайте, — сказал Шабунин, — что если вы на край света заехали, так здесь уже ничего и нет. Здесь-то как раз все и есть!

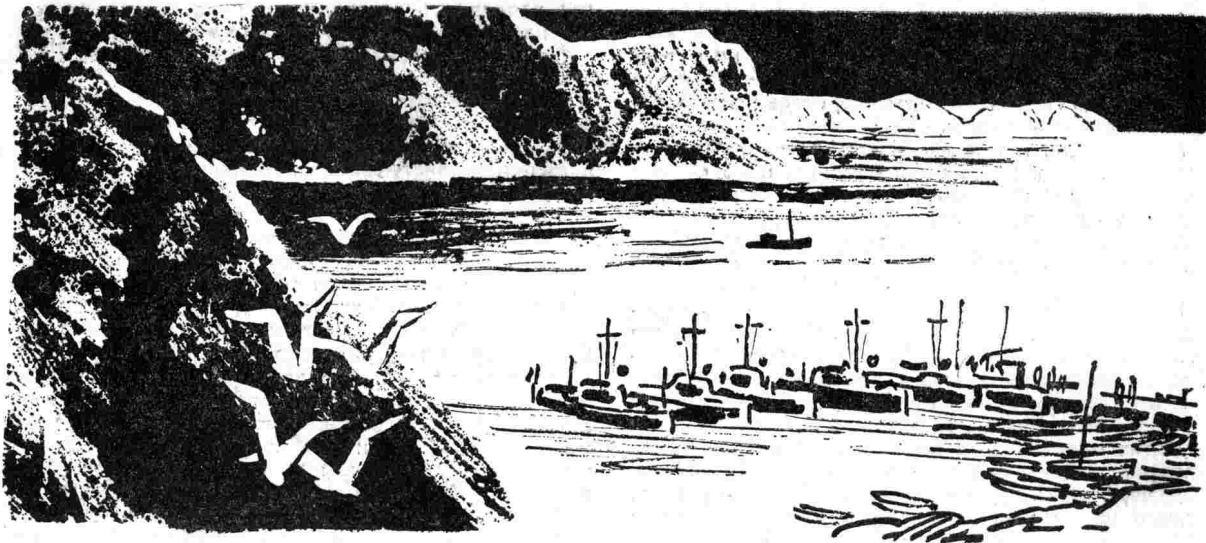
Зельма понял, что ему не отвертеться и придется не только снимать, но и фотокорреспонденты очень любят, но и проявлять, чего они не особенно любят, и печатать, что они уже просто-напросто ненавидят. Понял и смирился. Тем более, что во всем остальном Шабунин оказался очень славным человеком.

Он подробно рассказывал нам в то утро о положении на полуострове и о тех событиях, с которых началась тут война и в результате которых оба полуострова — и Средний и Рыбачий — оказались кусочками земли, отрезанными от всего остального фронта. То есть, в сущности, почти с начала войны остались как бы на положении Одессы, окруженной с суши и имеющей подвоз только с моря.

В тот день в разговоре с Шабуниним, а впоследствии в разговоре с полковником Красильниковым и другими командирами я примерно восстановил для себя картину того, что произошло здесь в первые дни войны.

Судя по тому, что я услышал, дело обстояло так. В первый день боев немцы силами трех горно-егерских бригад навалились на занимавшие позиции у самой границы части нашей стрелковой дивизии; не выдержав неожиданного нападения, они отступили, а командир дивизии погиб.

Немцы в первые же двое суток прошли вдоль берега тридцать километров, заняли Титовку и оста-



вили у себя в тылу перешеек, который соединял Средний полуостров с материком. На следующий день, решив захватить с ходу и полуостров, немцы повернули одну из своих бригад на перешеек и начали переваливать через горный хребет Муста-Тунтури. Перевалив хребет, они могли потом разлиться по всему полуострову и очень стремились к этому. Стремление вполне понятное, особенно если учесть, что если бы даже немцы по суше вплотную придвинулись к Мурманску, подошли к Кольскому заливу, все равно до тех пор, пока в их руках не оказались бы Средний и Рыбачий полуострова, они не могли бы поддерживать свои операции с моря. Тот, у кого в руках оставались Средний и Рыбачий, все равно контролировал весь этот морской район — от Мурманска на востоке до Петсамо на западе.

Но как раз потому, что с Рыбачьего и Среднего контролировались морские пути, оказалось очень трудным оборонять их с суши, со стороны перешейка. Здесь все орудия, все батареи были установлены так, чтобы отражать атаки с моря. А некоторые орудия вообще стояли на неподвижных тумбах и поддавались перемещению с величайшим трудом. На самый перешеек к началу войны у нас не было направлено ни одного орудийного ствола. Сухопутная линия обороны проходила не по перешейку, а по матерiku, дальше, западней перешейка. Никак не предполагалось, что немцы могут дойти до перешейка по суше.

В течение суток на полуостровах все было поднято на ноги. За ночь на руках, через скалы артиллеристы перетаскивали тяжелые орудия на такие позиции, с которых они могли бить по перешейку.

Это была титаническая работа. Легко задним числом говорить о ней, но трудно понять, как она была сделана, когда смотришь на эти скалы и на те позиции, на которых теперь расположена артиллерия.

Утром немцы, сбивая на Муста-Тунтури наше слабое охранение, стали скатываться с хребта вниз, устремляясь на полуостров. Вот здесь-то, на скалах хребта, их и встретила огненным валом артилле-

рия. В том числе и тяжелая. Вся, которая уже была повернута к этому времени. Остальную продолжали поворачивать.

Полковник Красильников, забрав с Рыбачьего полуострова полк охраны, по частям перетаскивал его на Средний и бросал в бой. Он вытащил на передний край все, какие только были здесь, пулеметы. На перешейке к середине дня было сосредоточено так много артиллерийского и пулеметного огня, что немцы, уже перевалив через хребет, не смогли с него спуститься. Скаты хребта, обращенные в нашу сторону, стали местом большого кровопролития.

Линия обороны так и проходит по этому хребту, по тем его местам, где были остановлены немцы. И с тех пор все, что происходит на Среднем полуострове, — это ежедневные кровавые схватки боевых охранений, поимка «языков» и постоянные глубокие разведки в немецкий тыл. Иногда большими группами.

Там, где были остановлены немцы, теперь перед нашими позициями — проволочные заграждения и минные поля. Но все это саперы сделали уже потом, под немецким огнем. А в первые дни боев на перешейке не было ровным счетом никаких укреплений.

Однако вернусь к рассказу.

В этот первый день мы решили поехать на самый краешек Среднего полуострова, в бывшее финское курортное местечко, откуда хорошо виден Петсамский залив, а в ясные дни, говорят, видно даже и побережье Норвегии, до которого отсюда всего несколько десятков миль.

Меня в этой поездке интересовали главным образом наши торпедные катера, которые стояли надменно спрятанные в одной из бухточек полуострова и совершали оттуда вылазки к Петсамо и к берегам Норвегии.

Шабунин решил поехать вместе с нами и на случай встречи с зайцами, которых, как он говорил, здесь великое множество, взял с собой двустволку.

Мы доехали на машине до второго перешейка, который соединял Средний полуостров с Рыбачьим. В свое время там собирались прорыть канал, кото-



рый позволил бы судам не огибать Рыбачий, а проходить, если можно так выразиться, сквозь него, на сотню с лишним миль сокращая путь между Мурманском и норвежскими портами. Теперь, во время войны, конечно, об этом канале все забыли. Вышло даже к лучшему, что он так и не был прорыт.

На перешейке в сложенных из камня землянках стоял саперный батальон. Нам пришлось оставить здесь машину: дальше на ней в том направлении, куда мы должны были добраться, проехать было нельзя, — и мы стали ждать, когда нам дадут лошадей и сани.

Комиссар саперного батальона сначала сам рассказывал нам о том, как его ребята под огнем укрывались перешеек, а потом позвал одного из своих лучших саперов, казака по национальности. Это был среднего роста, щеголеватый парень лет двадцати пяти, с красивым раскосым девичьим лицом. Он ходил в легких, до блеска начищенных сапожках, в гимнастерке с портупеей и без верхней одежды. Когда его спрашивали, не холодно ли ему, отвечал: «Ни в коем случае». Он говорил по-русски с сильным акцентом и, рассказывая о своем участии в боях, почему-то особенно напирал на то, как важно в боевых условиях быть легко одетым, лазить по скалам не в шинели, а в фуфайке. Слово «фуфайка» он произносил как «пупайка», а о себе говорил во множественном числе: «приказали», «пошли», «выполнили приказ». Он был хороший, храбрый парень, и все, что он рассказывал, совершенно явно было чистой правдой, но я несколько раз еле удерживался от улыбки из-за этой его «пупайки» и употребления глаголов во множественном числе.

После разговора в землянке у саперов мы сели в сани и поехали дальше. Дорога шла в гору, но лошадей бежала довольно резво. Своеобразие дорог здесь в том, что они одновременно и русла ручьев. В зимнее время их то заносит снегом, то опять обнажает ветрами их каменное дно, по которому деревянные полозья саней тащатся со скрипом и скрежетом.

Мы ехали то по камням, то по мелкой воде, то снова по камням. Два раза нам приходилось вылезать из саней и с ходу протаскивать их через бы-

стрые горные ручьи. Мороз крепчал, и мы то и дело вылезали из саней, чтобы побегать и отогреть замерзшие, промокшие во время переправ ноги.

Здесь, немного повыше, на скалах, уже не было никакой растительности. О том, как сурова здесь природа, может дать представление одна подробность. Вдоль дороги шла постоянная телефонная линия на столбах. Чтобы здешние ветры не вырвали и не сломали столбы, они ровно до половины своей вышины обложены пирамидами камней.

Изярдно замерзшие и усталые, мы добрались до места уже перед самым вечером. На то, чтобы проехать всего двенадцать-тринадцать километров, ушел почти целый день.

Бывший финский курортный поселок представлял собой живописное зрелище, которое запомнилось мне по контрасту со всем остальным, что я видел на полуостровах. Вода темно-серая, почти черная. И на этой черной воде у маленького причала — стального цвета торпедные катера. Где-то далеко-далеко над черной водой виднеется финский берег. А сзади, когда обернешься, на полуострове всюду кругом — абсолютно белые горы, покрытые снегом. И среди этого снежного пейзажа — два десятка чистеньких, нарядных, похожих друг на друга финских домиков ярко-кирпичного цвета, с белыми наличниками рам и дверей. Аккуратные, маленькие, похожие на игрушечные домики.

До финской войны здесь был рабочий курортный поселок. Сюда приезжали отдохнуть, посмотреть на северное сияние, порыбачить и поохотиться на зайцев. Теперь это крошечное курортное местечко было самой крайней северной точкой гигантского фронта. И в одном из этих домиков помещался штаб отряда торпедных катеров.

Операциями катеров руководил здесь представитель штаба флота старший лейтенант Моль, веселый и вместе с тем сдержанный, умный, интеллигентный человек.

Моль и другие моряки рассказали нам о последних операциях катеров, в ходе которых они потопили на выходе из Петсамского залива и в самом заливе несколько немецких транспортов.

Я потом написал обо всем этом в очерке «На «ты» с Баренцовым морем», который в редакции пе-

реименовали в «Держание». Кстати, первоначальное название очерка родилось у меня как раз в разговоре с Модем.

Главным врагом катерников здесь были не столько немцы и финны, сколько отчаянная погода, почти круглый год стоящая в этих местах. Погода, при которой такие утлые суденышки, как торпедные катера, иногда почти невозможно выпустить из гавани в открытое море.

— Но мы все-таки выпускаем, — сказал мне Моля. — Хотя Баренцево море и требует, чтобы с ним обращались на «вы», а мы все-таки иногда рискуем говорить с ним на «ты».

В тот вечер я оценил прочное устройство финского домика. Снаружи все сильнее разыгрывался ветер, на море отчаянно штормило, а в домике было тепло и уютно. Радист, сидевший за пультом, то и дело передавал позывные, и все, кто был в комнате, тревожились: какой-то катер вышел со специальным заданием, и за него беспокоились из-за этой бурной погоды. Я спросил у Моля, пойдут ли сегодня еще катера. Он сказал, что один пойдет. И я спросил, нельзя ли мне будет сходить с ними один раз на операцию. Он ответил, что вообще почему бы нет, но сегодня как раз этот катер пойдет в такое место, что мне нельзя идти с ними. Я начал спрашивать, почему и как, но по уклончивым ответам Моля понял, что, видимо, катер пойдет на специальное задание, связанное с дальней разведкой, и больше расспрашивать не стал.

Заглянув потом в соседнюю комнату, я понял, что не ошибся. Там сидело пять разведчиков из морской разведки и среди них Мотовилин. Потом в комнату вошел огромного роста человек в лейтенантской форме, в котором я узнал одного из штатских людей, заходивших в свое время при мне в Мурманске в помещение разведки.

Разведчики ели и отдыхали перед походом. Моля уточнял с радистом последние данные. Потом один из морских командиров сказал: «Ну, пора», — натянул на себя огромный кожаный шлем торпедиста, плотно застегнул реглан и вместе с лейтенантом из разведки и пятью разведчиками вышел в ночь. Моля и другие моряки остались.

Вскоре подъехал командир стоявшего неподалеку морского артиллерийского дивизиона, капитан, которого все стали поздравлять с только что полученным им орденом Красного Знамени. А получил он этот орден за то, что во время непрерывной бомбежки немцев, которые засекли его батарею и бомбили именно в то время, когда мимо нее пытались проскочить в Петсамский залив немецкие суда, он ни на минуту не прекратил огня, установив своеобразную очередь: пока расчет одного орудия стрелял, расчеты всех остальных орудий лежали в щелях; затем стрелял расчет следующего орудия и так далее.

После прихода капитана на столе появились разбавленный спирт и шпроты в еще невиданном мною количестве. Не банка шпротов и не тарелка со шпротами, а целое блюдо величиной с треть стола. Когда мы справились со шпротами, нас напоили еще и какао. И мы долго сидели и разговаривали.

Была уже глухая ночь, когда я вышел на крыльцо. Все кругом было черным-черно. На море ревел чудовищный ветер, и я невольно подумал о разведчиках, два часа назад вышедших в море на катере. Теперь на море было не меньше восьми баллов, а пошли они, наверное, далеко, должно быть, в Норвегию. Так потом и оказалось.

Мы заночевали у моряков и утром, проснувшись, с удивлением обнаружили, что за ночь население

нашей комнаты удвоилось. Промокшие, измученные, четыре часа промаявшись в напрасных попытках отойти от берега, разведчики вернулись обратно и спали как мертвые.

В середине дня, поговорив еще с Модем, мы двинулись в обратный путь и, проделав ту же дорогу, добрались к вечеру до командного пункта укрепрайона.

Радио из-за атмосферных условий работало очень плохо, но все-таки в политотделе поймали обрывки сводки, в которой сообщались разные новые тревожные известия о Москве. Было томительное ощущение страшной оторванности и невозможности принять участие в том, что там происходит. И это ощущение было не только у меня, а у всех, кто находился здесь. Тут тоже была война, фронт, но казалось, что в эти дни, когда Москва в опасности, все мы, кто сейчас не там, не под Москвой, занимаемся не самым настоящим делом.

Я залег под потолок на свою верхнюю койку и в том печальном ощущении оторванности от Москвы, которое у меня было в этот вечер, написал стихи, которые «Красная звезда» потом напечатала под заголовком «Голос далеких сыновей». Они совершили очень долгий путь, прежде чем дошли до редакции. Сначала их переправили в пакете на моторный катер, потом на этом моторном катере довели до Мурманска, там отнесли на военный телеграф, и только на третий или четвертый день, переданные по телеграфу, они очутились в Москве.

Я кончил писать стихи уже глубокой ночью и вышел на мороз погулять. Был сильный ветер, холод пронизывал до костей, но уходить обратно в блиндаж не хотелось. Над головой стояло северное сияние. Верней, не стояло, а перебегало по всему горизонту, иногда становясь похожим на сплошной небесный мост. Я еще долго бродил, проваливаясь в снег и стараясь отогнать от себя разные тоскливые мысли, от которых весь вечер после получения сводки никак не мог отделаться.

Утром, приведя в порядок свои записи, я дозволился по телефону до Моля, и он сказал мне, что сегодня, если к середине дня улучшится погода, глядя на ночь, пойдут на операцию, в которую можно взять и меня.

Я ждал до трех часов звонка от моряков, но в три часа они позвонили и сказали, что погода и сегодня не позволит выйти на катере.

Едем к артиллеристам...

Вскоре после этого к Шабунину приехал местный старожил, комиссар тяжелого артиллерийского полка Дмитрий Иванович Еремин. Впоследствии мы с ним сдружились, хотя, надо признаться, в первую минуту он мне не понравился. Едва он зашел к Шабунину, как я понял, что эти люди, давно живущие рядом, до тонкости знают не только свои, но и все чужие хозяйственные дела, все недостатки и погрешности.

За их разговором чувствовалась скука долгой жизни на краю света, которую даже война не в силах была преодолеть до конца. Они оба были любопытные и своеобразные люди, но говорили друг с другом все о том же самом, наверное, уже в десятый раз.

Поговорив с Шабуниним, Еремин предложил нам с Зельмой отправиться к нему в полк, с тем чтобы сегодня побеседовать, а завтра съездить на огневые позиции артиллерии.

Мы быстро собрались и спустились вместе с Ереминым в овраг, где его ждала машина. Водителем машины, к моему удивлению, оказался собственный сын Еремина.

— Понимаете, какое дело, — кивнув на сына, сказал Еремин, когда мы уже сели в машину и поехали. — Приходится все время его откомандировывать. Как водку привезут на мотоботе, пока на машины погрузят, смотришь — уже не вся! Теперь, как только приходит для полка пайковая водка, посылаю самого надежного в этом случае человека — сына. Он ее забирает и, представьте себе, довозит до складов без единой течи в бочках!

Минут через двадцать мы съехали вниз, к самому берегу моря, и по узкой лестничке забрались в ереминский блиндаж. Это был не просто блиндаж, а целое двухкомнатное помещение. Первая комната была обставлена в канцелярском стиле — рабочими столами с лампами под зелеными абажурами. А вторая комната была совершенно жилой, и стояли в ней две кровати и большой кожаный диван, неожиданно для себя попавший под землю.

Мы немного поговорили с Ереминым о событиях, происходивших в полку за первые четыре месяца войны, а потом, на мою удачу, к нему явился рапортовать о прибытии только что вернувшийся из госпиталя сержант Данилов, звукометрист, разведчик, детина колоссального роста, буквально упирившийся головой в потолок довольно высокого блиндажа. У него было круглое детское лицо и руки, в которых небольшой арбуз, наверное, выглядел бы, как яблоко.

Когда я разговаривал с ним, он стал рассказывать о почти невероятных вещах с таким удивительным спокойствием и с такой детской уверенностью в том, что все это иначе и быть не могло, что я ему поверил так, как, может быть, не поверил бы никому другому. Много месяцев спустя, под Сталинградом, слушая на митинге выступление полковника Утвенко, я, когда Утвенко сказал, что у гвардейцев нервы должны быть толщиною в палец, невольно вспомнил этого Данилова.

Вскоре после ухода Данилова к Еремину тоже с рапортом явился сержант Букин, «поэт Рыбачьего полуострова», как отреккомендовал мне его Еремин. Это был бойкий паренек, видимо, кончивший десятилетку, много читавший. Он держался с той подчеркнутой строевой подтянутостью и даже некоторой щеголеватостью, отличающей людей, которым строевая подготовка еще не вошла в плоть и кровь и которые все время помнят о том, что они должны вести себя по-строевому.

Мы поговорили с ним. Потом Букин о чем-то шептался в углу с Ереминым и ушел. А Еремин после его ухода стал жаловаться мне, что Шабунин хочет забрать у него этого Букина.

— А Букин наш, — говорил он, — зачем его отдавать?

Из дальнейшего разговора выяснилось, что артиллерийский полк был, если можно так выразиться, старожилом этих мест. У него было все свое. Своя типография, своя газета, свой поэт, свой фотограф, свой клуб и даже свое подсобное хозяйство — корова и поросята. Теперь на полуострове шла титаническая борьба: Еремин делал отчаянные попытки удерживать все полковое имущество в своих полковых руках, а Шабунин стремился к тому, чтобы кое-что из артиллерийских богатств перешло в общее владение.

С этой точки зрения, в частности, рассматривался и Букин. Еремин говорил о нем, что это «наш артиллерийский поэт», а Шабунин хотел дать ему звание политрука и забрать к себе в политотдел.

А шептались Букин с Ереминым, оказывается, потому, что у них возникла идея собрать в редакции полковой газеты начинающих поэтов Рыбачьего и Среднего полуострова, из которых Букин был самым уже маститым. Я, конечно, согласился, и Еремин немедленно посадил телефониста вызывать с разных точек обоих полуостровов артиллеристов, причастных к поэзии.

Мы заночевали в блиндаже, а перед сном Еремин еще долго ворочался и сокрушался, что я не был у них здесь раньше. Какой у них тут клуб был? Его теперь бомбами разбило в щепки. Как там все оборудовано было! Какой зал на триста мест!

Командир полка майор Рыклис, которого мы ждали, так и не вернулся ночевать с наблюдательного пункта, а начальник штаба капитан Тюрин пришел глубокой ночью и улегся на свою высокую с двумя перинами кровать, про которую Еремин насмешливо говорил, что хотя дом у Тюрина начисто разбомбил, но жизненно необходимое для себя он спас: обе перины тут, в блиндаже.

Мы встали в восемь утра. Было еще совсем темно. Еремин вызвал своего ординарца и сказал ему, что хорошо бы к вечеру, как он выразился, «образовать поросеночка». После этого мы отправились в дорогу.

У меня с утра отчаянно заболел зуб, который потом так и продолжал мучить меня до самого конца этой поездки. Я пополоскал зуб водкой, и мы двинулись с Ереминым на артиллерийские позиции. Ехали на трехосном грузовике, но даже и на этой машине дорога была почти непроходимой.

Мы переехали по перешейку на Рыбачий полуостров; там каменная дорога пошла через большие промоины. В одну из таких промоин мы вскопили с полного хода, и она оказалась такой глубокой, что вода покрыла колеса грузовика, залитый водой мотор заглох, и мы оказались в кузове, как на острове. Через полчаса нас кое-как вытащили задним ходом при помощи трактора.

Еремин сказал, что дальше, видимо, все же придется добираться уже не на грузовике, а на моторке, и мы пошли в подземный полевой госпиталь, который был расположен тут же, поблизости. Пока Еремин звонил, вызывая моторную лодку, мы с врачом обошли одну за другой все палаты.

Надо отдать должное и саперам и медикам. Все здесь было устроено очень прочно и хорошо. Стены и перекрытия были срублены из добротного леса, а это уже само по себе было подвигом, если учесть, что на Рыбачьем не растет ни одного дерева. А сверху все было обложено камнями и замаскировано так, что не только с воздуха, но и с земли, в каких-нибудь тридцати метрах, госпиталь был совершенно не виден. Приемный покой, перевязочная, операционная и палата для тяжелораненых были связаны общим подземным коридором. Так что все, что надо было делать с тяжелоранеными, можно было делать, не вынося их на воздух.

Пожалуй, что по своему устройству этот госпиталь был единственным в своем роде здесь, на Сэвэре. Эвакуация с Рыбачьего и Среднего и возвращение с Большой земли сюда были сопряжены с такими трудностями да и отнимали столько времени и сил, особенно осенью и зимой, когда из-за непогоды связи с материком не бывало по целым неделям, что тут не в пример другим госпиталям оставляли всех, кто впоследствии мог вернуться в строй. Даже таких, для кого требовалось трехмесячное лечение. Из-за этого госпиталь, обслуживавший не такой уж

большой гарнизон, был рассчитан на двести постоянных коек.

Видевший меня врач, с гордостью показывая одно за другим помещения госпиталя, наконец вернулся со мной в приемный покой и сказал:

— Вот сейчас мы посмотрим здесь интересную вещь.

Он открыл дощечку, закрывавшую стеклянное окошечко, и предложил мне посмотреть в него. Я в первую секунду даже отшатнулся и только потом понял, что окно выходило в операционную и как раз на уровне его находился операционный стол. А то, что я увидел совсем близко за стеклом, было человеческой ногой, кровоточащей, разодранной от колена и почти до паха.

Глядя на эту ногу, врач с удовольствием сказал:

— Сейчас делают перевязку. Редкий случай. Чудом спасли эту ногу. Посмотрите, в каком она сейчас хорошем виде.

От этого «хорошего вида» с непривычки мороз пощипывал по коже, но врач, показывая мне эту ногу, лежавшую на операционном столе, с упоением говорил:

— Вот видите, какая она сейчас — вся розовая. А когда привезли, была вся черная. Розовая — значит, будет в порядке. Пресекли нагноение. Очень интересный случай. Посмотрите, как она сейчас прекрасно выглядит.

Он говорил об этой ноге, как о произведении искусства, и в его словах была такая покоряющая профессиональная увлеченность, что я невольно, преодолев первое чувство, долго смотрел на эту «великолепную» ногу.

Обход на этом закончился, и тут меня черт дернул пожаловаться на мой больной зуб. Еремин и Зельма с тем легкомыслием, которое отличает людей, когда зубы болят не у них самих, а у кого-то другого, посоветовали мне сейчас же, здесь же, обратиться к зубному врачу. Пришлось обратиться.

Очевидно, у меня все-таки есть интуиция, потому что, увидев хорошенькую двадцатилетнюю девушку, которую мне отрекомендовали как зубного врача, я дрогнул. Мне не понравилось, что на ее лице были написаны явная нерешительность и застенчивость, прямо противоположные ее профессии.

Девушка привела меня в маленькую комнатку, отгороженную от приемного покоя только занавеской, посадила на табурет и позвала санитаря, который пришел, держа в руках керосиновую лампу.

Через минуту после того, как я открыл рот, выяснилось, что мой больной зуб требуется вырвать, и девушка, выбрав соответствующие щипцы, приготовилась действовать. Теперь в ее глазах вместе с нерешительностью было выражение отчаяния и готовности ко всему. Щипцы лягнули, и половина зуба была отломана. Они лягнули еще раз, и вторая половина зуба была тоже отломана. Таким образом, полдела было уже сделано: верхняя часть моего зуба была в ее руках, оставалось лишь достать из меня вторую, нижнюю часть, или, как она выразилась, «корни». Сначала она пробовала вынуть их с помощью щипцов, а потом достала какой-то инструмент, напоминающий ручку железного молотка, предназначенного для выдергивания гвоздей. И я почувствовал, что дело мое плохо, и посмотрел на часы. Было ровно десять утра. Это оказалось не лишним, ибо встал я с этого табурета ровно в одиннадцать.

Если бы я до этого не осматривал госпиталь в качестве корреспондента «Красной звезды», то, на-

верное, я бы или завопил, или убежал. Но теперь медперсонал госпиталя там, за занавеской, в приемном покое, с интересом прислушивался к тому, что здесь происходило, и убежать было уже поздно, а кричать — несовместимо с достоинством «нашего собственного корреспондента».

В двадцать минут одиннадцатого я увидел, как дрогнула лампа в руке выдавшего виды санитаря. Очевидно, не в силах наблюдать мои страдания, он отвернулся от меня к стене. В половине одиннадцатого девушка уперлась коленом мне в живот и, выломав из меня кусок кости, тут же показала его мне:

— Вот он, ваш корень.

— Все? — спросил я, облегченно вздохнув.

— Нет, — сказала она, — это один корень, а у вас там еще один.

— Ладно, — сказал я. — Даю вам еще полчаса. Если вы его за полчаса не вынете, бог с ним, пусть уж остается у меня.

Без пяти одиннадцать она опять взялась за щипцы и, отхватив мне полдесны, сказала, что щипцами тут не возьмешь, и снова схватилась за ту штуку, которой можно выдергивать гвозди.

Ровно в одиннадцать она, по-моему, теперь уже просто наугад, еще раз с треском повернула эту штуку у меня во рту и, так и не вырвав второго корня, обессиленная, опустилась на табуретку рядом со мной, прислонившись головой к стене. Лицо ее было бледно, а глаза полузакрыты. Испугавшись, что ей плохо, я взял из рук санитаря стакан воды и дал ей. Она выпила и поблагодарила.

— Ну как? — встретили меня Еремин и Зельма, когда я вышел.

Я сказал, что ничего. Но, должно быть, выражение моего лица никак не соответствовало моему ответу, потому что Еремин, как и большинство северян, знавший от всех бед одно лекарство, сразу потащил меня в комнатку к главврачу и налил мне спирта. И на первые несколько минут это действительно помогло.

В это время по телефону позвонили, что моторка выслана, и мы двинулись в дальнейший путь.

На Рыбачьем бывают приливы и отливы. Когда мы вышли из госпиталя, прилив только начинал подниматься; торчавшие из-под воды каменные гряды мешали моторке подойти к тому месту, до которого мы добрались. Матросы спустили шлюпку, но и шлюпка не смогла подойти к самому берегу. Она подошла лишь к оконечности длинной каменной косы, далеко выдававшейся в море и еще не залитой приливом. Идти по ней до лодки нужно было метров пятьсот. Косу уже начинало понемногу заливать водой, но на ней повсюду торчали камни, и до лодки можно было добраться, перепрыгивая с камня на камень.

Однако через сто метров выяснилось, что мы не учли стремительности прилива, и половину косы мы, как Иисус Христос, шли уже прямо по морю, глядя под ноги и нащупывая подошвами очередной камень. Наконец, с величайшим трудом и совершенно промокшие, мы все же добрались до лодки.

Лодку колотило о камни приливом; она то свободно плыла, то вновь застревала среди камней. И теперь снова и снова приходилось вылезать и, стоя уже по пояс в воде, вытаскивать ее на глубину. С лодки мы перебрались на моторку, а на моторке, наконец, добрались до того места на берегу, откуда посуху было ближе всего идти к огневым позициям артиллерии.

Мы прошли с километр, перепрыгивая с камня на камень и иногда проваливаясь в снег, и наконец

добрались до пушек. Они стояли за обратным скатом высокой каменной горы, с вершины которой видны были все немецкие позиции не только на перешейке между Средним полуостровом и материком, но и намного глубже, вплоть до самой Титовки. Как выяснилось, именно эти батареи благодаря точному наблюдению с вершины горы разбили недавно два немецких гидроплана, сидевших за двенадцать километров отсюда, на воде, в Титовском заливе.

После того как Еремин принял обычные рапорты, батарея получила сверху, с наблюдательного пункта, приказание вести огонь, и тяжелые 152-миллиметровые орудия начали бить рядом с нами.

Артиллеристы привыкают к этому грохоту, а я в пятнадцати — двадцати метрах от пушек каждый раз вздрагивал при выстреле, а потом было такое ощущение, что мне наглухо заткнули ватой уши.

Зельма немножко поснимал, и мы пошли наверх, на наблюдательный пункт. По воображаемой прямой это было не так уж далеко и высоко, но по той единственной тропинке, по которой можно было двигаться, длина этого пути составляла около пяти километров в гору.

Отойдя на полкилометра от батареи, я обернулся. Орудия были замаскированы так хорошо, что, несмотря на солидную величину, их можно было разглядеть отсюда с большим трудом, да и то заранее точно зная, где именно они расположены.

Кругом был угрюмый дикий пейзаж, нагроможденные камни при полном отсутствии дорог. И, глядя на этот пейзаж, я лишний раз вспомнил о той ночи, когда вот эти самые тяжелые системы перетаскивали по горам с одних позиций на другие всеми видами транспорта, а больше всего на руках и этим спасли оба полуострова.

Эти пять километров мы поднимались больше двух часов. Местами тропинка почти совсем терялась. Лезть в гору было долго и трудно, и мне вскоре стало жарко идти в моей кожанке. Однако нет худа без добра: по крайней мере мы на полдороге уже забыли о том, что совершенно промокли, и нам даже стало казаться, что все надетое на нас начинает на нас же и сохнуть.

Нам несколько раз казалось, что мы уже долезли до самой вершины, но после этого за ней открывалась еще одна, новая вершина, пока, наконец, мы добрались до командного пункта. Это было небольшое плато на самом верху горы. Гладко, почти как стол, срезанная каменная площадка примерно сто на сто метров. На этом каменном столе местами лежали естественные нагромождения камней, их было трудно отличить от двух искусственных — от командного и наблюдательного пунктов, тоже спрятанных в камнях. Командный пункт размещался чуть пониже, а наблюдательный — в ста метрах от командного, на самом краю скалы, за небольшим каменным бруствером.

Сначала мы зашли на командный пункт, где нам сказали, что командир дивизиона старший лейтенант Скробов находится на наблюдательном. На несколько метров выше командного пункта все уже начинало просматриваться с немецкой стороны, и мы, прежде чем идти дальше, надели на себя белые халаты, белые варежки, белые капюшоны, а пунктуальный начальник штаба дивизиона не забыл поставить нас спрятать под халаты и бинокли и фотоаппараты. Чувствовалось во всем, что маскировочная дисциплина стоит здесь на должной высоте.

Кстати сказать, с этим у нас далеко не всюду благополучно. Не потому, что люди не понимают значения маскировочной дисциплины, а потому что

ложное представление о храбрости заставляет порой людей пренебрегать маскировкой из боязни, чтобы их осторожность не была принята за трусость. Но здесь, в дивизионе у Скрובה, видимо, презирали эти ухарские соображения и маскировались самым добросовестным образом, не желая ни при каких обстоятельствах оказаться вынужденными менять этот лучший в окрестностях наблюдательный пункт.

Когда мы добрались до него, то увидели, что это, как чаще всего здесь бывает, не вырытая в земле, а воздвигнутая из камней над землей крошечная земляночка с двумя отверстиями: для стереотрубы и бинокля. Нас встретил в ней старший лейтенант Скробов — рослый человек с грубоватым умным солдатским лицом и пристальными глазами. Он отпартовал Еремину и стал подробно докладывать ему события дня. Он сообщил все замеченное за этот день, каждое мельчайшее передвижение немцев, и за словами его чувствовался охотничий азарт человека, изучившего здесь каждый вершок земли и уже так давно и так повседневно охотящегося за немцами, что это превратилось у него не только в привычку, но и в потребность.

Оказалось, что когда мы были там, внизу, у орудий, батарея била по одной из лощин, через которые шла дорога, ответвлявшаяся с Петсамского шоссе к перешейку. В этой лощине у немцев скопилось несколько машин и два или три десятка конных. Их-то и накрыл огонь дивизиона с первого же залпа, ибо, как это часто бывает в позиционной войне, лощина была совершенно точно пристреляна с поправками на атмосферные условия.

Скробов показал в стереотрубу засеченные им точки расположения немцев. Потом он показал нам эту только что обстрелянную лощину. Оставалось лишь удивляться тому, как он точно знает весь этот однообразный угрюмый пейзаж, как отличает одну крошечную лощину от другой, один кустарничек от другого, там, где, казалось бы, невозможно отличить это человеческим взглядом. Но он все это видел и даже показывал черневшие на снегу пятнышки убитых лошадей и людей, которых немцы еще не успели вытащить из лощины. У меня зрение не отличается особой остротой, и я этих пятнышек не разглядел, но Еремин, а вслед за ним и Зельма подтвердили точность наблюдений Скрובה.

Скробов понравился мне. Он докладывал комиссару полка очень спокойно, по-деловому. В нем не было никакого искательства перед Ереминым. Чувствовалось, что этот человек всецело отвечает за порученное ему дело и именно поэтому совершенно спокоен перед лицом начальства.

После того как Скробов рассказал мне о действиях своего дивизиона и немножко о себе и я записал все это в блокнот, он стал разговаривать с Ереминым о разных деталях служебного свойства. А я на минутку присел на чехле от стереотрубы. Зубная боль впервые за все это время вдруг отпустила меня, и начало так клонить ко сну, что я задремал, прислонившись к ледяным камням, холодный и голодный, но счастливый тем, что меня никто не трогает и я могу несколько минут поспать.

С наблюдательного пункта мы вернулись на командный. Там нас угостили из котелков обедом, который принесли сюда снизу, из-под горы, тем же путем, каким мы поднимались, — в термосах за плечами. Сегодня, в более или менее снежную погоду, это было еще ничего, но в бурю и в метель это — довольно тяжелое занятие. А таких дней, когда буря и метели, здесь насчитывают примерно двести в году.

Пообедав, мы поговорили еще немного со Скробовым, который показал нам свою артиллерийскую документацию, в условиях такой землянки сделанную с неслыханной тщательностью, чуть ли не на ватманской бумаге цветными карандашами и тушью. Коротко и точно ответив на все наши вопросы, он попросил у Еремина разрешения вернуться на наблюдательный пункт.

Это был несомненный самородок, выходец из рядовых красноармейцев, ставший к тому времени, когда мы у него были, старшим лейтенантом. В нем было большое чувство собственного достоинства, не удивительное у человека, который абсолютно все в своей жизни сделал собственными руками. Он экстерном сдавал за десятилетку и потом за военную школу. Голова у него была большая, лобастая, с внимательными медленными глазами. Я подумал тогда, что такие люди всегда пробивают себе дорогу. Именно такого типа люди, даже в старое время, даже из кантонистов, случалось, выходили в генералы.

После ухода Скробова мы перед дорогой, отогреваясь, посидели еще с полчас в землянке, и Зельма заставил меня прочитать собравшимся в землянке артиллеристам несколько стихотворений, в том числе и «Жди меня».

Под гору спустились меньше часа. Только внизу, когда уже стемнело и усилился ветер с моря, мы почувствовали, до какой степени продрогли. У меня не попадал зуб на зуб, ноги были чугунные, их жгло холодом, а промерзшее белье корбило. Но Дмитрий Иванович Еремин вдруг повернулся ко мне и сказал:

— Поросеночек.

— Что поросеночек? — с недоумением спросил я.

— Там у нас будет поросеночек. С корочкой. Как вспомнишь, так вроде и не так уж холодно, верно?

Я невольно рассмеялся и согласился, что верно.

До берега добрались в полной тьме. Долго шли по камням, спотыкаясь и падая, и, наконец, свистом и криками вызвали лодку. Меньше чем через час после этого мы были снова на Среднем полуострове, в землянке Еремина. И на столе там действительно стоял поросенок с корочкой. Мне даже на минуту показалось, что у меня перестал болеть зуб.

Перебираемся к пограничникам

На следующий день мы с Зельмой с утра перебрались от Еремина к пограничникам. Штаб пограничников размещался внизу, у самого моря. Здесь был наносный грунт, мягче, чем повсюду на полуострове, и пограничники зарылись в землю. Они еще накануне отправили на передний край, на перешеек, большую разведывательную партию, и сегодня ночью она должна была проходить через наши позиции в тыл к немцам.

В штабе отряда мы познакомились с комиссаром отряда Филатовым и с командиром майором Калениковым. И раньше и позже мне редко приходилось встречать людей, похожих на этого своеобразного человека. Очень большой, грузный, уже немолодой, лет сорока пяти с виду, сидящий человек с большими руками, с большим и широким загорелым лицом. Обычно он мало передвигался и сидел на одном месте, у себя за рабочим столом.

Он был очень гостеприимен, но совсем по-особому. На столе у него всегда лежало несколько пачек

папирос, на полке стояла бутылка со спиртом. И невозможно было отказаться закурить или выпить, так настойчиво, с таким добродушием и хлебосольством он угощал. Разливал спирт он сам своей хозяйской рукой по кружкам, а себе ставил самую большую, синюю эмалированную. Но когда потом начинали чокаться, выяснялось, что майор чокается молоком, потому что сам ничего другого не пьет. Да вдобавок и не курит.

Это был веселый человек, хороший рассказчик и обаятельный собеседник за столом. Всегда ровный — и во время дружеских бесед, и во время служебных разговоров с подчиненными, и, как мне говорили, во время боевых операций, — он со своим твердым спокойствием, сердечностью и какой-то особенной хозяйственной неторопливостью был любимцем всего отряда. Должно быть, такой характер, как у него, сложился на заставах, где он прослужил чуть ли не двадцать лет подряд, на польской и румынской границе, а потом здесь, на Крайнем Севере. Жизнь в замкнутом кругу маленького гарнизона с постоянными поимками нарушителей, с повседневной напряженной, нервной работой — наверно, именно она сделала его таким спокойным, неторопливым, казалось, ко всему привыкшим и ничему не удивляющимся. А уж веселый нрав, видно, был дан ему от природы.

Только уже уезжая, я случайно узнал от комиссара отряда, что у майора Каленикова в начале войны на Украине погибла семья. Но он сам никогда ни одним словом ни в одном разговоре не обмолвился об этом.

У пограничников мы с Зельмой провели два или три дня. В смысле военном никаких примечательных событий по соседству с нами за эти дни не происходило. Кроме одной сильной бомбежки, которая, к несчастью, пригласила как раз на то время, когда на пристани разгружали привезенные ночью продукты. Во время нее было убито и ранено около двадцати человек. Бомбы ложились совсем рядом с землянками пограничников. Две из них — к счастью, в это время пустых — развалились от прямых попаданий.

Землянка, в которой мы жили, ходила ходуном, из-под бревен сыпалась земля. Все это продолжалось минут двадцать, а потом в отряде снова пошла привычная жизнь.

Мы ожидали возвращения ушедших в тыл к немцам партий. Но в первые же сутки ночью произошло событие, немножко отвлекшее меня от этого ожидания.

К Рыбачьему полуострову пристала лодка, на которой приплыли из Норвегии двое норвежских партизан. Их переправили к пограничникам. Мне захотелось поговорить с ними, и я попросил об этом Каленикова.

Сначала в землянку пришел только один из двух. Это был, как тут называют, «русский норвежец», молодой парень, лет двадцати шести. Его родным языком был норвежский, но так же, как его отец и дед, он жил в России, на Вайде-Губе, на крайней северо-западной оконечности Рыбачьего. Он служил у нас на флоте и был переправлен в Норвегию вместе с небольшой группой в пять-шесть человек наших морских разведчиков. О том, что произошло с ним за последние две недели, он рассказал мне и Каленикову на довольно хорошем русском языке, хотя и с сильным акцентом.

Одна из наших диверсионных групп действовала против немцев между Нарвиком и Киркенесом. Она имела радиостанцию, была связана с норвежскими партизанами и занималась не столько диверсион-

ной, сколько разведывательной работой. Три дня назад эта группа вместе с несколькими норвежцами — в их числе было двое рыбаков и старый учитель, участник обороны Нарвика, — была застигнута немцами в маленьком доме на берегу океана. После короткого рукопашного боя три человека, в их числе командир группы, погибли, а остальные ушли обратно в горы. Туда, где у них оставалась рация.

После этого рассказчик вместе со стариком учителем пробрался в рыбацкий поселок, взял там лодку и в страшную бурю, содрав до крови руки, сделал шестьдесят миль на веслах, добрался до Рыбачьего полуострова.

Рассказывал он об этом обо всем с подробностями, врезавшимися в память. Вроде того, например, что у командира отряда была лысая голова и отросшая за неделю скитаний рыжая борода и что по этим приметам его и узнали потом пришедшие на место боя рыбаки.

Рассказчик и старый учитель переправились на Рыбачий полуостров вдвоем с тем, чтобы сообщить сюда все полученные за последние две недели сведения о передвижении немецких транспортов, войсковых частей и о базировании немецких самолетов. То, что они по такому бурному морю проплыли в шлюпке на веслах шестьдесят миль, и не потонули, и добрались, следовало считать чудом. Правда, надо добавить, что они оба были норвежцы, то есть природные моряки.

У меня так до сих пор и стоит в ушах весь этот его рассказ со всеми подробностями и мелочами. И его голос и его совершенно особая манера речи, когда он, сидя в своей старой просоленной фуфайке, поджав ноги, на койке Каленикова, говорил все это со своим сильнейшим норвежским акцентом, почти после каждой фразы повторяя очень забавно звучащую в его устах присказку: «Едрит его в корень».

Мне не хочется записывать еще раз весь ход его повествования в тот вечер, потому что все это почти с абсолютной точностью уже изложено мною в рассказе «В скалах Норвегии». Помню, как я жалел, когда писал этот рассказ, что мне приходится сознательно зашифровывать в нем кое-какие вещи: да и называть его рассказом, потому что вся эта история выглядела бы куда интереснее, если бы читатель мог знать, что в ней нет выдумки.

Когда мы поговорили с этим парнем, он ушел и вернулся уже вдвоем со старым норвежцем, школьным учителем. Это был невысокий старик, на первый взгляд, казалось, не сильного телосложения, а на самом деле весь подобранный, крепко сбитый, коренастый. Он был в старых железных очках и говорил неторопливо, спокойно и охотно. Рассказывал о последних днях независимости Норвегии, о том, как они сражались в Нарвике и как они, будь на то их воля, не ушли бы оттуда. Он много говорил о норвежском короле, которого он откуда-то лично знал. А еще больше — о пасторах, которые, по его словам, были одним из главных оплотов антигерманского движения в стране.

В этом старом школьном учителе, в его уважении к королю, к пастору, к национальному укладу жизни чувствовалась вся патриархальность этой северной страны, все ее частные обычаи, вся прочность ее привычек и пристрастий.

Помню, тогда, когда я его слушал, мне казалось, что именно для них, для этих, казалось бы, невоенных людей, присутствие немцев нетерпимо, что они никогда не перенесут этого присутствия и что вся их жизнь питается только верой в то, что все это прекратится, что где-то в Анг-

лии есть король и есть армия, что оттуда уже переплыли и продолжают переплывать норвежские офицеры и что скоро настанет час освобождения Норвегии. И нам, русским, этот старик душевно очень симпатизировал именно потому, что считал, что мы непременно будем причастны к освобождению его Норвегии.

Мы проговорили с норвежцами весь вечер. Несмотря на то, что по внешности все было очень обычно и просто, на меня дохнуло романтикой, что на войне не так-то часто бывает. Причиной были и сами эти люди, и их рассказ, и то, что разговор этот происходил на краю света. Снаружи, за стенами землянки, одновременно бушевала и буря и снежная метель, и все это, вместе взятое, было так бесконечно далеко от Москвы...

Весь следующий день прошел в разговорах с людьми о прошлых походах здешних разведчиков. Я расспрашивал об этих боевых действиях, а сам имел вид далеко не боевой. Зубная боль не отпускала меня ни на минуту, и заботливый Калеников вручил мне из своих запасов, оставшихся еще с финской войны, химическую грелку. Заливая эту грелку водой, чтобы она не остывала, я весь день так и держал ее привязанной к щеке.

Ближе к ночи атмосфера в блиндаже становилась все тревожнее. Калеников и Филатов с нетерпением ждали сведений о своей переправившейся в тыл к немцам роте. Если там, в тылу у немцев, все прошло благополучно, пограничники должны были сегодня к часу ночи выйти обратно к нашим позициям.

Я сидел напротив Каленикова, который поглядывал на телефон, пил свое неизменное молоко, когда ровно в два часа ночи раздался звонок. С переднего края через промежуточную станцию передали, что разведчики вышли обратно на линию фронта.

Через полтора часа, замерзшие, багровые от мороза, приехали на конях двое командиров возвратившегося отряда. Калеников сразу же налил им по стакану водки и лишь после этого стал слушать их рассказ. Водка была кстати, потому что они оба обмерзли почти до потери сознания. Они рассказывали горячо, перебивая друг друга, но, в общем, толково и подробно, а главное, не теряя за подробностями сути.

Надо сказать, что рассказы об этой разведывательной операции были для меня, как для корреспондента, пробным камнем. По ним можно было проследить, как люди рассказывают о пережитом ими сразу же, через час, через несколько часов, через сутки. В течение этой ночи и всего следующего дня я провел кропотливую работу, расспросил около тридцати участников этого рейда по немецким тылам о том, как все это происходило. Мною было записано с их слов примерно страниц семьдесят, которые послужили материалом для очерка «По дороге на Петсамо».

Но дело не в том, как сумел использовать эти рассказы в очерке, а в том, что я на этот раз мог проследить, как видоизменяется рассказ об одном и том же событии. Видоизменяется без всякого злого умысла, просто по закону психологии. Начиная с рассказа людей, только что приехавших с первым донесением, еще обмерзших, еще дрожащих от волнения, и кончая рассказами людей через сутки после их возвращения, людей уже выспавшихся, помывшихся в бане, а главное, подробно поговоривших между собой и как-то невольно усвоивших уже общую точку зрения на происшедшее.

Помню, я впервые это тогда так остро почувствовал, а потом взял себе на заметку для будущего, что

рассказы, которые тебе удастся услышать непосредственно по горячим следам, сразу после событий, отличаются не только большей достоверностью, но и большим количеством живых, непридуманных деталей. Когда я наталкиваюсь на такой рассказ, то потом стараюсь почти стенографически передать все то, что мне рассказал человек. В таких случаях ничего не нужно придумывать; надо только суметь расположить тот материал, который услышал.

Возвращаюсь к рассказу.

Оба командира, едва успев донести о результатах рейда, о том, что он прошел благополучно, что мост взорван и при этом потеряно два человека, повалились на лавки и заснули мертвым сном. Всего два человека погибших — немного для такой операции, но Калеников в эту ночь очень сокрушался о них. Он, что вообще характерно для пограничного командира, знал обоих по именам и отчествам, знал их в лицо и, говоря о них, напоминал недавно пришедшему в отряд комиссару, какие они были с виду: «Да этот вот, такой рыжеватый, с веснушками. А этот — высокий черный парень, у него дисциплина, помнишь, хромала...»

Слова Каленикова навели меня на размышления о том, почему пограничники с самого начала войны так хорошо и стойко дрались. Думается, в значительной мере потому, что именно в пограничных частях командиры отлично знали своих бойцов. Человек знал, что он для своего командира не только боец такой-то роты, но еще и Трофим Иванович Иванов, что если он погибнет, то командир будет знать, что в роте погиб Трофим Иванович Иванов, и будет помнить, какой он был и о чем они с ним разговаривали. Это существенный момент, порождающий ответное чувство — любовь и доверие к командиру.

Весь следующий день я записывал рассказы участников рейда и к концу дня устал как собака. Рука у меня просто не работала — столько пришлось записывать.

Приближалось время нашего возвращения с Рыбачьего на материк. Оставалось съездить на день в расположение полка, стоявшего на самом хребте Муста-Тунтури. Мы выехали туда рано утром на следующий день вместе с Филатовым, который должен был встретить там остальных, еще не вернувшихся пограничников. Нам заложили санки, и пара довольно бойких лошадей повезла нас по санной дороге в полк.

Погода по нормам Рыбачьего стояла удачная, только слегка порошил мелкий снег. К тому же нам еще и повезло, что немцы, на нескольких участках просматривавшие и обстреливавшие эту дорогу, на этот раз так и не выпустили ни одного снаряда.

До полка мы добрались за два часа. Командный и наблюдательный пункты полка были расположены на скатах каменистого холма. Был обычный день. Шла редкая артиллерийская перестрелка, иногда стреляли пулеметы. Наиболее активные действия, при этом довольно кровопролитные, происходили по ночам в сторожевых охранениях. Там и наши и немцы лежали друг от друга на расстоянии гранатного броска, и всякую ночь вспыхивали стычки.

А вообще говоря, не только здесь, на перешейке, но и на других крайних северных участках фронта все наиболее активные операции были связаны в то время с действиями дальних разведывательных партий. В дни затишья именно они наносили немцам наиболее чувствительный урон. По крайней мере такое впечатление сложилось у меня.

Здесь, в полку, я записал несколько любопытных

рассказов о ночных действиях в скалах Муста-Тунтури. В частности, я встретился с интересным человеком — сержантом Даниловым, подробно записанный рассказ которого вместе с рассказом его однофамильца Данилова, из ереминского полка впоследствии вошел в очерк «Однофамильцы». А точнее, весь очерк, в сущности, составил из этих двух сводных стенографических записей плюс некоторые описания природы от автора.

Пришлось мне поговорить и с комиссаром полка. Это было любопытно по сочетанию крайностей: Рыбачий полуостров, Муста-Тунтури — крайняя северная точка фронта — и назначенный недавно комиссаром полка казах, старый кавалерист Кужухметов — человек явно южный, бронзовый от загара, со смешным и трогательным акцентом объяснявшийся по-русски.

Обратно из полка возвращались уже затемно. Когда вернулись в отряд к Каленикову, выяснилось, что днем в заливе произошла целая драма. Морские разведчики, которым было приказано как можно быстрее вывезти на материк норвежцев, доставивших важные сведения, пришли в Озерки на своем боте, не дожидаясь полной темноты. Немецкая артиллерия с мыса Пикшуев заметила и стала гвоздить по ним. Деться было некуда, оставалось только идти вперед. Они и шли, пока в них не попало несколько снарядов. Выбросились на камни. Капитан мотобота был убит, несколько человек ранено. Кое-как по камням перебрались на берег.

Тяжелая батарея с Рыбачьего открыла огонь по Пикшуеву мысу и подавила немецкую артиллерию, но поздно.

В эту ночь на материк отплыл мотобот, и нам с Зельмой предстояло на нем возвращаться.

Прощальный вечер начался для нас неудачно. Еремин решил, что мы с Зельмой должны помыться перед дорогой, и мы помылись у него в баньке, после чего отправились погреться к нему в блиндаж. Мы оставили в предбаннике вещевой мешок с тем бельем, которое сняли с себя; его обещали потом прихватить. Но больше этого белья мы так и не видели. Пока мы обогрелись у Еремина, налетели немецкие бомбардировщики, разбомбили баню и предбанник. Жалкие остатки моего, очень пригодившегося мне здесь, на Севере, шерстяного белья, как на смех, закинуло на телеграфные провода.

Оставалось утешаться тем, что все же нам повезло, что мы не задержались в бане еще минут на пятнадцать.

Перед отъездом мы собрались в блиндаже у Каленикова, чтобы поужинать на прощание. Кроме Каленикова и Филатова, был Еремин и командир артиллерийского полка майор Рыклис. Вышло так, что я впервые познакомился с ним только в этот последний вечер.

Именно в тот вечер он и рассказал мне историю, происшедшую с ним и с одним из его подчиненных — сыном его старого друга, — историю, которую потом я положил в основу поэмы «Сын артиллериста».

Рыклис оказался отличным рассказчиком, Калеников тоже разошелся, рассказывая разные истории из пограничной жизни. Мы с Зельмой не остались в долгу. В общем, к двум часам ночи, когда нам предстояло выходить в метель и грузиться на бот, нам уже было все нипочем. Филатов проводил нас до пристани; мы втиснулись в маленькую кают-компанию бота — она же кубрик, она же все на свете. Зельма устроился внизу, а я, еще раз подлив воды

в свою химическую грелку и улегшись на нее щекой примостился на верхней полке под потолком каюты.

На этот раз в море сильно мотало. Шторм доходил до восьми баллов. Людей на мотоботе выворачивало наружу, но у меня так болели зубы, что мне было не до этого. И я, так и не сомкнув глаз и забыв о всяких морских болезнях, только считал часы и минуты до возвращения в Мурманск.

В Мурманске мы выгрузились вечером следующего дня, и я прямо с пристани пошел в поликлинику к зубному врачу, который наконец вырвал мой проклятый корень.

Так закончилась наша поездка на Рыбачий и Средний полуострова.

На другой день после приезда я пошел в морскую разведку к майору Людену. Он, когда я пришел, как всегда, занимался одновременно двумя делами: вполголоса, но со всеми фиоритурами пел арию Греммина и писал третий по счету рапорт о переводе его в пехоту на Западный фронт. Как и многие люди на Севере, он глубоко переживал октябрьские и ноябрьские события под Москвой и буквально не находил себе места.

Иду с морскими разведчиками

Немного отведя душу разговорами на московские темы, Люден сказал мне, что завтра в тыл к немцам идут сразу две разведывательные партии. Одну из них поведет он, а другую — Карпов. Карпов должен был уйти на неделю или полторы, а Люден — на одни сутки. Предстояла короткая операция на Пикшувом мысу, где немцы держали пару пушчонок, из которых они палили по заливу, не давая в светлое время нашим мотоботам проходить в Озерки. Тот бот, который перед нашим отъездом с Рыбачьего выбросился на камни, был обстрелян как раз этими пушками.

По словам Людена, во время операции предстояло выяснить, есть ли на Пикшувом гарнизон, и если он есть, то уничтожить его, а также узнать, исправны ли там немецкие пушки после того, как по ним два дня долбила наша артиллерия. И если они исправны, то и их уничтожить.

Люден считал, что все это будет делом одной ночи, и это меня сразу соблазнило, и я сказал Людену, что прошу его взять меня с собой.

Я без особых колебаний подумал, что, наверно, Мишка Бернштейн не будет возражать против того, чтобы пойти в эту операцию, и попросил взять и его. Люден посоветовался с начальником разведки Визгиным, тот согласился, и я уже через полчаса был в гостинице, где Бернштейн и Зельма проявляли свои снимки.

Когда я сказал Мишке, что нам предстоит с ним пойти в эту разведку, единственным, что он спросил, было: долго ли придется плыть морем? По правде говоря, я не знал этого в точности, но, чтобы успокоить его, сказал, что нет, недолго.

— Ну если недолго, — сказал Мишка, — тогда ладно.

После этого мы отправились к разведчикам, которые обещали выдать нам кое-какое обмундирование. Но Мишкины толстые икры не влезали ни в одни

валенки. В конце концов пришлось их обрезать. Я валенок брать не стал, решил идти в сапогах. Нам выдали по ватнику и по паре ватных штанов. А вообще предполагалось, что мы должны были идти налегке, потому что от места высадки до Пикшуева нам предстояло сделать двенадцать или пятнадцать километров по скалам.

Я не предложил Зельме принять участие в этом деле, потому что не знал, какие у него планы. И в то же время, зная его характер, понимал, что если я ему предложу это, то он все равно пойдет, даже если это совершенно не входит в его намерения. Потом оказалось, что он обиделся на меня за то, что я ему этого не предложил, и несколько дней молчал и злился.

На следующее утро мы пришли в разведку уже вполне экипированные, в шерстяных свитерах, в фуфайках и в ватных штанах. Мишка со своим наганом, и я с парабеллумом. Словом, вид у нас был достаточно воинственный.

Визгин сказал, чтобы мы не только сдали все документы, но и на всякий случай записали домашние адреса, а, кроме того, если хотим, написали на всякий случай записки своим близким. Все это прозвучало довольно мрачно. Но, как и во многом мрачном на войне, во всем этом была и своя смешная сторона. Когда я поспешил суеверно отказаться не только писать записки, но и оставлять адреса, Визгин недовольно сказал мне:

— Все-таки неправильно вы это делаете. У нас из-за этого уже хлопоты были. Убило тут, понимаете, одного лейтенанта, а адреса он не оставил. Возлились-возлились, так и не смогли отыскать, куда все это переслать.

В его словах чувствовалось не столько огорчение от того, что убило лейтенанта — случай на войне достаточно обычный, — сколько досада из-за того, что до сих пор никто так и не знает, куда отправить оставшиеся после убитого лейтенанта вещи.

Я невольно рассмеялся.

Мы сдали документы, получили свертки с маскировочными куртками, штанами, капюшонами, перчатками и стали терпеливо ждать.

В заливе были снежные заряды, бушевала метель, и на отплытие катера в Полярное все не давали и не давали «добро». Однако по-прежнему оставалась надежда, что погода все-таки исправится и «добро» дадут, и мы сидели в разведке, сначала с восьми до двенадцати — до флотского обеда, — а потом, после обеда, — до тех пор, пока окончательно не выяснилось, что «добра» не будет.

Теперь начиналась смешная сторона торжественной сдачи документов. Нам нужно было возвращаться в гостиницу, следовательно, нам нужны были документы. Кроме того, нам нужно было есть и пить, следовательно, нам могли пригодиться и деньги. Пришлось забрать и то и другое.

В гостинице нас встретил ухмыляющийся Зельма. Он и Мишка стали проявлять свои снимки, я взялся за стихи. Написал в этот вечер стихотворение «Мне хочется назвать тебя женой».

На следующее утро повторилась та же самая процедура, что и накануне. Мы обмундировались, надели свитера, фуфайки, вооружились, явились в морскую разведку, сдали документы, получили свертки с маскхалатами. Погода на улице как будто была ясная, и ничто не предвещало новой задержки. Однако после того, как мы прождали часа четыре, выяснилось, что здесь, в Мурманске, погода хорошая, но в Полярное мы сегодня не пойдем. На этот раз не дают «добра» там, в Полярном, на выход из Полярного в открытое море.

Мы пообедали, взяли обратно документы и деньги и отправились к себе в гостиницу, где нас, так же, как и вчера, встретил усмехающийся Зельма.

В этот вечер Мишка отозвал меня в сторону и тихо сказал, что ему надоело сидеть в Мурманске и ни черта не делать, что это может продолжаться бесконечно и что, честно говоря, даже если он и пойдет в эту разведку, то снимать ему все равно вряд ли что придется. С этим можно было согласиться, потому что ночи стояли довольно темные, и даже странно было, как мне это не пришло в голову раньше.

У меня и у самого было скверное чувство на душе оттого, что мы уже два дня готовились, сдавали и брали обратно документы. А главное, я каждое утро вставал с чувством, что вот сегодня ночью мы пойдем в тыл врага, значит — пан или пропал, но, во всяком случае, к следующему утру все уже будет ясно. Нетрудно было мгновенно решиться и пойти в разведку, но когда она все оттягивалась со дня на день и каждое утро заново приходилось готовить себя к ней, то это становилось трудным, особенно с непривычки: выдержки не хватало.

В общем, я согласился с доводами Мишки, что ему действительно нет смысла идти.

— А может, и ты не пойдешь? — спросил он.

Меня тоже теперь тянуло на это куда меньше, чем в первый день, но я еще месяц назад пил с разведчиками за то, что когда-нибудь отправлюсь вместе с ними. Теперь, когда такая возможность представилась, нельзя было ее упустить, хотя бы просто из самолюбия.

На третий день Зельма и Бернштейн поехали куда-то снимать олени упряжки, которые использовала наша санитарная служба, а я снова обмундировался, снова сдал документы, снова просидел шесть часов в разведке, съел флотский обед, выпил флотскую водку, узнал, что на выход в море опять не дали «добро», снова забрал документы обратно и вернулся в гостиницу, где на этот раз были уже две ухмыляющиеся физиономии вместо одной.

То же самое повторилось и на четвертый день. И я поклялся себе, что если завтра, 6 ноября, все снова отменится, то я не пойду вообще. Ожидание измотало меня: казалось, что мне уже никуда не хочется идти.

Но 6 ноября днем нам сказали, что наконец получено «добро» на выход в океан.

Был теплый ноябрьский день. Несмотря на мокрую пургу, видимость была приличная. По дороге на пристань я заехал в гостиницу, где не нашел ни Зельмы, ни Бернштейна. Они уехали снимать зенитчиков, и я оставил им записку. Внизу нетерпеливо гудела машина; через пять минут мы были уже на пристани. Шли в Полярное на маленьком принадлежавшем разведке катерке. На палубе задувало снегом, и мы с Визгиным и Люденом спустились вниз в уютную теплую каюту и стали забивать «козла».

Надо отдать должное морякам: когда играет заядлая морская компания, то кости выкладываются на стол с такой яростью и грохотом, что издали это похоже по звукам на средних масштабов артиллерийскую подготовку.

Выгрузившись в Полярное, мы пошли в подводный экипаж, где жили моряки из диверсионных групп, по большей части состоявших из добровольцев-подводников. Там под руководством капитан-лейтенанта Инзарцева — одного из лучших и самых опытных разведчиков, угрюмого, мрачноватого и, по моему, сурового человека — морячки готовили оружие. Распихивали по карманам фуфаяк или привязывали на поясные ремни гранаты «Ф-1» и «РГД»,

щелкая затворами, проверяли винтовки, запасались сигнальными ракетами, упаковывали сухой паек, который, несмотря на то, что операция должна была продлиться всего одну ночь, был рассчитан на трое суток. Радист проверял на слышимость свою радию.

Продолжалось все это около часа. Потом, когда уже было совсем темно, мы собрались и построились во дворе подводного экипажа, одетые кто в маскхалаты, кто в маскировочные куртки-брюки.

Здесь, против моих ожиданий, никто никому не сказал никаких прочувствованных слов; не то они были сказаны уже когда-то раньше, не то были бы странны в такую минуту для людей, избравших разведку своим ремеслом. Нас построили, разделили на две группы, и мы отправились на причал.

Еще когда мы стояли во дворе подводного экипажа и в тишине строились там в своих маскхалатах, я вдруг подумал, что вот мы всего через несколько часов будем там, у немцев, а никто ни в Киркенесе, ни в Петсамо не знает, что здесь, во дворе, в эту минуту построился отряд, который будет действовать там, у них в тылу.

Узенький трап уходил с очень высокого причала вниз, на очень маленькое суденышко и выглядел так, словно он уходит куда-то в тартарары, под воду. Я с грехом пополам спустился по этому трапу и ступил на борт «морского охотника». Инзарцев шел на другом «охотнике», а на этом, кроме двадцати разведчиков, было трое — Люден, Визгин, решивший сам пойти в эту операцию, и, как говорится, третий лишний — я. Мы отвалили от причала, развернулись и пошли к выходу из Кольского залива.

Погода как назло разгулялась, и Люден, поглядывая на часы, ворчал, что надо было отложить эту экспедицию до тех пор, пока луна не пойдет снова на ущерб. Действительно, ночь выдалась чудовищно светлая. Я еще никогда не видал здесь такой светлой ночи. Луна светила так, что можно было различить человека на снегу за двести шагов. Но, мало того, кроме луны, еще весь горизонт занимало переливающееся северное сияние.

Я пожалел об отсутствии Мишки, которому в такую удивительно светлую ночь, может, и удалось бы что-нибудь снять.

«Морской охотник» — очень небольшой кораблик, и когда на него садится еще двадцать человек, кроме экипажа, то куда их ни засунь, все равно будет тесно.

Мы шли на порядочной волне. Она перехлестывала через борт, было недолго и промокнуть. Большинство разведчиков спустилось в кубрик и залегло там. К концу пути многих из них укачало. Должно быть, виной была не только волна, но и нехватка свежего воздуха.

Я след за Визгиным и Люденом постепенно, бочком-бочком, вылез на капитанский мостик. Визгин так и не уходил все время оттуда, боясь, что если спуститься вниз, в духоту, ему будет еще хуже. Его «травило» при малейшей качке, и здесь каждый выход в капризное Баренцево море был для него усилием над собственной натурой. Впрочем, он крепился и не подавал виду.

Мы стояли рядом с Люденом. Он жаловался на луну, смеивался над своими уже немолодыми годами, что в прежние бы годы он радовался луне, а теперь ругает ее старой хрычовкой. Словом, болтал о чем угодно, кроме предстоящего дела. И я был рад этому, потому что сам не люблю заранее говорить о том, что и как будет.

Волны фосфоресцировали, качка усиливалась. Когда мы вошли в Мотовский залив, она достигла че-

тырех-пяти баллов. Для такого суденышка, как «морской охотник», это еще не опасно, но уже очень чувствительно. Шли мы часа четыре и около десяти подошли близко к немецкому берегу. Направо от нас было Петсамо, налево — река Западная Лица и наши передовые позиции, а в двенадцати километрах от нас на фоне черной воды вырисовывался контур мыса Пикшуев, куда нам предстояло добираться. За спиной у нас оставался Рыбачий, на котором нет-нет да и мелькал вдруг свет подфарника проходившей где-то далеко машины.

Вплотную подойти к немецкому берегу мы не могли: было слишком мелко, и из воды повсюду торчали камни. На воду спустили лодочку «тузик», один трап спустили с борта «охотника» на «тузик», а второй трап перебрали с «тузика» на прибрежные камни. В самом «тузике», в этой зыбкой передаточной инстанции, стоял Визгин. Двое моряков из команды «охотника», увидев, как один из разведчиков, перебираясь с качавшегося «тузика» на второй трап, плюхнулся в воду, решили помочь остальным. Они встали по пояс в ледяной воде по обеим сторонам трапа и начали одного за другим принимать на руки тех, кто слезал. Принимали и доводили до конца трапа. Дальнейшее было делом собственной ловкости. Кто прыгал лучше, тот мочил себе ноги до колен, а тот, кому это не удавалось, проваливался в воду и выше колен и по пояс. Я, к сожалению, тоже оказался не из ловких. Перспектива шагать по горам, по снегу, в мороз, двенадцать или пятнадцать километров в мокрых сапогах и штанах была не особенно заманчивой, но ничего не оставалось делать.

Первые из высадившихся пошли и вглубь и вдоль пустынного берега дозорами. Все остальные высаживались уже под их прикрытием. Несмотря на маскилаты, людей было хорошо видно даже издали, такой светлой оказалась эта ночь. Я с тревогой подумал, что, если нам не удастся незаметно подобраться к Пикшуеву мысу, нас могут в такую ночь перестрелять, как куропаток. Всего нас вылезло на берег около сорока человек. По агентурным сведениям, на мысе Пикшуев должно было стоять не больше полуроты немцев, то есть человек шестьдесят — семьдесят. При соблюдении неожиданности шансы на успех были на нашей стороне. Но при отсутствии неожиданности дело могло обернуться худо.

Едва мы вылезли на берег, «морские охотники» отчалили и пошли болтаться в море, поближе к берегам Рыбачьего. С нами были ракеты; после окончания операции мы должны были вызвать этими ракетами катера. А кроме того, с нами шел радист для дублирования ракет и передачи условных сигналов о помощи, если бы с нами случилось что-нибудь худое.

Мы вылезли и пошли. Впереди шел прирожденный разведчик Мотовилин, за ним шли еще двое, за ними Люден, за Люденом я, дальше цепочкой тянулись все остальные. Инзарцев, по-моему, шел замыкающим.

Мы с небольшими остановками шли эти двенадцать километров около трех часов. Двигались быстро, особенно если учесть, что мы шли над самым берегом по крутым скатам прибрежных скал. Кое-где приходилось перепрыгивать со скалы на скалу, с камня на камень. И это еще было ничего. Хуже было там, где попадались расщелины между скалами. Они были заметны снегом и обдuty ветрами и превратились в абсолютно гладкие и твердые, как кость, снежные откосы с очень крутым градусом наклона. Переходить такие места было особенно

трудно. Несколько человек ссыпались вниз. Им могли подняться. По счастью, обошлось без увечий. Потом ссыпался шедший впереди меня Люден. Его бросился выручать один из разведчиков и пролетел по откосу еще метров на пятнадцать ниже него.

На втором привале, лежа на снегу за скалой и потихоньку покуривая в рукава, мы вдруг вспомнили, что ведь сегодня праздничная ночь — с 6 на 7 ноября.

Среди оказавшихся около меня на этом привале людей было несколько украинцев. Пошли разговоры о Днепропетровщине и Харьковщине, о том, куда делись их семьи. От разговоров этих веяло грустью и огромностью расстояния, отделявшего нас от всего того, что мы любили.

Мы шли так быстро и так уставали от постоянного перелезания и переползания, что ни у кого не замерзли ноги, хотя почти у всех они были мокрые. Больше раздражало то, что намочившие в воде маскировочные халаты, штаны и куртки застыли и корбились при ходьбе с таким шумом, который нам из-за стоявшей кругом тишины казался почти грохотом. Ветер с моря набивался в эти стоявшие колом маскировочные одежды, как в паруса, и тоже мешал идти.

Примерно на середине пути, у обледенелого устья ручья, передовые разведчики заметили следы. Все насторожились. Следы были и похожи и непохожи на человеческие. При том ветре, который сейчас дул, следы могли остаться только от того, кто прошел здесь совсем недавно. Через несколько секунд кто-то сообразил и сказал:

— Это же россомаха.

Все рассмеялись.

Выйдя наверх, на плоскогорье, мы наткнулись на шедшие под снегом провода. Видимо, это была линия, соединявшая передовые позиции со штабом немецкой дивизии. Рассчитав, что нам осталось идти уже очень мало, всего каких-нибудь пятнадцать минут, и твердо зная, что немцы все равно до утра на обрыв линии выйти не рискнут, разведчики стали резать линию сразу во многих местах. Выбিরали из-под снега провода, закатывали их в клубки и зарывали эти клубки в стороне в снег. Вскоре линия была уничтожена на протяжении целого километра.

Наконец Мотовилин указал на высившиеся впереди две или три сопки, на которых чернели гряды камней.

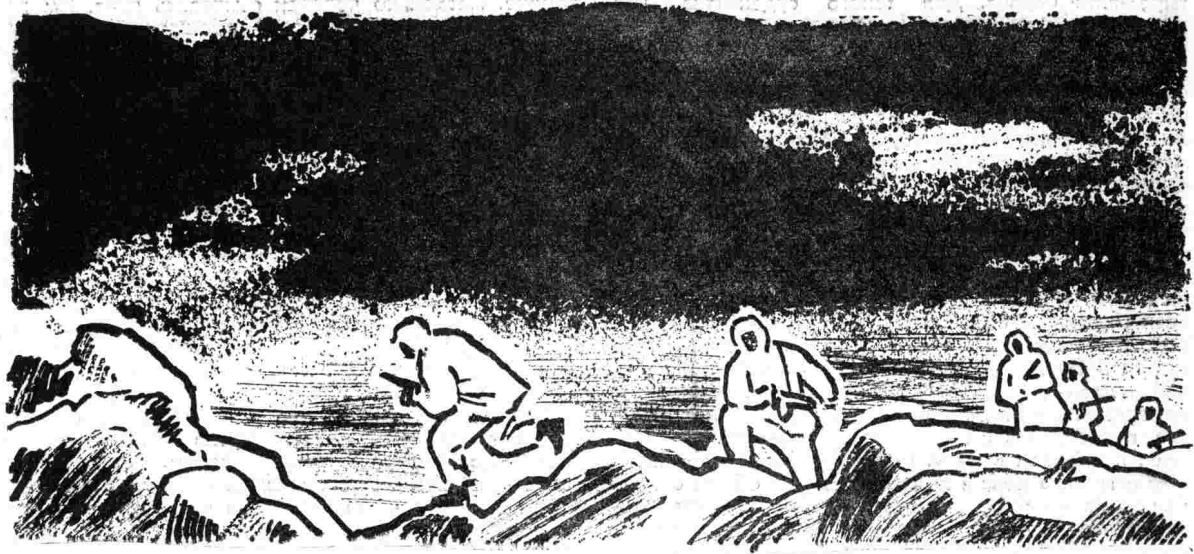
— Вот и Пикшуев, — сказал он. — Подходим.

Все притихли. Было светло почти как днем. У меня появилось неприятное ощущение в спине; казалось, что кто-то невидимый без труда может нас всех откуда-то перестрелять.

Отряд разделился на три, и мы пошли в обход сопки. Держали оружие наготове — считалось маловероятным, что немцы нас так до сих пор и не увидели. Несмотря на все принятые предосторожности, они все-таки должны были нас заметить в такую ночь.

Однако, когда мы вплотную подползли к ближайшей сопке, на которой чернели пятна землянок, мы не услышали оттуда ни окрика, ни выстрела. Мы бросились к землянкам. Когда долбанули дверь в первой из землянок, она со скрипом открылась. В землянке никого не было. Я вошел туда вслед за Люденом и осветил фонарем. По всему чувствовалось, что землянка не брошена, что в ней жили и, очевидно, собираются жить. На столе стояла лампа с исправным фитилем, стояли котелки, чугунки.

Вторая и третья землянки были тоже пусты.



Другая группа, обходившая остальные сопки, тоже так и не наткнулась на немцев.

Через полчаса нам уже стало ясно, что на Пикшуеве мысе, во всяком случае, здесь, где мы были, или вообще никого нет, или есть немецкий дозор, который при нашем появлении спрятался и боится себя обнаружить.

Впоследствии, по агентурным сведениям, оказалось, что именно в это время немецкая полурота, стоявшая на Пикшуеве мысе, сменилась. Одна полурота ушла отсюда, а другая, которой предстояло ее сменить, еще не пришла сюда. Надо думать, что немецкий патруль все-таки оставался здесь, но он сам стрелять по нас не решился, а мы его не нашли.

То, что немцы не собирались уходить с Пикшуева мыса, было ясно с первого взгляда. Землянки были в полном порядке; в них оставались разные бытовые вещи. В двух сараях и в небольшом домике были устроены склады продовольствия. Не бог весть какие, но все же склады: бочки с яичным порошком, мешки с мукой, с галетами, мешки с кофе, запас консервов и еще что-то, уже не помню, что. В одном из сараев были сложены баллоны. Мы сначала сочли их немецкими, но потом увидели, что это баллоны с ацетиленом для освещения маяка, — запас, оставшийся еще с мирного времени.

Поодаль от землянок мы нашли два изуродованных орудийных лафета и один, тоже изуродованный, ствол горного орудия. Второй ствол немцы, очевидно, увезли с собой. Судя по всему, наша артиллерия как следует накрыла эту горную батарею.

Все запасы доставлялись сюда с невероятным трудом, на вьюках, и было очевидно, что, уничтожив все, что здесь осталось, мы тем самым затрудним положение немцев, которые не нынче-завтра вернутся сюда, на Пикшуев, и им придется все заново возозидать. Так, кстати сказать, потом оно и произошло.

Взломав двери складов и разобрав часть досок, мы стали обкладывать все немецкие запасы досками и фанерой и всем, что попадалось под руки, для того, чтобы поджечь.

Сигнальных ракет было решено не давать. Радист вызвал наши «охотники» по радио. В стоявшей кру-

гом тишине были отчетливо слышны его точки и тире.

Вскоре к берегу, немного западнее самого Пикшуева, подошли оба «морских охотника». С одного из них слез Визгин, который захотел почему-то сам принять участие в поджоге немецких складов. Всех, за исключением пятерых человек, переправили на «морские охотники»; последними остались Визгин, Люден, Мотивилин, еще один разведчик и я. Прихватив с собой бутылку с горючей жидкостью хотя и разбилась, но почему-то не загорелась. Но бензин сделал свое дело. Мы облили доски и фанеру и зажгли оба склада и дом. Сначала пламя разгоралось слабо, а потом все сильнее и сильнее, и когда мы перебрались на «морской охотник», уже было видно, как и в доме и на складах сквозь двери и ставни прорываются изнутри красные языки пламени.

Оба «морских охотника» отчалили; я пошел вниз, в кубрик, и завалился на койку. На обратном пути качало сильнее, чем по дороге сюда. Было около шести баллов. Через полчаса после того, как мы отошли от берега, Люден прислал за мной краснофлотца, чтобы я вышел на палубу. Я поднялся.

Сзади нас над мысом Пикшуевом стоял огромный столб пламени, то падавший, то снова поднимающийся в небо. Взрывы отсюда уже не были слышны, но по промежуткам, с которыми то падало, то вновь поднималось пламя, было ясно, что там что-то рвется. Может быть, это был ацетилен, а может быть, и не замеченный нами запас снарядов. Я простоял на борту «охотника» минут пятнадцать, глядя на зрелище, а потом снова спустился в кубрик.

В семь часов утра, когда кругом стояла все та же светлая северная ночь, мы вернулись в Полярное, и Визгин с Люденом сразу отправились докладывать по начальству. А я, узнав от кого-то, что здесь, в Полярном, сейчас живет Александр Жаров, пошел к нему и вскоре был уже на четвертом этаже в знаменитом циркульном доме — гордости Полярного. Этот дом стоит на горе, и его большая геометрически правильная дуга видна с моря.

Не забуду того радушия, с которым меня встретил Жаров. Был заварен крепкий чай, на столе стояли рюмки спирта и на закуску — колбаса. Это было



верхом блаженства, особенно если учесть, что я был по пояс мокрый, и, как только я вошел в теплую комнату, мое заледеневшее обмундирование начало стремительно оттаивать. Выпив сначала спирт, а потом чаю, я разделся и лег на диване в комнате у Жарова.

Проспал я всего два часа. Меня разбудило радио. Говорила Москва. Уже не помню сейчас, была ли это запись на пластинку речи Сталина на параде, или это было повторение речи диктором, но, во всяком случае, это была та самая речь, которую Сталин произнес в то утро, 7 ноября, на Красной площади.

Трудно сказать, что с нами делалось. Эта традиционность, этот парад на площади, когда немцы находились в шестидесяти—семидесяти километрах от Москвы,—все это потрясло сердца. Казалось, что теперь, после этого, все будет в порядке вообще и в частности — с Москвой. Как я потом выяснил, даже в наиболее критические моменты в самой Москве было гораздо больше уверенности в этом, чем у людей, которые могли следить за этим издали и не знали живых подробностей.

Через час катер отходил из Полярного в Мурманск. Я знал, что Зельма и Бернштейн собирались из Мурманска сюда, в Полярное, но у меня уже не было времени узнавать, приехали они или не приехали. Журналистский долг требовал немедленного отъезда в Мурманск, надо было поскорей написать о том, что я видел, и успеть отправить так, чтобы корреспонденция по возможности попала в номер 8 ноября.

Замерзший и усталый, я добрался до Мурманска. В нашем номере в гостинице было пусто. Ребята действительно уехали в Полярное.

Я пошел в морскую разведку и продиктовал там машинистке подвал о высадке на Пикшуеве мысе, назвав его «В праздничную ночь». Главный смысл корреспонденции был, конечно, в том, чтобы напечатать ее именно 8 ноября — сразу же, в праздник. Но с этим в первый и единственный раз на Севере мне не повезло. На телеграфе что-то перепутали, и мой очерк пришел в Москву только через две недели. Но хотя злободневность его отпала, Ортенберг все-таки напечатал его позднее, поставив на нем по-

метку «Задержано доставкой» и проявив тем самым редакторский такт по отношению к своему корреспонденту. Мне было бы, честно говоря, обидно, если бы именно этот очерк остался ненапечатанным.

Конец навигации...

Следующие три дня, дожидаясь возвращения ребят из Полярного, я жил в Мурманске один и сделал за это время корреспонденцию по материалам особого отдела.

У меня была в эти дни любопытная встреча с одним пленным. Это был необыкновенно словоохотливый австриец, христианский социалист, бесконечно и без умолку болтавший и по собственной инициативе писавший десятки показаний, одно другого многословнее и запутаннее. Он перешел к нам добровольно, и вначале его подозревали в том, что он засланный к нам шпион, притом крупного полета. Но потом выяснилось, что на самом деле это типичный Хлестаков, что сдался он просто-напросто из трусости, а наболтать мог сорок бочек арестантов в любую минуту и по любому поводу. Ему доставляло огромное удовольствие, что с ним так много разговаривают и что радуются, когда он исписывает целые тетради все новыми и новыми показаниями. Это был небольшого роста человек с быстрыми бегающими глазами и с пулеметной скороговоркой. Я слушал его много часов и использовал для корреспонденции выборки из его показаний.

На мой взгляд, это был интересный материал, но он почему-то так и не пошел в «Красной звезде». Не только не пошел, а вообще куда-то пропал, и я так потом и не нашел никаких следов его в редакции.

В эти дни в Мурманском театре сыграли премьеру «Парня из нашего города», и я был на ней. Декорации были бедные и трогательные, но женщина-режиссер Савина, поставившая спектакль, сделала это умно и тактично, а главное, самого «парня» прекрасно играл актер Филиппов.

Наконец, 12 ноября вернулись из Полярного Зельма и Бернштейн, задержавшиеся там из-за того, что опять не было погоды; два дня не давали «добро» катеру, на котором они должны были добраться до Мурманска.

Забыл сказать, что еще 5 числа, накануне похода на Пикшув, я получил по военному проводу телеграмму от Ортенберга о выезде в Москву, моем и Бернштейна. Но тогда мне было обидно не кончить начатое дело, и я сделал вид, что телеграмма меня уже не застала. Теперь, когда очерк «В праздничную ночь» уже ушел в редакцию, совесть моя была чиста, и, как только ребята вернулись, мы тронулись в путь.

Стояла такая непогода, что в эти дни не приходилось и думать о том, чтобы лететь самолетом. Мы решили, что лучше будет двигаться медленно, но верно, и сели на поезд, который должен был довезти нас до Кандалякши. Оттуда, по нашим сведениям, должен был уходить один из последних в эту навигацию пароходов в Архангельск, а из Архангельска мы могли самолетом или поездом добраться до Москвы.

Я был рад вызову. Меня тянуло в Москву, а кроме того, я томился полной неизвестностью, где теперь мои старики и вообще все мои близкие.

Мы рассчитывали, что поезд до Кандалякши пройдет сутки, оттуда сутки с небольшим паромом до Архангельска и четверо-пятеро суток поездом до Москвы. На самый худой конец мы собирались потратить на эту поездку неделю. Но в жизни вышло все по-другому: вместо недели мы ехали три. Ночью мы сели в поезд, отходивший на Кандалякшу. В полной тьме влезли в уже набитую доверху теплушку, где люди сидели в три этажа, а посредине вагона стояла пышущая жаром печка. До Кандалякши проехали, как и думали, сутки. На станции Мишка Бернштейн пошептался о чем-то на тарбарском языке автомобилистов с водителем санитарной машины, и он довез нас в кузове на Кандалякшскую пристань.

Морской комендант сначала обрадовал нас тем, что пароход «Спартак», на котором мы собирались плыть, уже стоит у причала, а потом добавил, что когда пойдет этот «Спартак», пока никому не известно. Оказывается, этим паромом должны были возвращаться в Архангельск полторы тысячи человек — архангельских жителей, занятых на оборонных работах Карельского фронта. Но в связи с разными военными перевозками из нескольких эшелонов, которыми должны были прибыть все эти люди в Кандалякшу с разных участков Карельского фронта, пока прибыл только один эшелон — четыреста человек, — а остальные были еще в пути и ожидалось со дня на день.

Видимо, умудренный горьким опытом, комендант произнес это «со дня на день» иронически и добавил, что дай бог, чтобы «Спартак» поспел в Архангельск к концу навигации.

— А когда будет конец навигации? — спросил я.

— А кто его знает, — сказал морской комендант. — Как мороз хватит, так и конец. Может, через день, а может, и через неделю.

После этого невеселого заявления мы в ожидании отплытия все-таки к ночи переселились на пароход «Спартак». Кроме нас троих, этим паромом в Архангельск отправлялись еще морской полковой комиссар со своим адъютантом и старенький капитан второго ранга. Полковой комиссар устроился в каюте у капитана, а мы — кто где. Зельма пристроил-

ся на коротенькой лавке в каюте у паромного механика. Это имело два неудобства. Во-первых, лавка была очень уж короткой, а во-вторых, главный механик, сварливый старый моряк лет пятидесяти пяти, служака и педант, терпеть не мог молодого капитана и все время, свободное от сна и вахты, неутомимо посвящал Зельму в разные отрицательные подробности капитанской жизни. Впрочем, Зельма с присущим ему хладнокровием находил в этом хорошую сторону и говорил, что теперь он, как никто, знает быт корабельных механиков и может написать целую хронику внутрикорабельных отношений.

Капитан второго ранга, я и Мишка устроились в кают-компанию, капитан и Мишка — вдвоем на диване, а я — в углу на полу, на полушубке.

Наш быт на корабле был бытом людей, неожиданно зазимовавших во льдах. Мы сели на пароход 15 ноября, а сошли с него только 28-го. Первые пять дней мы жили в ожидании того, когда наконец подойдут все эшелоны с людьми. Жизнь наша состояла из сна, по принципу чем дольше, тем лучше, из еды, весьма умеренной, и из развлечения трех видов: игра в «козла», чтение изящной литературы и слушание патефона. Патефон этот почти непрерывно играл в находившейся по соседству с кают-компанией комнатке буфетчицы и корабельной докторши. У них было всего шесть пластинок, но зато они заводили их непрерывно. Буфетчице Нине особенно нравилась пластинка «Лимон-Лимонейро», а докторша Клава предпочитала «Прощай, мой табак». Впрочем, иногда они заводили и остальные четыре пластинки, которые мне тоже удалось заучить наизусть.

Довольствие мы получали на суше; перевести нас на корабельное обещали, когда отчалим.

Однако запасливый Зельма все-таки, на наше счастье, заставил ленивого Мишку пойти вместе с ним куда-то в АХО за сухим пайком. Они принесли несколько буханок хлеба, чай и сахар. Никто из нас даже не предполагал, как это нас выручит.

На четвертые сутки на пароход начали грузить людей, возвращавшихся с оборонных работ. Их грузили весь четвертый и весь пятый день. Несмотря на протесты распорядившегося погрузкой капитана, надеясь на то, что наш пароход не застрянет в пути и пройдет до Архангельска всего тридцать часов, на него погрузили вместо полутора две с половиной тысячи человек.

«Спартак» был лесовозом. Две тысячи человек разместились в трюмах, а пятьсот — прямо на палубе, в надежде на то, что переход продлится немногим больше суток и это время как-нибудь можно и перетерпеть. Люди не хотели ждать никаких других вариантов отправки. Все это были архангельские жители, пробывшие по два — два с половиной месяца на тяжелых земляных работах, оторванные от семей, не слишком сытно питавшиеся все это время и, конечно, отчаянно скукавшие по дому. Все они хотели любой ценой хотя бы на день раньше вернуться в Архангельск. Всем им выдали на всякий случай трехсуточный сухой паек — хлеб, сахар, чай, по две селедки, — но погрузка продолжалась два дня, и у тех, кто получил этот сухой паек с самого начала, он был к тому времени, когда мы отплыли, уже почти съеден.

Большого мороза не было, стояло два — четыре градуса, но и в этих условиях перспектива просидеть около суток на открытой палубе была не слишком-то веселой.

Кандалякшский залив тем временем затянуло

льдом; мела поземка, и минутами казалось, что мы стоим вмерзшие в лед где-нибудь в Арктике.

Наконец, два маленьких полуледокольного типа буксирчика, трепыхаясь вокруг нас, стали продельвать нам во льду дорожку. Но это оказалось не так-то легко. Пятьдесят или шестьдесят километров, которые нам пришлось идти по Кандалакшскому заливу до выхода в Белое море, стоили нам двух с лишним суток пути. Дул ветер, и было нестерпимо смотреть на людей, ютившихся на палубе. Для них натянули навесы, поили их несколько раз кипятком, но все равно я впервые за время войны почувствовал себя так отвратительно — человеком, который сидит в этой кают-компании, как в стеклянной банке, из которой все видно, но помочь ничем нельзя. Мы жили в этой кают-компании, выходявшей иллюминаторами на палубу, ели, правда, скудный, но все-таки обед; я спал на полу, но в тепле. А за стенкой кают-компании люди стояли в очередях за кипятком и спали на голой палубе, просыпаясь от холода. Мы были бессильны чем-нибудь помочь, потому что кают-компания тоже была теперь набита до отказа. Но чувство все равно было ужасное.

На вторые сутки после нашего выхода из Кандалакши у многих кончился запас продовольствия, но люди терпели, надеясь, что теперь через сутки уже будут в Архангельске. Мы наконец вышли в открытое море, и теперь действительно казалось, что еще сутки — и все. У крошки льда перед устьем Северной Двины на тот случай, если бы ледовые условия не позволили пройти нам самим, нас должен был встретить ледокол. Войдя в открытое море, все воспрянули духом.

Что до меня, то я все эти дни, чтобы меньше думать о происшедшем кругом, забирался в каюту третьего помощника, когда он был на вахте, и писал там стихи. Я написал за эти дни семь или восемь стихотворений. В том числе «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...» и «Словно смотришь в бинокль перевернутый». А что еще было делать, кроме писания стихов? На душе было скверно, а в животе пусто. И все это, вместе взятое, делало меня злым и работающим.

К концу четвертых суток мы дошли до крошки льда у устья Северной Двины. Сначала в заливе лед был нетвердый, а дальше, в реке, стояло густое, толстое, сплошное сало. Через три часа хода выяснилось, что мы двигаемся с максимальной скоростью двести — триста метров в час. Но и для того, чтобы сделать эти двести—триста метров, приходилось все время форсировать машину, давать задний и передний ход, опять задний, опять передний, а толку не выходило почти никакого.

Впереди с обеих сторон уже были видны берега. Судя по тому, что застряли не одни мы, а еще несколько пароходов, пришедших раньше нас, ледокол уже давно ожидали. Мы думали (потом это подтвердилось), что как раз в это время пришел караван английских судов с военными грузами, и ему пробили путь все наличные ледоколы.

Наш капитан дал радиogramму начальству, что он ждет ледокол этой ночью. Учитывая, что у него две с половиной тысячи людей на борту, он был уверен, что ледокол приплут. Настроение в этот вечер у всех было лучше. Никто из ехавших на пароходе не хотел верить, что мы можем застрять теперь здесь, в виду самого Архангельска. Но на следующие, пятые, сутки ледокол не появился. Мы продолжали медленно двигаться во льдах. Многие люди на борту уже явно голодали. Появились больные. Док-

торша Клава приходила в кают-компанию и рыдала навзрыд, говоря, что она не может больше ходить по трюмам и видеть, что там происходит.

Капитан послал вторую радиogramму.

На шестые сутки мы продолжали по-прежнему толкаться во льдах, а в общем за последние двое суток продвинулись всего на двадцать километров. Оставалось еще километров тридцать пять. Берега теперь были совсем близко; на левом виднелось даже какое-то селение. Если бы был твердый лед, то можно было бы спустить людей на берег по льду. Но кругом корабля стояло сплошное сало. Невозможно было ни пройти пешком, ни проехать на лодке.

Вечером на шестые сутки появился первый покойник. Его вынесли из трюма и прямо на носилках положили на палубе, накрыв брезентом.

Поздно ночью, когда на корабле все уже спали, Зельма увидел, как к этому трупу, озираясь, подошел какой-то человек, быстро сунул руку под брезент и, вытащив оттуда краюху хлеба, спрятал ее за пазухой. Видимо, он боялся, что другие, уже начавшие голодать люди заставят его поделиться этой краюхой, и спрятал днем хлеб под брезент рядом с трупом, где никому бы и в голову не пришло ее искать.

В эту ночь несколько человек пассажиров, решив, что команда прячет у себя на камбузе запас продовольствия, взломали камбуз. На самом деле на камбузе почти ничего не было. Команда тоже сидела на голодном пайке. Мы второй день ели только хлеб и пили кипяток. Но самый факт взлома камбуза говорил о серьезности положения.

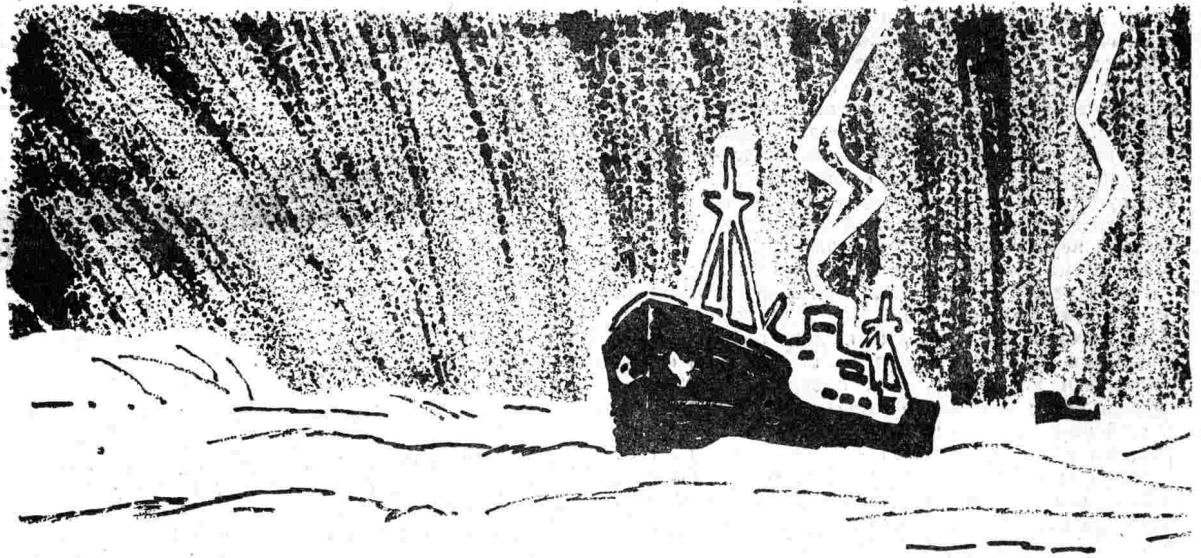
Весь седьмой день пароход представлял собой странное зрелище. Все, кто только мог, толпились на том борту, откуда был виден архангельский берег. Толпились и упорно смотрели в ту сторону, словно, стоя у этого борта, они были ближе к цели. Это было невольное, но сильное общее чувство, почти психоз, который очень трудно было преодолеть.

Пароход, как мне потихоньку сказал капитан, в этот день уже не двигался ни назад, ни вперед. Но, чтобы поддержать настроение измученных людей, капитан гонял машину все время взад и вперед. Пароход отходил назад, потом снова порывался вперед, опять назад, опять вперед...

Вечером капитан вызвал к себе полкового комиссара и меня и сказал, что люди измучились, потеряли терпение, и поставил перед нами вопрос: что делать? Перебирая все возможности, вспомнили, что на корабле среди других грузов есть несколько бочек сушеных тресковых голов. Их везли из Кандалакши в Архангельск на завод для изготовления клея. Головы были сухие и почти несъедобные, но я посоветовал капитану зарядить на ночь камбуз, распарить в котлах и кипятке эти головы и раздать всем находившимся на пароходе.

Так как на пароходе к этому времени насчитывалось уже около трехсот пятидесяти больных, мы решили сообща послать закрытую телеграмму в Военный совет Беломорской флотилии. Текст был примерно такой: «Терпим бедствие положение угрожающее на борту две с половиной тысячи человек несколько дней без еды есть смертный случай, триста больных немедленно необходим ледокол во избежание несчастья». Эта радиogramма была отправлена среди ночи.

В камбузе всю эту ночь обваривали тресковые головы и утром роздали всем по куску.



Мы ждали ответа на телеграмму, но ответа все не было и не было. К концу дня течение сблизило нас с застрявшим, как и мы, во льдах тральщиком, с которого после наших сигналов о бедствии ухитрились переправить нам два мешка сухарей. Большого они не могли нам дать, потому что тоже давно стояли здесь и тоже были голодны. Получив эти мешки, роздали пассажирам по кусочку сухаря.

Наш лесовоз по-прежнему давал то передний, то задний ход, все еще пытаюсь создать иллюзию, что мы как-то двигаемся.

После раздачи тресковых голов и сухарей день прошел сравнительно спокойно. Наступила ночь. Никогда не забуду этой картины. Почти черное небо, еле-еле выглядывающая из-за облаков луна, а со всех сторон на порядочном расстоянии друг от друга дюжина вмерзших в лед больших и малых судов. И вдруг среди ночи впереди — огни ледокола «Сталин». Они медленно, но верно приближались к нам. Весь пароход проснулся. Люди толпились на палубе. Ледокол выходил все ближе. Наконец уже оказалось возможным переговариваться с ним в рупор. Ледокол стал разворачиваться так, чтобы пробить лед и дать нам возможность пройти в кильватере.

Среди ночи на всех судах зажглись бортовые огни. Все они пришли в движение. Каждое судно стремилось поскорее приблизиться к этой пробитой ледоколом дорожке, чтобы поближе к ледоколу войти в состав кильватерной колонны. Нам удалось пристроиться за ледоколом первыми.

Пассажиры так густо толпились на палубе, что мешали работать матросам. Несмотря на все пережитое до этого, после появления ледокола людьми овладело праздничное настроение. Я стоял наверху, в рулевой рубке, и наблюдал за всей этой картиной: за движением во льдах, за сигнальными красными и зелеными огнями. Слушал хруст льда и крики перекликающихся в рупоры капитанов. После часового маневрирования мы пристроились за ледоколом и тихо двинулись.

На следующий день, в три часа дня, мы сошли со «Спартака» на пристань Соломбала, на окраине Архангельска.

Москва, декабрь...

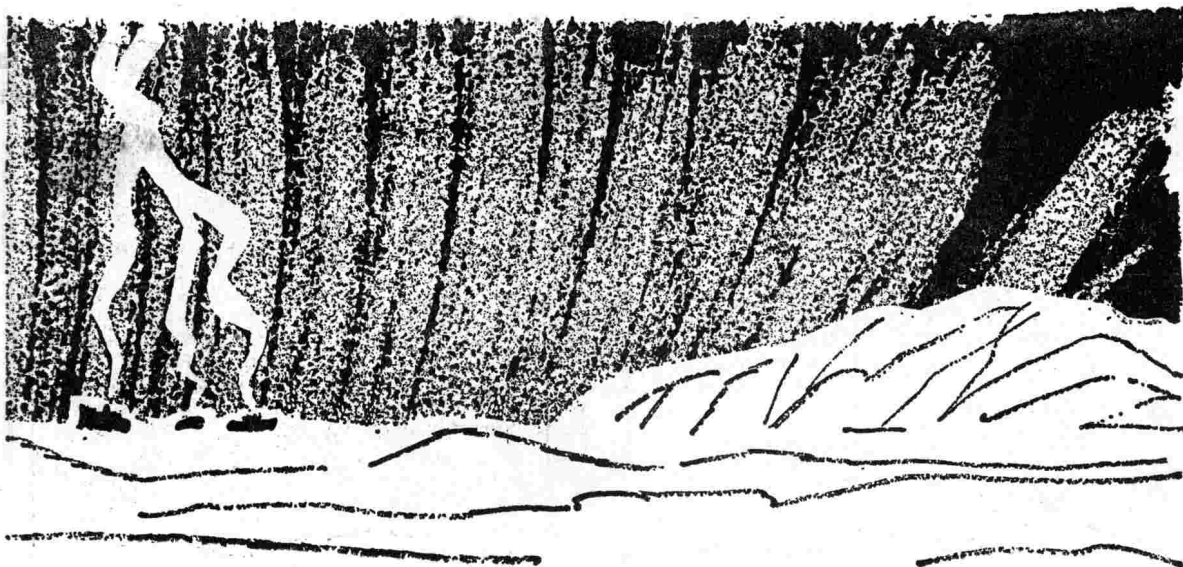
Вечером, устроившись в одном из голых номеров только еще начинавшей оборудоваться гостиницы, я вспомнил, что сегодня 28 ноября — мой день рождения. В гостинице не было ни ресторана, ни столовой, но одна комната была отведена под буфет, и мы после голодовки, достав там бутылку спирта и закуски, выпили у себя в номере за мое здоровье.

Ночью из кабинета директора гостиницы я, к собственному удивлению, дозвонился до Москвы. Телефон в коммунальной квартире, где жили мои старики, вдруг ответил; к нему подошла сестра отца — тетя Варя, и от нее я узнал, что и отец, и мать, и все другие близкие мне люди уехали из Москвы в эвакуацию еще в конце октября.

Мы задержались в Архангельске, пробуя улететь в Москву самолетом. Мы предпочитали самолет, потому что, по нашим тогдашним соображениям, это было надежнее. Самолет так или иначе мог сесть в Москве, а Северная дорога за эти дни, пока мы станем добираться, могла оказаться перерезанной.

Забыл сказать, что вдогонку за первой телеграммой, вызывавшей меня в Москву, Ортенберг прислал в Мурманск вторую, в которой требовал, чтобы я перед выездом сделал для газеты материал об английских и американских пароходах, приходящих с грузами в наши порты. В Мурманске этого сделать было нельзя — в те дни туда приходили только английские военные суда, — а в Архангельске в ожидании самолета я попробовал это сделать.

Ребята поехали фотографировать летчиков, а я, выпросив у моряков переводчицу, очень молоденькую и старавшуюся быть именно поэтому особенно солидной, которую я за ее солидность называл не иначе как «товарищ техник-интендант второго ранга Тамара Платонна», поехал на Вторую Бакрицу, к месту предполагаемой стоянки каравана. Однако, когда мы туда приехали, нам сказали, что английские корабли, которые должны прийти сюда, еще не пришли. Люди, пославшие нас сюда, оказались оптимистами, не учитывающими состояние льдов в Северной Двине.



Из-за ожидания самолета мы пропустили один поезд, но я за это время сделал три дела. Узнав о награждении английских летчиков, четверо из которых упоминались в моем очерке «Общий язык», отправил этот так и не отправленный в свое время из Мурманска очерк по военному проводу в Москву, написал за одни сутки поэму «Сын артиллериста», а на другой день закончил книжку стихов «С тобой и без тебя», дописав последние строчки стихотворения «Я, перебрав весь год, не вижу...».

У меня тогда было смутное чувство. Было неясно, как все обернется в моей личной жизни, да и ехал я в Москву, представляя себе сложившееся там положение еще более тяжелым, чем оно было на самом деле. В общем, не зная, что там со мною будет дальше, я хотел, чтобы эта только что законченная книжка стихов не пропала, и при помощи украинского писателя Хольша, симпатичного редактора военной окружной газеты, я за один день перепечатал и даже переплел в типографии три экземпляра этой книжечки и один из них на всякий случай оставил в Архангельске у Андреева — директора Архангельского театра.

А самолеты все не вылетали и не вылетали, и мы, пропустив еще один поезд, решили все-таки ехать следующим, не дожидаясь погоды. Утром 2 декабря мы сели в поезд, отходивший из Архангельска в Москву.

Накануне отъезда Зельма получил телеграмму из редакции «Известий». В телеграмме требовали, чтобы он ехал из Архангельска не в Москву, а прямо в Тихвин, где, очевидно, разыгрывались события. Настроение в эти дни немножко улучшилось, были получены первые хорошие сведения из-под Ростова. Но в отношении самой Москвы по-прежнему не было слышно ничего успокоительного.

Зельма по дороге загрустил: ему хотелось ехать до Москвы вместе с нами. Во время стоянки в Вологде, где он должен был слезать, мы разделили с ним остатки сухого пайка, он навьючил на плечи вещевой мешок, и мы проводили его до конца перрона. И я долго смотрел ему вслед. Было как-то грустно и тревожно расставаться с ним. Предчувствие потом оправдалось. Не доехав до Тихвина, Зельма попал под бомбежку, был контужен и не-

сколько недель пролежал в госпитале. И я увидел его снова только спустя полгода.

Против ожидания мы ехали быстрее, чем думали, и четвертого днем были уже во Всполье. Название этой станции волновало меня еще задолго до нашего прибытия на нее. Именно здесь должно было выясниться, пойдет ли поезд через Ярославль прямо на Москву или, если это будет уже невозможно, его передадут со Всполья на восток, на Вятку, и дальше пошлют кружным путем.

Простояв во Всполье несколько часов, мы, к нашему душевному облегчению, двинулись прямо на Москву. Пятого утром мы были в Александрове; до Москвы оставалось сто километров. Но когда мы простояли в Александрове целых пять часов, нас снова охватила тревога: почему такая длинная остановка, неужели мы не поедем прямо в Москву?

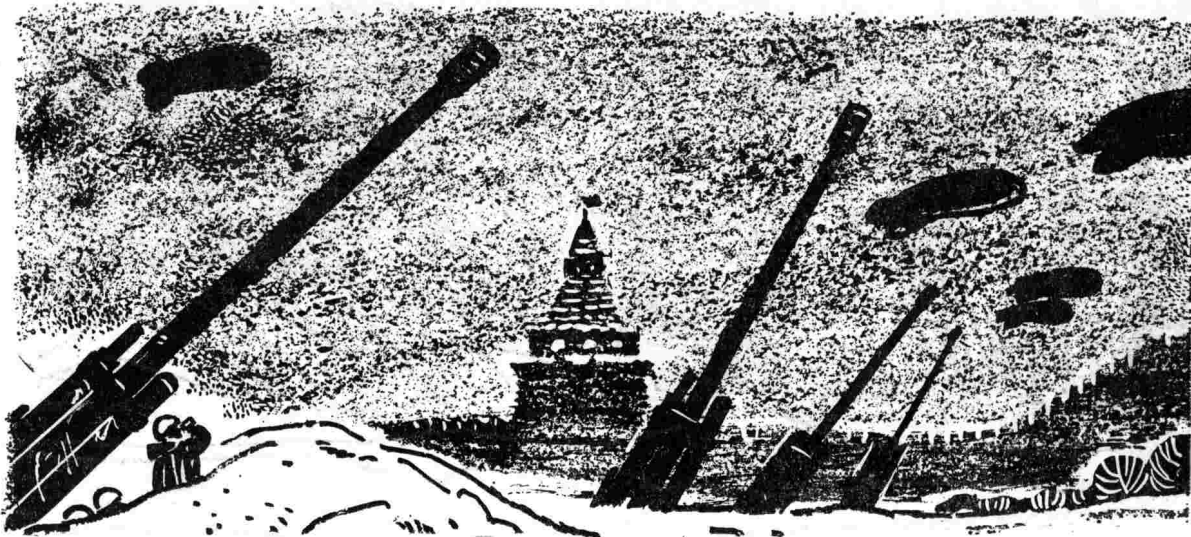
Наконец мы все-таки выехали из Александро-ва и черепашим шагом стали приближаться к Москве. За окнами пошли знакомые подмосковные станции, дачи, переезды, платформы. На запасных путях стояло много разбитых и сожженных вагонов, были заметны следы бомбежки.

Мне и раньше во многих знакомых до войны местах казалось странным, когда к этим знакомым местам вдруг приближалась война. Но, пожалуй, нигде это не казалось таким странным, как здесь, в подмосковной дачной местности.

В десять тридцать вечера поезд остановился у перрона Ярославского вокзала. К Москве в поезде осталось совсем мало народа. В нашем вагоне, кроме нас, ехало всего три человека.

В Москве было холодно. По гулкому мерзлому перрону мы прошли внутрь вокзала. Вокзал был холоден, чист и пуст. Не было ни мешков, ни мешочников, ни кричащих женщин, ни детей — никого. В вестибюле дежурили одни милиционеры.

Из Архангельска я никак не мог дозвониться в редакцию. Все ее телефоны — и на Малой Дмитровке в старом помещении и в ее последнем помещении, откуда я уезжал, в подвалах Театра Красной Армии — не отвечали. Только здесь, в Москве, позвонив с вокзала в «Правду», мы узнали, что редакция «Красной звезды» теперь находится в том же здании, что и «Правда». Мишка дозвонился до тех-



нического секретаря редакции, и тот сказал, что через двадцать минут придет машина.

Нет, пожалуй, это было не в десять тридцать, а девять тридцать вечера, потому что по Москве еще ходили трамваи. И нам было удивительно, что по Москве, совершенно темной и пустой, по-прежнему идут, хотя и темные, без света, но все-таки трамваи.

Забыл сказать об одной смешной детали, которая, впрочем, тогда вовсе не казалась нам смешной. Когда до Москвы оставалось километров десять, мы нетерпеливо глядя в окна вагона, вдруг в абсолютной темноте в том направлении, где была Москва, увидели вспышки. Мы не могли найти им другого объяснения, кроме того, что, очевидно, это наша артиллерия бьет с окраин Москвы по немцам.

Наша артиллерия действительно была в те дни по немцам с дальних окраин Москвы, но мы все-таки видели не вспышки выстрелов. Только выйдя на черную Комсомольскую площадь, я понял, что, наверное, издали, в полной тьме, мы заметили вспышки от прикосновения трамвайных дуг к проводам.

Машина из «Красной звезды» пришла на вокзал через двадцать минут. Уже не помню, кто из редакционных водителей вез нас в тот вечер, но помню, как мы его спрашивали о Москве. Что делается, насколько близко немцы, спокойно ли в Москве? Как часто ее бомбят? Все ли живы в редакции? На все эти вопросы он давал нам гораздо более успокаивающие ответы, чем мы могли ожидать.

По дороге в редакцию я на минутку заехал на Петровку к тете Варе. Она меня расцеловала, сунула мне в руки письма матери, и я, оставив там вещевой мешок и обещая приехать спать, поехал в редакцию.

В начале одиннадцатого мы взобрались на пятый этаж «Правды», где в нескольких комнатках уютилась тогда вся «Красная звезда». Ее московская редакция состояла тогда человек из двенадцати: Ортенберг, Карпов, Копылев, Вистенецкий, заведующий корреспондентской сетью Бейлинсон, начальник АХО — кормилец и поилец редакции Одетков, две стенографистки и две машинистки. Кроме того, было еще несколько корреспондентов, ежедневно ездивших из редакции за материалами на фронт. В их числе

Хирен и Милецкий. А вся редакция занимала всего шесть комнат в одном крыле.

Только здесь впервые за все время я почувствовал всю ту меру оторванности от Москвы, в состоянии которой я находился последнее время на Севере. Ребята поили и кормили нас с Мишкой, о чем-то спрашивали, хвалили за некоторые очерки, говорили какие-то хорошие, теплые слова, а я все время чувствовал только одно: наконец в Москве, наконец в Москве, наконец в Москве. Я все никак не мог свикнуться с этой мыслью. В тот день я, наверное, впервые понял, до какой степени, больше всего на свете, люблю этот город.

Среди ночи появился Ортенберг. Я пошел к нему, и он стал спрашивать меня о поездке. Я тут же, с места в карьер, прочел ему вслух «Сына артиллериста», и поэма сразу пошла в номер.

Наговорившись досыта, часа в два ночи, остановившись на каждом перекрестке патрулями, я все-таки добрался до Петровки. Тетка поила меня кофе и рассказывала разные обстоятельства московской жизни за время моего отсутствия. Только здесь я смог спокойно прочитать письма матери.

Мать — это было так похоже на нее — в своих письмах больше всего беспокоилась о том, чтобы я не подумал, что она уехала из Москвы, чего-то убоявшись. Она писала, что единственной причиной отъезда было опасение оказаться отрезанной от меня. Зная ее характер, этому нетрудно было поверить.

В день приезда меня радостно поразило и в редакции и вообще в Москве общее чувство, что Москву не отдадут. Было ощущение сжавшейся до предела стальной пружины, которая уже дальше сжиматься не может, а может только разжаться и ударить. В эти дни, когда люди, чем дальше они были от Москвы, тем больше тревожились за ее судьбу, в самой Москве было спокойно и уверенно. Пробыв в ней всего час, я уже почувствовал, что ее действительно никогда не отдадут.

Шестого утром я сдал в редакцию еще один северный очерк. С утра у всех было хорошее настроение: уже поступали первые сведения о том, что наши войска перешли в наступление.

Вечером, когда мой подвал о действиях торпед-



ных катеров на Баренцевом море уже был набран, выправлен и стоял в полосе, я узнал, что в Москву вернулись с фронта Трошкин и Кригер, и, созвонившись с ними, поехал повидаться с ними на квартиру к Кригеру. В квартире было холодно и неуютно, но все равно как-то по-домашнему хорошо после всех поездок и скитаний последнего времени.

Не знаю, может быть, когда-нибудь это еще повторится со мной, но те декабрьские дни в Москве мне до сих пор кажутся какими-то особенными. Фронт был еще так близко, что все корреспонденты были, что называется, прицеплены к телефону. В любые пятнадцать минут за любым из нас могли прислать машину, и он, надев полушубок, мог уже через два часа оказаться на фронте. Кстати, и полушубки, и валенки, и оружие, и вообще все, что могло понадобиться в поездке, — все это по возможности постоянно находилось под рукой в редакционных «эмках».

Казарменное положение стало тогда не только необходимостью, но и привычкой. Жить и спать, пить и есть там же, где ты работал. И все старались держаться как-то потеснее друг к другу; одиночество было противопоказано всем.

И от близости фронта и оттого, что утром можно было уехать, а к концу дня вернуться, а следующим утром снова уехать и снова вернуться, создавалось ощущение какой-то скоротечности жизни, некоторой рискованности и нежелания ничего откладывать до завтрашнего дня. Было суматошно, непонятно и хорошо. Все, что имели, делили по-братски, и никому не приходило в голову составлять далеко идущие планы, рассчитывать свою жизнь или свои отношения с людьми хотя бы на неделю вперед. Все начиналось сегодня и кончалось завтра.

В тот вечер, просидев и проговорив несколько часов за столом, мы все тут же, у Кригера, улеглись спать. А наутро приехавший за Трошкиным и Кригером водитель вошел со словами, что Япония объявила войну Америке и Англии.

Я совершенно не предполагал тогда, что дела повернутся так, как они повернулись: мне казалось, что, очевидно, не сегодня, так завтра и у нас тоже начнется война с Японией. Мы все были взволнова-

ны; Кригер и Трошкин сразу поехали к себе в «Известия», а меня водитель отвез в «Правду». По дороге мне мерещились халхингольские степи, и казалось, что я опять попаду на Дальний Восток.

Но когда я явился к Ортенбергу, он сказал, что мои предположения неосновательны и вряд ли на Дальнем Востоке следует ожидать каких-либо особых событий. По крайней мере в ближайшее время.

В этот день я написал и сдал еще один очерк о Севере, а вечером вместе с Трошкиным, Кригером и Женей Петровым мы поехали в совершенно пустой в это время Клуб писателей.

Надо сказать, что в эти декабрьские дни писателей в самой Москве оставалось мало. В «Известиях» работали Петров и Лидин, в «Правде» — Ставский, писал в газеты никуда не двигавшийся из Москвы старик Новиков-Прибой, а почти все остальные или были на разных фронтах, или в эвакуации.

В клубе в эту зимнюю ночь было совершенно пусто, никого, кроме нас. Нам выдали роскошный по тому времени харч с выпивкой, и мы просидели за столом до утра.

Женя Петров, когда на него находил стих, мог целыми часами не вставать из-за рояля. У него был чудесный слух и замечательная музыкальная память. Он играл на рояле то обрывки каких-то мелодий, то танцы, то музыкальные шутки.

Это была шумная и хорошая ночь, которой придавал оттенок некоторой мрачности только огромный совершенно пустой дом. Мы разошлись, когда уже светало. Было морозно, иней обсыпал деревья, и улица Воровского казалась аллеей из прочитанных в детстве сказок. Я еще никогда не видел такого сплошного, такого красивого инея на всем: на домах, на деревьях, на проводах.

Накануне редакция забронировала мне номер в гостинице «Москва». Я пришел в него рано утром, в большой и пустой. Не могу вспомнить другого такого тоскливого утра. В редакции все еще спали после номера. Я позвонил туда, думал поработать, но машинисток не было на месте. Кроме тех своих товарищей, с которыми я провел эту ночь, у меня в Москве не было ни одной знакомой души, которой можно было бы позвонить. Сурков и Слободской вместе с поездом своей фронтальной газеты очутились в

эти дни на несколько десятков километров восточнее Москвы, в Обираловке. По игре случая, из-за того, что эта газета базировалась в поезде, а поезд поставили в Обираловке, четыре центральных газеты оказались именно в эти дни ближе к передовой, чем газета Западного фронта.

Впрочем, говорили, что со дня на день ее редакция должна была переехать в Москву.

Мне было дано еще два дня, чтобы окончательно отписаться за поездку на Север. Я начал писать очерк «Однофамильцы» и на следующий день, не выдержав гостиничной жизни, вернулся в редакцию.

Мне отвели комнату, в которой стояли шкафы картотеки, и поставили туда диван и стол.

Положение на фронте прояснилось, наступление разворачивалось, и в Москву стали одного за другим вызывать людей, по приказу редактора выехавших до этого в Казань, где была наготове вторая редакция «Красной звезды», дублировавшая московскую. Приехал Габрилович, за ним — Павленко.

Читаю стихи

А девятого декабря я узнал, что Сурков и Слободской вместе со своей редакцией «Красноармейской правды» переехали из Обираловки в помещение «Гудка».

Как раз в этот день у меня было назначено выступление на радио. Я должен был прочесть несколько военных стихотворений, и в их числе еще не напечатанное тогда «Жди меня». Перед тем как ехать на радио, я заскочил на машине в «Красноармейскую правду». Там в маленькой комнатке я застал Верейского, Слободского и Суркова, которого в первую минуту даже не узнал, — такие у него были брови пшеничные, с подпалинами, чапаевские усы. Расцеловавшись, мы посидели минут десять, расспрашивая друг друга о событиях, происшедших с нами за те несколько месяцев, что мы не виделись после Западного фронта. Потом я прочитал Алеше посвященное ему стихотворение «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...», старик расчувствовался, я тоже. Из-под койки была вытащена бутылка спирта, который мы и распили без всякой закуски, потому что закуски не было.

Ровно в восемь, впервые взглянув на часы, я с ужасом увидел, что именно в эту минуту должно было начаться мое выступление на радио.

Проскочив на студию мимо ошеломленного вахтера, я застал диктора читающим уже третье из четырех моих отобранных для этой передачи стихотворений. Ему осталось прочесть только последнее из них — «Жди меня». Но мне хотелось обязательно прочесть хотя бы одно стихотворение самому, в особенности это. Выступление по радио значило, что человек именно сегодня, в эту минуту жив и здоров, и об этом будут знать те, кто находится очень далеко от него. Я показал диктору жестами, что дальше буду читать сам, встал с ним рядом, потянул у него из рук лист со «Жди меня», и ему ничего не оставалось, как объявить, что стихотворение «Жди меня» будет читать автор.

Сам не помню, как я тогда прочел его.

На следующий день ко мне в «картотеку» пришли Сурков, Слободской и Борис Рунин. Я прочел им всю книжку стихов «С тобой и без тебя», от начала и до конца, и они, так же, как и я, уверенные, что до конца войны ее нельзя будет напечатать, в то же время похвалили меня; им понравилось, что я написал книгу стихов о любви.

Вот десять стихотворений из тех двадцати пяти, что я прочел им в тот вечер.

А. Суркову

☆

Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины,
Как шли бесконечные, злые дожди,
Как кринки несли нам усталые женщины,
Прижав, как детей, от дождя их к груди,

Как слезы они вытирали украдкой,
Как вслед нам шептали:—Господь вас спаси!—
И снова себя называли солдатками,
Как встарь повелось на великой Руси.

Слезами измеренный чаще, чем верстами,
Шел тракт, на пригорках скрываясь из глаз:
Деревни, деревни, деревни с погостами,
Как будто на них вся Россия сошлась,

Как будто за каждую русской околицей,
Крестом своих рук ограждая живых,
Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся
За в бога не верящих внуков своих.

Ты знаешь, наверное, все-таки Родина —
Не дом городской, где я празднично жил,
А эти проселки, что дедами пройдены,
С простыми крестами их русских могил.

Не знаю, как ты, а меня с деревенскою
Дорожной тоской от села до села,
Со вдовой слезою и с песнею женскою
Впервые война на проселках свела.

Ты помнишь, Алеша: изба под Борисовом,
По мертвому плачущий девичий крик,
Седая старуха в салопчике плисовом,
Весь в белом, как на смерть одетый, старик.

Ну что им сказать, чем утешить могли мы их?
Но, горе появив своим бабьим чутьем,
Ты помнишь, старуха сказала: — Родимые,
Покуда идите, мы вас подождем.

«Мы вас подождем!» — говорили нам пажити.
«Мы вас подождем!» — говорили леса.
Ты знаешь, Алеша, ночами мне кажется,
Что следом за мной их идут голоса.

По русским обычаям, только пожарица
На русской земле раскидав позади,
На наших глазах умирают товарищи,
По-русски рубаху рванув на груди.

Нас пули с тобою пока еще милуют.
Но, трижды поверив, что жизнь уже вся,
Я все-таки горд был за самую милую,
За горькую землю, где я родился,

За то, что на ней умереть мне завещано,
Что русская мать нас на свет родила,
Что, в бой провожая нас, русская женщина
По-русски три раза меня обняла.

☆

В. С.

Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди.
Жди, когда наводят грусть

Желтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест
Писем не придет,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет.

Жди меня, и я вернусь,
Не желай добра
Всем, кто знает наизусть,
Что забыть пора.
Пусть поверят сын и мать
В то, что нет меня,
Пусть друзья устанут ждать,
Сядут у огня,
Выпьют горькое вино
На помин души...
Жди. И с ними заодно
Выпить не спеши.

Жди меня, и я вернусь
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: — Повезло.
Не понять не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой,—
Просто ты умела ждать,
Как никто другой.

☆

Не сердитесь — к лучшему,
Что, себя не мучая,
Вам пишу от случая
До другого случая.

Письма пишут разные:
Слезные, болезненные,
Иногда прекрасные,
Чаще — бесполезные.

В письмах все не скажется
И не все услышится,
В письмах все нам кажется,
Что не так напишется.

Коль вернусь — так суженых
Некогда отчитывать,
А убьют — так хуже нет
Письма перечитывать.

Чтобы вам не бедствовать,
Не возить их тачкою,
Будут путешествовать
С вами тонкой пачкою.

А замужней станете,
Обо мне заплачете —
Их легко достанете
И легко припрячете.

От него, ревнивого,
Затворившись в комнате,
Вы меня, ленивого,
Добрим словом вспомните.

Скажете, что к лучшему,
Память вам не мучая,
Он писал от случая
До другого случая.

☆

В домотканом, деревянном городке,
Где гармоникой по улицам мостки,
Где мы с летчиком, сойдясь накоротке,
Пили спирт от непогоды и тоски;

Где, как черный хвост кошачий, не к добру,
Прямо в небо дым из печи над трубой,
Где всю ночь скрипучий флюгер на ветру
С пегушиным криком крутит домовую;

Где с утра ветра, а к вечеру дожди,
Где и солнца-то не видно из-за туч,
Где, куда ты не поедешь, так и жди —
На распутье встретишь камень бел-горюч,—

В этом городе пять дней я тосковал.
Как с тобой, хотел — не мог расстаться
с ним,

В этом городе тебя я вспоминал
Очень редко добрым словом, чаще — злым.

Этот город весь как твой большой портрет,
С суевьем, с несчастливой ворожкой,
С переменчивой погодою чуть свет,
По ночам, как ты, с короной золотой.

Как тебя, его не видеть бы совсем,
А увидев, прочь уехать бы скорей,
Он, как ты, вчера не дорог был ничем,
Как тебя, сегодня нет его милей.

Этот город мне помог тебя понять,
С переменчивою северной душой,
С редкой прихотью неласково сиять
Зимним солнцем над моею головой.

Замечает деревянные дома,
Спят солдаты, снег валит через порог...
Где ты плачешь, где поешь, моя зима?
Кто опять тебе забыть меня помог?

☆

Ты говорила мне «люблю»,
Но это по ночам, сквозь зубы.
А утром горькое «терплю»
Едва удерживали губы.

Я верил по ночам губам,
Рукам лукавым и горячим,
Но я не верил по ночам
Твоим ночным словам незрячим.

Я знал тебя, ты не лгала,
Ты полюбить меня хотела,
Ты только ночью лгать могла,
Когда душою правит тело.

Но утром, в трезвый час, когда
Душа опять сильна, как прежде,
Ты хоть бы раз сказала «да»
Мне, ожидавшему в надежде.

И вдруг война, отъезд, перрон,
Где и обняться-то нет места,
И дачный клязьминский вагон,
В котором ехать мне до Бреста.

Вдруг вечер без надежд на ночь,
На счастье, на тепло постели.
Как крик: ничем нельзя помочь! —
Вкус поцелуя на шинели.

Чтоб с теми, в темноте, в хмелю,
Не спутал с прежними словами,
Ты вдруг сказала мне «люблю»
Почти спокойными губами.

Такой я раньше не видал
Тебя, до этих слов разлуки:
Люблю, люблю... ночной вокзал,
Холодные от горя руки.

☆

Если бог нас своим могуществом
После смерти отправит в рай,
Что мне делать с земным имуществом,
Если скажет он: выбирай?

Мне не надо в рай тоскующей,
Чтоб покорно за мною шла,
Я бы взял с собой в рай такую же,
Что на грешной земле жила,—

Злую, ветреную, колючую,
Хоть ненадолго, да мою!
Ту, что нас на земле помучила
И не даст нам скучать в раю.

В рай, наверно, таких отчаянных
Мало кто приведет с собой,
Будут праведники нечаянно
Там подглядывать за тобой.

Взял бы в рай с собой расстояния,
Чтобы мучиться от разлук,
Чтобы помнить при расставании
Боль сведенных на шее рук.

Взял бы в рай с собой все опасности,
Чтоб вернее меня ждала,
Чтобы глаз своих синей ясности
Дома трусу не отдала.

Взял бы в рай с собой друга верного,
Чтобы было с кем пировать,
И врага, чтоб в минуту скверную
По-земному с ним враждовать.

Ни любви, ни тоски, ни жалости,
Даже курского соловья,
Никакой самой малой малости
На земле бы не бросил я.

Даже смерть, если б было мыслимо,
Я б на землю не отпустил,

Все, что к нам на земле причислено,
В рай с собою бы захватил.

И за эти земные корысти,
Удивленно меня кляня,
Я уверен, что бог бы вскорости
Вновь на землю столкнул меня.

☆

На час запомнив имена —
Здесь память долгой не бывает,—
Мужчины говорят: «Война...» —
И наспех женщин обнимают.

Спасибо той, что так легко,
Не требуя, чтоб звали милой,
Другую, ту, что далеко,
Им торопливо заменила.

Она возлюбленных чужих
Здесь пожалела, как умела,
В недобрый час согрела их
Теплом неласкового тела.

А им, которым в бой пора
И до любви дожить едва ли,
Все легче помнить, что вчера
Хоть чьи-то руки обнимали.

Я не сужу их, так и знай,
На час, позволенный войною,
Необходим нехитрый рай
Для тех, кто послабей душою.

Пусть будет все не так, не то,
Но вспомнить в час последней муки
Пускай чужие, но зато
Вчерашние глаза и руки.

В другое время, может быть,
И я бы прожил час с чужою,
Но в эти дни не изменить
Тебе ни телом, ни душою.

Как раз от горя, оттого,
Что вряд ли вновь тебя увижу,
В разлуке сердца своего
Я слабодушьем не унижу.

Случайной лаской не согрет,
До смерти не простясь с тобою,
Я милых губ печальный след
Навек оставляю за собою.

☆

Я пил за тебя под Одессой в землянке,
В Констанце под черной румынской водой,
Под Вязьмой на синем ночном полустанке,
В Мурманске под белой Полярной звездой.

Едва ль ты узнаешь, моя недотрога,
Живые и мертвые их имена,
Всех добрых ребят, с кем меня на дорогах
Короткою дружбой сводила война.

Подводник, с которым я плавал на лодке,
Разведчик, с которым я к финнам ходил,

Со мной вспоминали за рюмкою водки
О той, что товарищ их нежно любил.

Загадывать на год война нам мешала,
И даже за ту, что, как жизнь, мне мила,
Сегодня я пил, чтоб сегодня скучала,
А завтра мы выпьем, чтоб завтра ждала.

И кто-нибудь, вспомнив чужую, другую,
Вздыхнув, мою рюмку посмотрит на свет
И снова нальет мне: — Тоскуешь? —
Тоскую.
— Красивая, верно? — Жаль, карточки нет.

Должно быть, сто раз я их видел, не
меньше,
Мужская привычка — в тоскливые дни
Показывать смятые карточки женщины,
Как будто и правда нас помнят они.

Чтоб всех их любить, они стоят едва ли,
Но что ж с ними делать, раз трудно
забыть!
Хорошие люди о них вспоминали,
И значит, дай бог им до встречи дожить.

Стараясь разлуку прожить без оглядки,
Как часто, не веря далекой своей,
Другим говорил я: «Все будет в порядке,
Она тебя ждет, не печалься о ней».

Нам легче поверить всегда за другого,
Как часто, успев его сердце узнать,
Я верил: такого, как этот, такого
Не смеет она ни забыть, ни продать.

Как знать, может, с этим же чувством
знакомы
Все те, с кем мы рядом со смертью прошли,
Решив, что и ты не изменишь такому,
Без спроса на верность тебя обрекли.

☆

Я, перебрав весь год, не вижу
Того счастливого числа,
Когда всего верней и ближе
Со мной ты связана была.

Я помню зал для репетиций
И свет, зажженный, как на грех,
И шепот твой, что не годится
Так делать на виду у всех.

Твой звездный плащ из старой драмы
И хлыст наездницы в руках,
И твой побег со сцены прямо
Ко мне на легких каблуках.

Нет, не тогда. Так, может, летом,
Когда, на сутки отпуск взяв,
Я был у ног твоих с рассветом,
Машину за ночь доконав.

Какой была ты сонной-сонной,
Вскочив с кровати босиком,
К моей шинели пропыленной
Как пружималась ты лицом!

Как билась жилки голубые
На шее под моей рукой!

В то утро, может быть, впервые
Ты показалась мне женой.

И все же не тогда, я знаю,
Ты самой близкой мне была.
Теперь я вспомнил: ночь глухая,
Обледенелая скала...

Майор, проверив по карманам,
В тыл приказал бумаг не брать;
Когда придется, безмянным
Разведчик должен умирать.

Мы к полночи дошли и ждали,
По грудь зарытые в снегу.
Огни далекие бежали
На том, на русском, берегу...

Теперь я сознаюсь в обмане:
Готовясь умереть в бою,
Я все-таки с собой в кармане
Нес фотографию твою.

Она под северным сияньем
В ту ночь казалась голубой,
Казалось, вот сейчас мы встанем
И об руку пойдем с тобой.

Казалось, в том же платье белом,
Как в летний день снята была,
Ты по камням оледенелым
Со мной невидимо прошла.

За смелость не прося прощенья,
Клянусь, что, если доживу,
Ту ночь я ночью обрученья
С тобою вместе назову.

☆

Словно смотришь в бинокль перевернутый—
Все, что сзади осталось, уменьшено.
На вокзале, метелью подернутом,
Где-то плачет далекая женщина.

Снежный ком, обращенный в горошину,—
Ее горе отсюда невидимо;
Как и всем нам, войною непрошено
Мне жестокое зрение выдано.

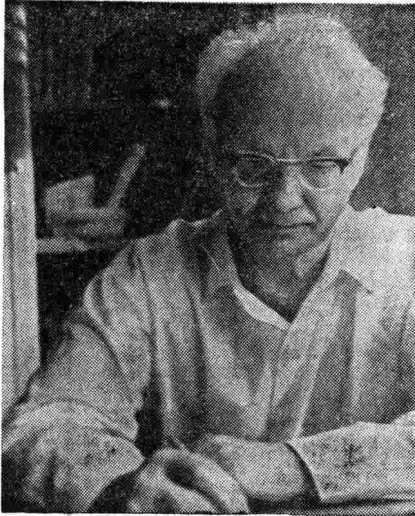
Что-то очень большое и страшное,
На штыках принесенное временем,
Не дает нам увидеть вчерашнего
Нашим гневным сегодняшним зрением.

Мы, пройдя через кровь и страдания,
Снова к прошлому взглядом приблизимся,
Но на этом далеком свидании
До былой слепоты не унизимся.

Слишком много друзей не докличется
Повидавшее смерть поколение,
И обратно не все увеличится
В нашем горем испытанном зрении.

Это был очень важный для меня вечер. Я сильно волновался, перед тем как прочесть ребятам целиком эту книжку, которую, в сущности, вот так, подряд, всю никому еще до сих пор не читал.

(Окончание «Записок молодого человека» —
в следующем номере.)



Степан Щипачев

МИНИАТЮРЫ

Листаю тетради

Листая свои тетради, я перечитываю в них записи многолетней давности. Что-то подчеркиваю. Вот эти места,

☆

Перебирая адреса гостиниц, оглядывал я темные дома. Вся в пятнах фиолетовых и синих, казалось, ночь запуталась сама.

Эти строчки сложились на ночных, затемненных улицах Баку в последних числах декабря 1940 года по дороге от вокзала до гостиницы. Это было первое затемнение, увиденное мною. Я знал, оно учебное, но знал и то, что в Европе идет война.

До неучебных затемнений у нас не оставалось и шести месяцев.

☆

Дневные работы умолкли. Ни стрекотания трактора, ни покрикиваний табунщиков. Степь лежит в ночи, тысячелетняя, неподвижная. Я смотрю на дымные пятна Млечного Пути, слушаю густую степную тишину, и мне легко дышать и думать.

☆

Девушка, не разгибаясь, рвет цветы. Пальцы уже с трудом обхватывают душистый сыроватый пучок ромашек.

Разрумянившаяся и просветленная какой-то своей девической радостью, она распрямилась и запрокинула лицом к небу. Оно сияло над ней, чистое, без единого облачка, чистое, как ее радость.

☆

В зале суда сидят женщина и мужчина. Они не смотрят друг на друга, говорят резкие, оскорбительные слова. А ведь были, поди, и слова о верности, клятвы!

40

☆

Есть женщины, сотканые из лжи, из пошлости и корысти. Подальше от них держись, приблизишься — душу потом не очистишь.

На одном литературном вечере кто-то прислал мне записку.

«Товарищ Степан Щипачев, вы так красиво пишете о женщинах. Неужели не были никогда обмануты?»

— Я высоко ставлю эту прекрасную половину человечества,— ответил я.

Взволнованный чтением стихов и чуткой реакцией аудитории, я был доволен своим ответом. А дома... дома дошло. Подумав о человеке, приславшем записку, я живо представил себе, как он пожал плечами, услышав эффектную, но бездумную мою фразу.

Тогда-то и вырвалось у меня из-под карандаша это злое четверостишие.

☆

Коммунизм нужен всему человечеству, но больше всего влюбленным. Если тогда и будут слезы у них на глазах, то чаще всего слезы счастья.

☆

Лунная ночь. Над Белым морем лунная ночь. В рыбацком поселке спит женщина. Разметалась на жесткой одинокой постели. Не очень молодая, но красивая, сильная. Дверь не заперта. Там не принято запирать двери.

Спит женщина. За окнами — ветер и море. Под утро проснулась. Почудилось: кто-то ищет дверную скобу. А это ветер, только ветер...

☆

Мурманский порт.
Гляжу на корабль, носящий имя русской девушки-

комсомолки. Он возит уголь, добываемый из недр скалистого, вечно покрытого льдами острова.
«Не тяжело ли тебе, Зоя?» — подумал я.

☆

Река долго бежала по каменным порогам, падала с высоких обрывов. Но, отдав энергию проводам высокого напряжения, успокоилась, словно осознала то, что поработала, что к морю придет не праздной.

☆

Мы в краю хрустальных источников и альпийских пастбищ, где никогда не бывает зноя и овода.

Длинноногий жеребенок тычется в бок матери. Он впервые видит солнце молочными, туманными глазами. Старый табунщик козырьком приложил почерневшую ладонь ко лбу и смотрит на Эльбрус, откуда приходят студенья ливни и град. Его широкая, набухшая от дождя бурка закрывает седло и почти весь круп лошади. Взглянув на жеребенка, он улыбнулся, вспомнив, как помог ему сегодня найти сосок матери.

☆

Мальчик поймал голубя и ради забавы сломал ему крылья. Проходила женщина. Она отняла голубя, но ему уже не летать.

Мальчик вырастет, проживет, наверное, долгую жизнь, станет отцом, состарится и, может, не вспомнит ни разу о том, что когда-то отнял у голубя небо.

Кем он в жизни будет? Присмотритесь к нему потом! Есть крылья таланта, живой человеческой мысли, и эти крылья тоже можно сломать.

☆

Шторм. Корабль борется с океаном, изменяет. Но с океаном борются и те люди, которые построили этот корабль, сделали каждую его деталь.

☆

Европейская часть нашего пути — с Копенгагеном, Северным морем, Англией — позади. Ночь. Летим уже несколько часов. Реже стали показываться в проходе между креслами милостивые стюардессы.

Хлопот у стюардесс много. Надо обслужить чуть ли не сто пассажиров. Сначала они показывают, как пользоваться надувными спасательными жилетами: когда и за что дергать в случае необходимости; по-

том разносят тяжелые подносы с ужином, предлагают соки, вина, а когда ужин кончается, раздают одеяла и «подарки» компании — плотные матерчатые носки для спанья.

Самолет подрагивает, иногда словно проваливается, и его сильно толкает. В такие минуты невольно подумаешь: внизу океан.

☆

Делегация советских писателей встретилась в Нью-Йорке с восьмидесятилетним американским поэтом Карлом Сэндбергом. Оказался он человеком простым и словоохотливым. К тому времени он закончил автобиографическую книгу и охотно нам о ней рассказывал. Мне дословно запомнился один эпизод из нее.

«Когда мне было года четыре, я очутился как-то на середине улицы провинциального города. Неподалеку увидел старую негритянскую женщину и крикнул ей: «Эй ты, негри!» Старая негритянка покачала головой и сказала: «Иди домой, мальчик, и больше так не говори, а то я тебе отстригу ножницами уши». Я испугался и убежал. Это единственный в моей жизни недоброжелательный поступок против негров», — улыбаясь, закончил Карл Сэндберг.

☆

Когда в космических кораблях люди свободно будут летать на другие планеты, может быть, и в другие галактики, не разлюбят ли они Землю? Какой-то ответ на это я нашел в мастерской одного художника перед его новой картиной — «Первый космонавт на Марсе». С полотна глядел на меня человек в скафандре глазами твердыми, но полными тоски. Нетрудно было догадаться, с каким чувством он вернулся бы на Землю, как припал бы к ее цветам и травам.

☆

Ленинский Мавзолей.

Двигается и движется в нем человеческий поток, смутно отражаясь в мраморной зеркальности. Пройдут века, тысячелетия, но не прекратится этот поток, сотни и тысячи поколений увидят себя в этих мраморных зеркалах, сама вечность будет смотреться в них.

☆

Продолжаю странички перелистывать дальше, так же подчеркивая и выписывая отдельные места. Золотые пылинки поэзии трогаю кончиком карандаша.

В день годовщины

Я посмотрел на часы. Без десяти шесть вечера. Ровно в шесть тебя не стало.

Год тому назад это были последние минуты твоей жизни. Последние десять минут. Ты просила меня крепче держать твою руку. Вспомнила сына: «Если бы он почувствовал и приехал сейчас». Потом — обо мне. Все обо мне.

Смерть в те минуты не где-то — уж рядом стояла. Не за себя — за меня и тогда ты боялась. Все обо мне, как мне жить одному, сокрушалась,

воздуха горсткой последней глубоко дышала.

Мне захотелось сегодня перечитать свои письма к тебе. Ожили на слежавшейся бумаге слова любви. Их много в моих письмах, но отметил вот эти: «...Я счастлив, что иду по жизни рядом с тобой. Все лучшее, все самое высокое, на что способна моя душа, связано с тобой.

Годы уходят, и хочется больше быть вместе. Ведь вместе нам быть только годы, в разлуке — вечно».

22 января 1969.

Благовест жизни

В колхозе, куда я приехал на несколько дней, меня поселили в новой, еще не утратившей соснового аромата, незаселенной избе. Осмотревшись и пообвыкнув немного, я распахнул окно. Пылал закат. Мелкий березняк по ту сторону неширокого оврага, залегшего у самых колхозных построек, был просвечен и заполнен розовой дымкой.

Мимо моих окон прогрохотали два комбайна; их голубая окраска еще не успела выгореть от солнца и потускнеть от пыли. Из кабины заднего комбайна выглянул молоденький паренек и помахал мне рукой.

За комбайнами, в поднятой ими пыли, с коромыслом в руке прошла худенькая старушка. Сутулая, с морщинистым лицом, но еще быстрая при ходьбе, она спустилась под горку к потемневшему от времени срубам колодца, глянула на высокий журавель, на легкое облачко над ним и стала погружать деревянную бадью. А когда с полными ведрами на коромысле она поравнялась с моими окнами, я уви-

дел, как тяжело и осторожно она ступает, как пригибается ее плечи.

Посидев еще сколько-то времени у окна, я накинул пиджак и вышел побродить. Во дворе уже густели сумерки, и в небе показались первые звезды. Лишь там, за оврагом, за реденьким березняком, все еще алела узенькая полоска потухающего заката, за которой почудилась мне вдруг холодная вечность. Я ощутил ее почти физически. Но это ощущение длилось недолго. Как-то незаметно оно приглушилось сознанием того, что там, за звездностью ночи, за студеными росами на травах, таится новый день. Не пройдет каких-нибудь пяти часов, как на востоке забрезжит рассвет, высветлит добела край неба, а там и разольется заря — благовест жизни.

Я долго бродил у заросшего кустарником оврага. Полоска заката уже давно потухла, и небо отяжелело звездами. Надо мной перекинулся сверкающий Млечный Путь. Но я думал не о нем, не о холодной красоте мироздания, а о той худенькой старушке с полными ведрами на коромысле.

Сильнее страха

В детстве со мной нередко случалось что-то непонятное. На меня находила иногда такая гнетущая тоска, что от нее ныло в груди. А если где-нибудь в деревне пели печальную, протяжную песню, эта угнетенность становилась нестерпимой. Один раз я даже спросил у матери, почему со мной такое бывает. «Наверно, скоро умрешь», — ответила она. — Когда ты родился, старухи считали тебя неживучим. Вот потому такое с тобой и бывает». Эти слова — даже детским умом я понял — были не теми словами, какие ждал я от матери, но от них не стало мне больно. Я знал: мать любила меня. Хотя я знал уже и то, что в иных многодетных бедняцких семьях любовь и равнодушие к ребенку, если он был не вторым и не третьим, как-то уживались в материнском сердце. И когда в такой семье умирал ребенок, можно было услышать сказанное со вздохом: «Бог прибрал. Одним ртом меньше».

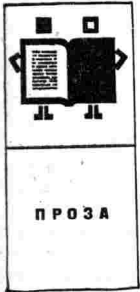
Но к моей матери это не относилось. Была она сердобольной, тихой, немножко мечтательной и, хотя растила кучу детей, не тяготилась нами, а с какой-то скрытной любовью тревожилась за нас. На ласковые слова она была скуповата. Выражать свою любовь к нам она умела как-то без таких слов. Может быть, потому-то мне и запомнилось вот это: заметив однажды на моих глазах слезы, она подошла ко мне:

«Что с тобой, Степанко? Обидел кто-нибудь?» Я молчал. «Хочешь, дам сладкой водички?» Она зачерпнула из тренога речной воды, опустила в чайную чашку огрызок сахара и подала мне. «На, попей сладкой-то водички». Сокрушенно постояв возле меня, она отошла к шестку, чтобы пошарить в печи ухватом.

Вместе с непонятными приступами смятенной тоски — не знаю, было ли это связано одно с другим, — в моей душе рождалось и нечто другое — смутное ощущение прекрасного.

Вот я бегу по берегу речки Полднёвки, босоногий, в грубых домотканых штанах, бегу с раскинутыми руками навстречу летнему ветерку, и мне легко, радостно от его прикосновения. Вот стою на полусгнившей, кособокой крыше нашей избы и долгие минуты слежу, как опускается на поскотину вечерняя роса, как стелются по низинам белые ее холсты. А вот — на покосе. Мать с Павлом, моим старшим братом, сгребают сено. Торопятся. Надвигается темная туча. Я взбираюсь на копну. Мать подсобляет мне. Над моей головой, чуть ли не у самых глаз, с треском сверкнула молния, и крупные студеньи капли упали мне на лицо. Но я не испугался. И не испугался потому, что прекрасное этих секунд, охватившее мою душу и наполнившее мои глаза, было сильнее страха.





Дмитрий Тарасенков

ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ

ПОВЕСТЬ

Рисунки Г. Новожилова.

Глава 12

СНОВА СУРКИН

Я спустился в вестибюль: шаги гулко отдавались в пустом зале. И тут же, словно он ждал меня, в дверях с табличкой «Службная комната» появился директор гостиницы. «Только его не хватало! — подумал я. — Как его зовут? Ах да, Иван Сергеевич». Он пошел на меня. Подойдя, протянул руку.

— Как дела, москвич? Ты ведь из Москвы?

— Великолепно! — коротко сказал я.

Хамить мне не хотелось, но и быть особенно приветливым было не с чего.

— А ты старательный парень! Та-ак вчера мусор собирал! — Он захохотал и повторил свою шутку: — Может, пойдешь ко мне в уборщицы?

— Смысла нет, — сказал я. — Мне расти надо.

— Ишь ты! Небось, зарплата не удовлетворяет? Небось, хочешь в большие дяди выйти, а? — Он опять захохотал.

— Очень хочу, — сказал я.

— Слушай, а чего нового в Москве? Я у вас был разок проездом, только ночью.

Мне пора было идти на связь. Часто звонить по

телефону не рекомендовалось, да и многого сказать было нельзя: он мог оказаться и телефонным мастером. Впрочем, почему бы нет? Кем угодно! «Хоть директором гостиницы, — раздраженно подумал я. — Вот старый филин!»

— Растет Москва, — сказал я. — Разрастается. Вы в директорах гостиницы давно ходите?

— Я работал завмагом, — уклончиво сказал он. — А что?

Тут к нему подошел дежурный администратор, и он отстал. Но сказал на прощание:

— Ну, мы с тобой после потолкуем! Ты заходи прямо ко мне, я студентов люблю.

Кто ему сказал, что я студент? Я-то не говорил. И поглядывал он на меня с хитрецей, будто давая понять: ты меня принимаешь всерьез, а это я над тобой смеюсь. У него было лицо умного человека. Впрочем, может, исходя из этого, его и назначили директором гостиницы, когда он завалил работу в магазине? Так бывает, к сожалению.

Я вышел на улицу. Было без пяти десять. Я медленно побрел по бульвару. Сегодня я должен был сидеть на скамейке с правой стороны, а Виленкин должен был подсесть ко мне. Я устроился, положил ногу на ногу, вынул из кармана куртки томик Есенина и стал листать его. Когда рядом оказался Виленкин, я положил Есенина между нами. Прикрываясь развернутой газетой, Виленкин сунул в книгу записку, еще немного посидел и встал. Я раскрыл Есенина.

Продолжение. Начало см. в № 10 за 1969 г.

Глава 13

ХОЗЯЙКА МАЛЕНЬКОГО ДОМА

Сообщалось следующее: в карманах брюк убитого табачных крошек не обнаружено, зато они есть в пиджаке. Та-ак! А покойник, между прочим, не курил. Второе: табачный киоск у входа в гостиницу был открыт в день убийства с восьми до двух часов дня, старушка никуда не отлучалась. Где отсутствовал 20 минут Войтин? Неясно... Клавдия Ищенко показала, что Тарас Михайлович был замкнутым человеком: любил пошутить, но с людьми не сближался. Другей у него не было, так, несколько приятелей, с которыми он мог выпивать. Значит, оба говорили правду — и Буш и Войтин. Насколько она знает (в браке с Ищенко состояла с сорок седьмого года, что было до этого, не в курсе дела), после войны Ищенко не был. Так. Дальше... Ого! Как в радиопередаче «Спрашивайте — отвечаем». Дальше сообщалось, что с утренней почтой в горотдел милиции пришло письмо — местное, опущенное вчера вечером. Анонимный автор писал, что Ищенко убил... Суркин Юрий Петрович. По имеющимся данным, стояло в записке, Суркин — работник управления экспедиционного лова — в период оккупации сотрудничал с немцами. В день убийства был на бюллетене. Третьего числа целый день присутствовал на работе (обед — с часу до двух). Все это было очень любопытно. Анонимку мог написать преступник, чтобы усложнить следствие и отвлечь внимание от себя. Тем более что писавший знал: убийцу мы еще не нашли. Скорее всего, писал кто-то, кого мы уже знали. Было очень важно установить: кто? Этим уже, конечно, занялся начальник городского отдела КГБ Валдманис, с которым я должен был работать в контакте и чью записку я сейчас читал. Но, может быть, автор анонимного письма сообщает правду и по какой-то причине не хочет назвать себя? Так или иначе, в круг следствия вводилось новое лицо.

Я нашел на улице телефон-автомат и позвонил Бушу, — вчера он дал мне свой номер. Я спросил, когда мне зайти в управление экспедиционного лова к Суркину. Буш сказал, что тот ждет меня в час дня. «Сегодня короткий день, и они работают без перерыва», — добавил он. Отлично, у меня было время в запасе.

Я позавтракал в маленьком кафе на углу (шесть столиков, свистящая кофеварка и аккуратная девушка в белой наколке) и вернулся в номер.

Пухальский уже ушел. Это было мне на руку.

— Ушел наш соседка? — спросил я Войтина.

— Ага.

— Как же он без пиджака теперь? Облачно, вдруг дождь пойдет?

— Не пойдет. А у него хороший пиджак был, импортный, и где он его оставил? Врет насчет пляжа. Небось, к бабе шляется, а муж пришел, знаешь!

— Он тихий. Вряд ли.

— В тихом омуте черти водятся.

— Пиджак, наверное, модный? В клеточку такой?

— Много ты понимаешь! Серый, в полоску.

Вот и слоник черный стал ясен. Пиджак Пухальского, он играл в шахматы и машинально положил фигуру в карман. «А помните, как Жюльен пришел убивать госпожу Реналь, — почему-то вспомнил я слова Клавдии Ищенко, — он стоял с пистолетом за ее спиной и думал: «Не могу!» А потом она закрылась шалью и стала как бы незнакомой ему. Тогда он выстрелил».

Почему Тарас Михайлович Ищенко был в чужом пиджаке?

Аждь не пошел. Тучи свалились за горизонт, и через какие-нибудь полчаса уже пекло солнце. Море было молочное, гладкое, как стекло, над ним поднимался парок.

Я лежал на пляже метрах в пятидесяти от маленького домика — один этаж, покатая черепичная крыша (ужасно я люблю эти крыши!) с трубой и телевизионной антенной. Окна были распахнуты. На веревке, привязанной к двум соснам и протянутой через двор, висело белье. Хозяйку дома звали Евгения Августовна Станкене; она была одной из тех, чьи фотографии я видел в комитете. Нет, мы ее ни в чем не подозревали! Но я хотел поговорить с ней: иногда стоит просто так поговорить с человеком пять минут.

Во дворе стоял «Москвич», а под сосной в шезлонге расположился наголо обритый пожилой мужчина в шортах и темных очках. Время от времени он снимал очки, клал на колченогий столик рядом и брал со столика бинокль: глядел вдоль берега.

Из домика вышла женщина с тазом и остановилась перед веревкой — стала снимать белье.

— Стерва она, эта Станкене! У-у, чертова перевица! — произнес кто-то за моей спиной.

Я оглянулся. Рядом со мной бухнулся на песок старик в длинных трусах и майке. На голове у него красовалась мятая шляпа. Видно, специально он не загорал, потому что почернели только жилистые руки и шея. «Местный житель» — определил я.

— Не знаешь ее, что ли? — удивился старик. Он был не очень трезв и сердит. — Ну, вон та баба, что белье сушит, ты ж на нее устался. Нашел на кого — старуха!

— А что она вам сделала?

— Подлость, величайшую подлость!

— Какую?

— Даже говорить не хочется! — сказал старик. И тут же выложил: — Здесь бочку с пивом поставили. Чтобы все желающие могли подойти и попить, за свои-то кровные. А эта дрянь пошла в милицию, говорит: здесь пляж, люди купаются, они отяжелеют от пива и потонут. А что она понимает в пиве? Сама, небось, не пьет и другим не дает. Собака на сене! Бочку-то и увезли.

— А ты, отец, с утра пропустил?

— Кружечку, — кисло сказал он.

— И я попить хочу, — заметил я.

— Пошли! — Старик оживился и встал на колени.

— Да нет, водички.

— Пошел ты знаешь куда со своей водичкой!

Старик лег на спину и сдвинул шляпу на глаза. Он был оскорблен.

— Как ты думаешь, удобно у этой Станкене попросить?

— Удобно, — прохрипел он. — Она принципиальная.

Я поднялся, отряхнул ладони, закурил и, оставив одежду возле старика, направился к домику.

— Доброе утро, — сказал я бритому человеку в шезлонге.

Он не обратил на меня внимания. Он держал бинокль у глаз и регулировал резкость. «Сильная оптика, — автоматически определил я по длине трубок. — Цейсовская. Скорее всего, восьмикратная».

Из дверей домика снова вышла Евгения Августовна, держа в руке помойное ведро.

— Извините, пожалуйста! — остановил я ее. — Вы не угостите меня водой?

— Отчего же не угостить? Заходите в дом.

— Жалко сигарету бросать, а с ней неудобно: у вас, наверное, не курят?

— Заходите с сигаретой.

Она улыбнулась. У нее были добрые-предобрые



глаза, какие бывают у больничных нянь и сиделок. Но я не хотел идти в дом — я наблюдал за бритым: что он так заинтересованно разглядывает в бинокль?

— Нет, нет!

— Тогда подождите, сейчас вынесу. Руки помою и вынесу.

Она была не по возрасту подвижная (во время войны ей уже было сорок три года), почти тотчас вернулась и протянула мне стакан.

— Пейте спокойно, колодезная.

— А я не боюсь.

— Зачем вы курите? — вдруг спросила она.

«Вот чудачка! — подумал я. — Сейчас будет объяснять, что никотин вреден для здоровья».

— От застенчивости в шестнадцать лет начал, — сказал я, как можно мягче. — С девушками говорить не мог, без дела стоять неудобно, а куришь — как будто занят.

— Да нет! Я потому спрашиваю, что вы хорошо сложены, наверняка, спортсмен. Я люблю ходить на стадион, там мой внук занимается. А у вас вот эти мышцы на руках и на груди развиты, как у мужчин, занимающихся борьбой. Наверное, трудно бороться, если куришь, — дыхание неровное. Вы, наверное, подумали про меня: вот дура, чего пристаёт! — Она опять улыбнулась. — Старуха болтливая!

— Ну что вы, что вы! — запротестовал я, отпивая воду из стакана мелкими глотками. Нет, конечно, она ничего не перепутала с Быстрицкой: она была очень наблюдательна.

— Вы только что приехали? Из Москвы?

«Хм!» — подумал я.

— Почему вы так решили?

— Я радио слушала: передают, что там дожди. А у нас уже две недели жара стоит. А вы беленький, совсем не загорели.

Последний месяц я заканчивал дело, работал круглые сутки и ни разу не выбрался за город. Но почему обязательно из Москвы?

— Наверное, не только в Москве льют дожди?

— У вас плавки японские, с полоской, в таких москвичи ходят. У меня снимает комнату одна семья из Киева, — она кивнула на шезлонг. — Так она говорит: хотела мужу достать такие плавки, и не выходит, только в Москве их выбрасывают в универмагах. И они дорогие! Вы, наверное, инженер, хорошо зарабатываете?

Я едва не почесал в затылке, как человек, застигнутый врасплох. Подбирая вещи, мы не подумали об

этом,— я взял свои плавки, которые Тамара привезла действительно из Москвы. Н-да, глазастой была Евгения Августовна, недаром работала связной. Когда каждый день ходишь под смертью, привыкаешь замечать мелочи: они много значат.

— Это подарок ко дню рождения,— сказал я. И перевел разговор: — Вот ваш жилец отлично загорел, позавидуешь!

— Затем люди и едут к морю.

Из домика вышла женщина с бигуди на голове.

— Семе-ен! — капризно сказала она бритому. — Ты накачал правый баллон?

— Сейчас жарко,— отозвался тот, сразу опуская бинокль. Лицо у него было плоское, как у бумажного человечка из детской игры «Одень сам». — Я вечером накачаю, мамочка.

— Что ты там все время разглядываешь?

— На море смотрю, дружок, как кораблики плавают.

«Господи, и этот Семен! — машинально подумал я. — Сколько их развелось! Но вряд ли... Не могу же я кидаться на каждого Семена: вы не знали Тараса Михайловича Ищенко? О чем он собирался с вами поговорить?»

— Большое спасибо,— сказал я, возвращая стакан. — Очень вкусная вода! Он давно загорает? В смысле, какие у меня перспективы?

— На здоровье... У меня они живут второй день. Они катаются на машине по побережью и перебрались сюда из Радзуте.

— Из Радзуте?

— Да. Жаловались, что там много народу.

«Не подходит»,— решил я.

— Всего доброго!

— Счастливо отдохнуть,— отозвалась она.

— Спасибо.

Я побрел, увязая в песке, к своей одежде. Старик в шляпе сидел и смотрел, как я иду.

— В бинокль смотрит! — раздраженно сказал он, как только я приблизился.

— Кто?

— Дачник у этой Станкене! В бинокль баб разглядывает! В милицию бы его, а?

— А вы биноклем не пользуетесь? — спросил я, чтобы отвязаться: пора было уходить.

— Еще чего! — вскинулся он. — Я и так хорошо вижу, слава богу!

Я оглянулся на домик Станкене. Очень невзрачный был домишко. Сама Евгения Августовна теперь вскапывала лопатой клумбу в углу двора. «Здесь бы санаторий отгрохать! — подумал я. — А самую большую и светлую комнату предоставить в вечное пользование ей, бывшей связной городского подполья. Было бы справедливо».

Я собрал одежду и пошел вдоль моря, разглядывая лежащих людей.

Глава 14

КАСТЕТ С ДУБОВЫМ ЛИСТКОМ

Вчерашнего паренька, который обещал мне кастет, я нашел довольно скоро. Он играл в волейбол. Я сложил одежду и встал в «кружок» напротив него.

Он сразу прыгнул и ахнул в меня мячом.

Я прозевал, не принял.

Он ухмыльнулся, поэтому я опоздал выйти на следующую мяч.

— Это тебе не что-нибудь! — громко сказал он. — Это игра интеллигентная!

Ого, парень был самолюбив!

— А ты прилично играешь,— так же громко ответил я. — По какому разряду?

— Давно не тренировался. Вообще, за институт выступал когда-то. На первом курсе. Потом забросил.

— Чувствуется! А, черт!..

Я опять прозевал его «гас».

Он сделал щегольскую «ласточку». Потом, вставая, небрежно выдал пас за голову.

— Здорово! — сказал я. — Пойдем скупнемся, припекает.

— Можно.

Мы вошли в воду. Для Балтийского моря характерно, что прежде, чем доберешься до глубокой воды, надо метров сто брести по колено. Мы сошлись на том, что нас обоих это страшно раздражает.

— Ты в каком институте обитаешь? — спросил я.

— В калининградском рыбном.

— Кончаешь?

— На втором курсе.

Теперь я смог оценить ту небрежность, с которой он сказал: «Играл за институт когда-то».

Мы зашли по горло. Дальше он не пошел.

— Я туда не очень-то. У меня ногу что-то сводит. Я вчера заплыл далеко, и свело.

— Ты родом отсюда?

— Ага.

Он, в свою очередь, поинтересовался, чем я занимаюсь. Я рассказал свою историю.

— Трудно будет устроиться,— посочувствовал он. — Они с визой долго тянут, черти!

— Потерплю. Осознанная необходимость в этих вот бумажках, сам понимаешь.

— Не маленький.

— Но на ту игрушку у меня есть,— напомнил я.

— Хе, тут осечка вышла!

«Так и есть, натрепался»,— подумал я.

Он рассказал, что сегодня утром, когда дядька ушел на работу, он обшарил всю квартиру. «Дядька живет в другом конце города с женой, но она сейчас в отъезде, а я знаю, куда он ключ кладет», — пояснил он. Кастета он не нашел. Он точно помнил, что видел кастет в прошлом году в ящике для инструментов среди плоскогубцев и отверток. Теперь кастет исчез. Я сказал, что он зря огорчается, — наверное, так себе был кастет, дрянь. Он горячо протестовал: «Мировой кастет!» Я поинтересовался, какой он был с виду.

— На четыре пальца, никелированный. Здесь выпуклости. Здесь марка. Фабричная, наверное. — Он все показывал у себя на руке. — Здесь упор для ладони.

«Вот это фокус!» — подумал я. И спросил:

— Какая марка?

— Дубовый листок выгравирован.

Все совпадало. Точно таким кастетом был убит Ищенко. Может быть, этим самым?

— Я его у дядьки еще когда выпрашивал, а он говорит: нельзя, холодное оружие, а ты еще молодой и дурак.

«Разумно», — мысленно одобрил я дядьку. И осторожно спросил:

— У дядьки-то он откуда?

— Черт его знает! В войну, наверное, подобрал. У него железные немецкие кресты были, каска с рогами, — я давно уже стянул.

— Он в каком звании воевал?

— Он не воевал, у него рука сухая. Он всю войну здесь прожил.

Та-ак! Расспрашивать его про дядьку дальше мне не хотелось. Рука — это уже зацепка. В поликлинике наверняка можно выяснить, у кого из жителей городка такое редкое увечье. «Можно так, а можно по-другому», — решил я. — Быстрее и проще».

— Что-то вода холодная, — сказал я.

— Да брось ты! В самый раз.

— Нет, пойду на берег.

Я еще раньше заметил телефонную будку. Это уже давно вошло у меня в привычку: примечать, есть ли под рукой телефон-автомат. Будка стояла на пляже у ограды, можно было звонить, не одеваясь. Выйдя из воды и оглянувшись, я направился к ней.

Умеючи, можно звонить из любого автомата без двухкопеечной монеты. Я набрал номер, объяснил, где нахожусь, и попросил прислать сотрудника. «Виленина?» — спросил меня. «Нет, местного». Судя по всему, со мной говорил начальник горотдела Валдманис. Он сказал, что пришлет сотрудника, который знает меня по фотографии. «Если я буду один, пусть подсядет ко мне», — сказал я. — Я покажу ему паренька: надо кое-что выяснить». «Он будет на месте через пятнадцать минут. У него в руках будет журнал «Знамя», желтенькая обложка с красным корешком. Четвертый номер. Он будет... Коля, какие у тебя плавки? Он будет в красных плавках. Очень красных, он говорит...» «Жду».

Я беспечно растянулся на горячем песке. Скоро из воды вылез мой новый знакомый.

— Уф, хорошо!

— Кончай брызгаться.

— Извини. А ты здорово нас вчера раскидал! Как детишек! Ты борьбой занимаешься?

— Ага.

— А Бычок вчера прибежал, мы с Семкой сидели, о кино толковали, а он прибежал и кричит: «Там твою Райку какой-то хлюст окручивает!» Это ты, значит... «А ты тут моргаешь! Беги скорей!» Семка сначала не хотел, говорит: «Это ее дело», — а Бычок уговорил.

— У них любовь?

— Вроде.

— Бычок — это плечистый, в белой рубашке был?

— Он! Ну, ты ему здорово дал! Он вообще-то сильный и всегда хватает этим, а тут нашла коса на камень. Лично я — за, так и надо! А он сулит: «Еще повстречаюсь с ним на узенькой дорожке».

— Ладно, — сказал я рассеянно.

Переступая через лежащих и помахивая желтым журналом с красным корешком, в нашу сторону шел паренек в красных плавках. Действительно, цвет был ярковат! Парень был очень загорелый, на плече у него висело полотенце. Он выбирал место, где устроиться. На момент мы встретились глазами, и я отвернулся. Но тут же повернулся обратно, потому что сзади кто-то сказал:

— Привет, Боря!

Сотрудник Валдманиса стоял над нами. Я даже на момент растерялся. А мой паренек сказал:

— Привет! Я уж давно тебя заметил, смотрю: идешь мимо, зазнаешься. Ты чего не на работе?

— Смылся позагорать.

— Знакомся! — сказал мне паренек. — Колька, в милиции, что ли, работает, вообще темная личность, но приемчики знает мировые, вроде тебя.

Тут я сообразил.

— Мы, оказывается, с тобой тезки, — сказал я пареньку. — Меня тоже Борисом звать. — Я протянул руку подошедшему.

— Николай.

Получилось отлично: они были знакомы.

— Устраивайся здесь, — предложил мой тезка.

— Я девушку жду, — сказал сотрудник. — Она очень стеснительная и, пожалуй, испугается вас.

Он отошел к ограде, расстелил полотенце и лег — стал листать журнал. Вскоре Боря убежал играть в волейбол. Я встал и лениво побрел вдоль воды. Через некоторое время сотрудник нагнал меня. Мы пошли почти рядом.

— Вы его хорошо знаете? — спросил я, глядя на сторожевик, дымивший на горизонте.

— На одной площадке жили. Он сейчас учится в Калининграде и сюда приезжает на каникулы. Вроде он парень неплохой, ничего такого за ним не замечалось.

— Все в порядке, — успокоил его я. — Вы, случаем, не знаете, кто его дядя?

— Знаю.

— Кто? — не выдержал я.

— Тот самый, на которого пришла анонимка. Он работает в рыбном управлении. Его фамилия Суркин. Я тихонько присвистнул.

Глава 15

ПО-ПРЕЖНЕМУ НА ПЛЯЖЕ

А о часу было еще далеко.

Я решил пройти по берегу до улицы Прудиса и найти Быстрицкую. Я помахал рукой Борису, — он не заметил, увлеченный игрой. Я собрал одежду в охапку и отправился. Солнце пекло, плечи у меня начинали гореть. Я всегда обгораю, когда первый раз в сезоне выбираюсь на пляж, а жена дразнит меня: «Неуязвимый старший лейтенант пасует перед какими-то солнечными лучами». Я все время помнил, что сейчас она лежит в больнице и ждет. Перед отлетом я успел выкроить полчаса, забежал к ней, — она стояла возле подоконника, не опираясь на него. Я объяснил, что наш старик гонит меня делать выписки из старых дел. «И вообще я скоро превращусь в архивную крысу», — весело добавил я. «Ты тогда тоже говорил про крысу», — сказала она. «Да? — Я не помнил, что я тогда так говорил. — Накладочка получилась, ужасная нелепица! Ты же знаешь, что ничего такого больше не будет, и ты знаешь, что я родился в рубашке и вообще страшно везучий. Я всегда выкручусь». «Знаю», — сказала она и заплакала... А может быть, она уже не ждет, и все в порядке. Было чертовски обидно оттого, что я не мог быть рядом.

Вдоль всей прибрежной полосы плескались люди, далеко впереди они казались против солнца черными точками. Пляж тоже был заполнен. Люди были разные: хорошие и плохие, веселые и грустные, умные и дураки. И среди них был он. Или, может быть, он сейчас ехал в трамвае по городу, или стоял в очереди за пивом, или сидел за письменным столом. Он был наверняка умен. Может быть, весел. Обычный человек в обычном костюме, его не отличить от других.

Я шел вдоль самой воды по узкой полосе мокрого песка. Ноги не вязли, и идти было удобно, как по дороге. Я увидел Быстрицкую, рядом с ней Семена и подошел.

— Раечка, привет! — сказал я, покосившись на Семена. — У вас чудесный купальный костюм, и этот цвет вам к лицу!

— Спасибо за комплимент. Что это вы такой веселый?

— Так ведь утро какое, Раечка! Первый сорт, как говорит один мой знакомый. Выспались?

— Выспалась. Как вы добрались вчера до гостиницы?

Семен дымил сигаретой и хмуро смотрел в морскую даль.

— Отлично! Только, — я сделал паузу, — только боялся, что дождь хлынет. Но он не хлынул.

— Я же вам говорила! Знакомьтесь, кстати: мой верный рыцарь Сема.

— Борис. — Я протянул ему руку.

«Рыцарь» вяло пожал ее и буркнул:

— Мы уже знакомы.

Я сел на песок и стал аккуратно складывать одежду.

— Когда же вы успели? — удивилась Быстрицкая. Семен набрал воздуха и, мельком глянув на меня, бухнул:

— Мы ему вчера морду набить хотели.

Нет, в этом Семене что-то было! Он не захотел принять предложенную ему возможность выкрутиться. Ему и врать-то не надо было, он мог просто промолчать.

— За что-то?

— Чтоб к тебе не лез!

— Да-а? — Она сухо рассмеялась. — А твое какое дело? Я тебе сто раз говорила, что могу быть с кем угодно и когда угодно: мне уже надоела опека! Что это за мальчишество?

Семен молчал, ковывая ногой песок.

— Ну?

— Ну, так он нам же и насовал, — неохотно сказал Семен.

— Правильно! И я очень рада! А кто это вы? Своих дружков привел, кучей на одного?

— Он борец, — сообщил Семен.

Быстрицкая оценивающе посмотрела на меня — это получилось у нее очень кокетливо. Мне вдруг стало жалко Семена. Он выглядел рядом с ней совсем мальчишкой. «Она его помучает, а потом выскочит за какого-нибудь приезжего инженера», — подумал я. А может, я ошибаюсь? Но мне она сегодня определенно не нравилась. Из-за Семена. И какое все-таки отношение она имела к Ищенко?

— Вода холодная, товарищ борец? — спросила она.

— Как сказать.

— В каком это смысле?

— Что? Ах, вода! Вода совсем неплохая... Вы знаете, я как раз думал про Ищенко, ну, которого убили. Вы мне вчера про него рассказывали и плохо о нем отзывались. А мои соседи по номеру твердят в один голос: замечательный был человек! Странно, правда?

— Он дрянью был! — быстро сказала Быстрицкая. — А моряк этот, ваш сосед, горький пьяница. Мне уборщица говорила, что у него под кроватью целый склад пустых бутылок стоит.

— Я смотрю, моряк вам активно не нравится. Почему?

— Так!

— А мне Тарас Михайлович понравился, — вдруг заявил Семен.

— Ты его знал? — безразлично спросил я.

— Ага! Я ж приходил к Райке вот, в гостиницу. Он добродушный был, ласковый. Свой мужик!

— Ты-то что понимаешь в людях! Он... — сказала Быстрицкая и осеклась.

Тут прямо к ее ногам подкатился мяч, — кто-то из игравших неподалеку слишком сильно «погасил». Она встала и кинула его обратно. Кинула точно, по-спортивному. Она была очень яркая: копна блестящих волос, купальник в полоску... Кто-то из мужчин, игравших по соседству в преферанс, крикнул.

Она улыбнулась, села, и совсем уже не было никакого смущения на ее лице. Если б я не ловил каждый оттенок, каждую мелочь в разговоре, то ничего не заметил бы.

Я лег на спину, заложив руки под голову. Небо надо мной было чистое, голубое, только след от реактивного самолета нарушал его однотонность. Со стороны моря доносились плеск воды, удары по мячу, смех. Я блаженно сощурил глаза.

— Что это у вас за шрамы на боку? — спросил Семен. — Как дырки.

— Это? Так, ерунда. — Я сразу опустил руку и повернулся на бок.

Это была неудобная примета: люди, побывавшие на войне, знают, как выглядят следы от пулевых ранений. Правда, Семен не был на войне. Тут я заметил, что совсем недалеко от нас расположилась Клавдия Ищенко. Она смотрела в нашу сторону. Рядом с ней лежал, опираясь на локти, мужчина лет сорока, очень черный, худой. Он что-то со смехом говорил ей. У него в головах была сложена форменная одежда: военный. «Она как из тюрьмы вырвалась», — подумал я.

Она приглашающе помахала мне рукой.

Я, наоборот, развел руками, показывая, что я, дескать, никак не могу подойти: сижу в компании. Быстрицкая заметила нашу пантомиму. И я продолжил тему «Ищенко», играя в основном на Семена, — тот он все-таки Семен или не тот?

— Жена убитого, — сказал я. — То есть вдова. Она была намного моложе его и, кажется, рада его смерти. Меня сегодня познакомили с ней.

Но Семен никак не отреагировал.

Зато Быстрицкая повернулась и стала внимательно разглядывать ее.

— Можно подумать, что вы видите перед собой врага, — заметил я.

— А вы слишком быстро заводите знакомства! — ядовито отпарировала она. — Она сильно красится. И у нее уже шея морщинистая.

Я вдруг почувствовал страшную усталость: вчера и сегодня, каждую минуту, я ставил окружающим меня людям ловушки и находился в постоянном напряжении. Мне захотелось побыть одному. Заплыть далеко в море.

Я вытащил из кармана брюк часы. Было четверть двенадцатого.

— Пойду погружу свое белое тело в воды Балтийского моря.

Я быстро миновал мелководную зону, где резвились основной состав купающихся. Потом оттолкнулся ногами от дна и пошел ровным, сильным брассом.

Я отплыл далеко и перевернулся на спину. Берег превратился в узкую полоску. «Сразу обратно, — подумал я. — Нужно быть пунктуальным и произвести хорошее впечатление на Суркина. Хотя, может быть, сегодня его придется брать, и все это ни к чему». Но я вовсе не был уверен в этом. Я передал через сотрудника для Валдманиса все, что знал, и сказал, что позже, вечером сам появлюсь в горотделе. Суркин уже, конечно, под наблюдением. Но мне казалось, что до развязки далеко.

Подплывая к берегу, я снова почувствовал себя собранным и напряженным. «Порядок», — подумал я. Я вышел на пляж и осмотрелся.

Худой военный поливал Клавдию Ищенко водой из резиновой шапочки. Она хохотала и отбивалась. Быстрицкая с Семеном о чем-то горячо спорили.

Увидев меня, они замолчали.

— Пардон! — сказала я, подходя. — Не хочу мешать вашей задушевной беседе и сейчас смоюсь. Только брюки надену.

— Чего вам не сидится? — внезапно рассудительным тоном хозяина, уговаривающего гостя побыть «еще капельку», сказал Семен.

С каждым из них порознь мне было о чем поговорить, но общая беседа меня не устраивала.

— Дела, брат! Надо подумать о личной жизни. В смысле денег. Хлопачу насчет работы, — сказал я скороговоркой, потому что уже было пора идти к Суркину.

Глава 16

ОН?

У подъезда с табличкой «Управление экспедиционного лова» я все-таки помедлил: хотел оглядеться.

Улица была обсажена старыми развесистыми тополями. По мостовой катился пух. Фасад домика, как и стены многих зданий в городе, был испещрен следами пули, похожими на отметины после оспы. Немцы отчаянно сопротивлялись в сорок четвертом, предчувствуя конец. При въезде в город цепью стояли обвалившиеся доты — я видел их из окна автобуса, когда ехал с аэродрома, — это были остатки мощной линии обороны.

«Теперь все это принадлежит истории: блиндажи заросли крапивой и лопухами, ребятишки играют там, наверное, в прятки, — подумал я. — Принадлежит, да не совсем: моя работа мало походит на работу историка».

Возле подъезда толпились рыбаки.

— Ваньку Шилова знаешь? Спился, на берегу вкальвает!

— И я сплещусь. Надоело море — во как!

— Угу. Фурункулы там всякие, ревматизм...

Я вошел в подъезд.

Перед дверью с цифрой «7» я остановился. На табличке были три фамилии: «Вишняускас Р. М., Шипко Е. К., Суркин Ю. П.». Я толкнул застекленную матовую дверь и оказался в комнате, наминавшей клетушку. Три стола, на каждом — кипы картонных папок «Дело №...». В углу сидела женщина и сердито стучала на машинке.

— Юрий Петрович? — коротко, чтобы не мешать, спросил я.

— Вышел! — так же немногословно ответила она, на момент оторвавшись от клавишей и взглянув поверх машинки на меня.

— Скоро будет?

— Он мне не докладывал.

Я ей не понравился.

На подоконнике стоял аспарегус. Я потрогал пальцем землю в горшке: она была совсем сухой.

— Поливать надо, а то помрет, — посоветовал я. — Когда же он все-таки будет?

— Я знаю, что надо поливать растение, а то оно погибнет. — Женщина достала платочек с кружевцами и яростно высморкалась. — Я вам сказала, что не знаю, когда будет Юрий Петрович!

Я уставился на нее.

— Что еще?

— Где вы простудились в такую жару?

Она обиженно отвернулась.

— А вы, наверное, Шипко Е-Ка, — продолжал я заинтересованно. — Потому что Вишняускас и Суркин — это мужчины, тут не может быть сомнения. На вашу долю как раз остается Шипко. Только вот, что значит Е-Ка?

Тут вошел Суркин.

— Вы меня ждете?

— Мне нужен Юрий Петрович Суркин.

— Значит, меня.

— Здравствуйте! — сказал я слегка застенчиво. — Мне вот Генрих Осипович сказал...

— Вы от Буша? Отлично. Садитесь, пожалуйста, вот сюда. Не обращайтесь внимания на нашу тесноту. Извините, что вам пришлось обождать.

Я сел, но разговора не начинал, косясь на женщину и делая вид, что стеснен ее присутствием.

— Я выйду, а то еще помешаю молодому человеку, — язвительно сказала она.

Мой расчет оправдался. Я предпочитал говорить с Суркиным наедине и сделал для этого все. Женщина выплыла из комнаты, прямо держа голову, и напоследок хлопнула дверь.

— С характером товарищ! — уважительно сказал я.

— Не обращайтесь внимания.

Теперь я мог разглядеть его. Он был в светлой рубашке, щуплый, одна рука заметно тоньше другой. Он был, несомненно, нервный, импульсивный по натуре, но сейчас он не напоминал того испуганного человека, который подглядывал в приоткрытую дверь, когда я уходил от Буша. «А в утро убийства он «протек» на своего соседа», — почему-то вспомнил я.

— Нуте-с, вы мне подробно объясните, пожалуйста, что вы хотите, — попросил он, упираясь локтями в стол и подводя сложенные руки под подбородок.

Я объяснил.

— Решили поплавать? Поглядеть, что за штука такая — море?

Я сказал, что так оно и есть, но еще я очень нуждаюсь в заработке.

— От денег еще никто и никогда не отказывался, хе-хе! Значит, вы учитесь?

— Да.

— Вы знаете, что в море выйти непросто? Необходимо выполнить всякие формальности. Как-то: требуется характеристика из вашего института, как для выезда за границу.

— Вот!

Я вынул из кармана характеристику, заверенную в Кировском райкоме города Москвы (ее прислали в комитет фельдсвязью), развернул и положил перед ним на стол.

Он прочитал ее два раза, посмотрел зачем-то на бумагу с обратной стороны и сказал:

— Все в порядке. Печати есть, подписи есть. Все, как следует. Но этого мало. У вас прописочка московская?

— Конечно.

— Я не могу дать вам работу в нашем городе. Вам нужно было оформляться по месту жительства. Нет, он не зависел от Буша, как мне показалось вначале. Во всяком случае, он был далек от намерения выполнить его просьбу.

— Но в Москве нет Балтийского моря, Юрий Петрович, — возразил я.

— Все понимаю, товарищ Вараксин. Все. Но помочь не смогу. Не имею никаких прав.

— Как же так! — настаивал я. — Мне нужно уст-



роиться на работу временно, я студент. Неужели ничего нельзя сделать?

— Выходит, что нельзя.

— У меня есть отношение! — «вспомнил» я. И вытащил из кармана письмо на бланке. — Я в комитет по рыбному хозяйству обращался. Там отнеслись ко мне сочувственно и вот написали: просят помочь.

— Союзный комитет? — спросил Суркин и взял письмо. — Мы в системе. Это — наше начальство. Это другой разговор, что же вы сразу не сказали? Так, Радин подписал. Знаю, как же! Вы у него были?

— Да. Рассказал о своем студенческом житье-бытье. Он очень внимательный человек.

— Да-да! И отличный, прямо-таки отличный руководитель!

«Вот жучок!» — подумал я про Суркина.

Казалось бы, прямого отношения к нашему делу эта беседа не имела. Но теперь у меня было представление о Суркине — недостаточное, чтобы делать выводы, но все-таки кое-что. Он вовсе не походил на Кентавра. Но и то, что Ищенко убит Кентавром, было пока теоремой, для доказательства которой не хватало исходных данных. «Но есть еще кастет», — подумал я.

— Совсем, совсем другое дело! — приговаривал Суркин, читая письмо. — Но, — тут он поднял палец, — все равно придется ждать. Будет проверяться ваша анкета, то да се, сами понимаете.

Это-то я знал хорошо, но спросил растерянно:

— Как же быть? Мне жить не на что! Я думал, все произойдет гораздо быстрее!

— Вам вообще-то в Радзуте надо было ехать: рай-центр, большой порт, больше нашего. Ну, да уж ладно! Тяжелой работы не боитесь? Могу определить на время рабочим в порт, оплата сдельная. Но не раньше, чем в середине той недели: бригадир выйдет, он болен, вот тогда. Устраивает?

Это меня вполне устраивало.

— Спасибо! — горячо сказал я. — А у вас очень симпатичный городок! Красивый и тихий такой, здесь хорошо будет пожить. Я прямо с удовольствием!

— Да-да, — сказал он рассеянно.

— Правда, не совсем тихий. Недавно случилось убийство, мне Генрих Осипович рассказывал. Вы не слышали?

— Буш сказал сегодня утром. Я его давно не видел. Я не знал. — Он нервно потер щеку.

— Говорят, безобидный старичок был.

— Кто?

— Да этот убитый.

— Да-да.

— Вы его знали?

— Что? Нет, откуда же! Видел мельком у Буша. Вы, товарищ Вараксин, заполните вот эту анкету в двух экземплярах. Напишите автобиографию. Надо сделать фотокарточки, сюда требуется особая форма: четыре на шесть, овалом. В ателье знают. Тут рядом, на улице Прудиса, только повыше. И будем ждать. А насчет работы в порту зайдите ко мне что-нибудь в среду.

— Спасибо. — Я приподнялся. — Но с фотографией, наверное, лучше поторопиться? И анкеты... Я тогда в понедельник забегу.

— Хорошо. И набирайтесь терпения.

— Есть! Немец сказал бы: «Wenn man keine Wahl hat, muß man sich fügen»¹. Прохожу немецкий в институте, так столько застряло в голове этих выражений, — объяснил я извиняющимся тоном и опять сел. — Вы немецкого не знаете?

— Да-да. Я почти все понимаю, жил в оккупации, только говорю неважно... Как у вас с жильем? Вы в гостинице устроились?

— Да. В триста пятом номере. — Я сделал паузу, но Суркин никак не отреагировал. — Кстати, в том же номере живет старпом Войтин. Тоже рыбак. Вы его знаете?

— Знаю! Он пьяница и позорил наше управление. — Суркин нахмурился. — Он вообще неприятен в быту. Таких в море не любят!

— А вы в море ходили? — не удержался я.

— Мне не позволяет здоровье, но моряков я знаю неплохо. Да!

— А вы знаете, почему Войтин пьет?

— Разве это не все равно? Для меня важен факт.

— Это не всегда верно, — сказал я.

Тут, не постучавшись, вошли два рыбака. Они о чем-то спорили. Я встал.

— Извините. Всего хорошего. До понедельника, — сказал я.

— Всего хорошего.

Суркин уткнулся в бумаги, бросив одному из вошедших:

— Минутку! Я ваше дело помню, сейчас буду искать копию приказа.

Я шел по коридору и думал: «И все-таки он неспокоен, внутренне напряжен. Он чего-то опасается».

¹ Если нет выбора, надо подчиняться (нем.).

Глава 17

ДВЕ ЧАШКИ КОФЕ

А город уже накалился.

Можно было идти только по теневой стороне улицы. Блестели стекла витрин, белые стены домов, катящиеся легковые автомобили: приходилось щурить глаза. В кучей тени под деревом лежала собака, она изнемогала от жары и часто дышала, свалив на сторону красный язык. Листва на деревьях была неподвижна.

На противоположной стороне улицы, в кафе под тентом я увидел Пухальского. Он курил, пуская дым струей вверх, и сидел один за пустым столиком: вероятно, ждал заказа. «Отлично, пообедаем вместе»,— решил я. Я по-прежнему ни в чем не был уверен и хватался за любой обрывок нити.

Я пересек улицу и вошел на веранду.

— Скучаете, Николай Гаврилович?

Он резко обернулся.

— А-а, это вы! Гуляете?

Мы оба были ужасно любезны.

— Да вот что-то проголодался. Вы уже заказали?

— Жду официанта.

— Чудесно! В таком случае, я вам составлю компанию. Не возражаете?

Он не возражал, но, кажется, и доволен особенно не был. Я по привычке сел так, чтобы видеть вход и улицу (Пухальский сидел спиной к входу), развалился в кресле и выложил на стол сигареты и спички.

— Жара какая, а, Николай Гаврилович?

— Страшная жара!

— Купались сегодня?

— Окунулся.

— А я вас на пляже не видел. Вы где обычно располагаетесь?

— Я далеко хожу, на дюны,— неохотно ответил он.

— А-а,— протянул я.— Но здесь тоже вроде неплохо.

— Я, видите ли, не люблю, когда много народу. У меня есть на это свои причины.

Что ж, я ничего не мог возразить, хотя не отказался бы услышать, какие именно причины. Но Пухальский не собирался входить в подробности. А я решил рассказать ему о своих затруднениях с устройством на траулер и посоветоваться: люди типа Пухальского любят давать советы и при этом обычно благожелательно настроиваются к собеседнику.

— Деньги платят и на суше,— сказал он, все выслушав.— Незачем для этого рваться к черту на рога.

— Такие суммы не платят! А мне и одеться надо и матери послать. На стипендию особенно не разгуляешься!

Он усмехнулся и поправил свои очки в тонкой золотой оправе.

— Ну, скажите сами! — настаивал я.— Где можно загрести в один раз такую кучу дензнаков?

Он внимательно взглянул на меня, но ничего не ответил.

— Нет, правда?

Он пожал плечами. И, обернувшись, посмотрел на улицу. Он делал это второй раз за десять минут: было похоже, что он ждет кого-то.

— Да-а! — сказал я, словно только что вспомнив.— Вы ведь по мебелильной части работаете? Я хотел Буша попросить, но неудобно как-то. Он считает себя обязанным мне за свое спасение, ну и... Дело вот в чем: мой профессор, когда я уезжал сюда, просил достать ему кабинетную секцию.

Разборную, такие здесь, в Прибалтике, делают. В магазине я спрашивал (имея в виду такой поворот разговора, я специально заглянул в магазин), там они бывают страшно редко. Так, может, прямо на фабрике как-нибудь можно договориться? Неофициально, а? — Я глупо ухмыльнулся и почесал в затылке.— Профессор, он богатый, этих бумажек не жалеет.

— Почему вам все-таки не поговорить с Бушем?

— Знаете, мне показалось, что он не тот человек, с которым можно договориться,— сознался я, понизив голос.

— А что вам показалось в отношении меня?

Я смутился.

— Но я же...

— Ладно, Боря, вас ведь Борей зовут? Я попробую что-нибудь сделать.— Было похоже, что ему понравилось мое смущение.— Но сразу предупреждаю, это будет дорого стоить.

— Плевать! Я телеграмму отобью! Молнию! Старик сразу вышлет,— воскликнул я.— Он так обрадуется! А мне у него диплом писать, сами понимаете.

— Понимаю.

— Вы еще долго здесь пробудете? — спросил я. И мне показалось, что голос у меня был испытывающий и фальшивый.

— А что?

— Да ничего, Николай Гаврилович. Просто интересуюсь в связи с этой мебелью.

— Через три дня у меня кончается командировка.

Тут я заметил молодого человека, который через пустое кафе направлялся к нашему столику. Он был в модных темно-зеленых очках, наполовину закрывавших лицо, и крутил на указательном пальце цепочку с ключом и брелоками. А Пухальский его не видел. Если Пухальский был тем, за кого я его принимал, он мог бы иметь большой опыт в организации такого рода встреч.

— Ба-а! Вот вы где, Николай Гаврилович, прячесь от мирской суеты! Шел мимо, гляжу: вы! — воскликнул молодой человек и, поймав взгляд Пухальского, слегка повел глазами в мою сторону.

— Присаживайтесь,— пригласил Пухальский.— Это мой сосед по гостинице — Боря, из Москвы. Знакомьтесь.

Мы познакомились. Молодой человек сказал, что сегодня ужасно жарко. Мы помолчали. Подошел официант, и мы все трое сделали заказ. Я попросил полный обед. Эта парочка — она все больше возбуждала мое любопытство — по чашке кофе. Меня они, видимо, не опасались. Хотя, наверное, предпочли бы встречу наедине.

— Опять градусов тридцать,— сказал Пухальский.

— Больше! — с чувством воскликнул молодой человек.

— И воздух здесь не такой насыщенный кислородом, как на Черном море.

— Гораздо хуже! — поддержал молодой человек.

Я болтал ложкой в невкусном супе, который мне принесли. Молодой человек спрятал в карман цепочку с ключом и теперь занялся темными очками: вертел их за дужку. Когда он их снял, обнаружили подвижные хитрые глазки. Он посматривал на официанток, на женщину за соседним столиком и вообще сидел как на иголках.

Я отодвинул тарелку с супом и попросил дать мне второе: я боялся, что они поднимутся сразу оба. Но молодой человек уже допил свою чашку кофе, а Пухальский не торопился. Под локтем у него лежала

свернутая газета. Молодой человек потянул ее к себе.

— В Палняй сейчас еду, Николай Гаврилович,— сказал он.— В дороге скучно будет, дайте хоть возьму у вас газетку, почитаю.

— Сегодняшняя? — спросил я.— Можно взглянуть? — Это старая,— быстро сказал Пухальский.

А молодой человек, свернув газету в трубку и сунув ее в карман, стал прощаться.

Интересно, что было вложено в газету? В том, что там что-то было, я не сомневался: встреча в кафе не была случайной, Пухальский работал не чисто,— я успел заметить, что газета была как раз за сегодняшнее число. Но обсуждать это с гражданином Пухальским было, пожалуй, рано. Так же, как и задавать ему вопрос насчет пиджака. Впрочем, мне было уже, кажется, ясно, как связаны между собой пиджак и газета.

— Вы не спешите,— сказал мне Пухальский.— Я вас подожду. Вы в гостиницу?

— В гостиницу,— ответил я.— А что это за парень?

— Так, пляжное знакомство.

Он не торопясь допил кофе, я доел ромштекс. Он оставил официанту всю сдачу с рубля, я расплатился точно — копейка в копейку, и мы вышли.

Кривая улочка вывела нас на площадь. Пухальский задержался возле витрины обувного магазина и, сказав, что ему нужно купить новые шнурки для туфлей, нырнул в открытую дверь. Я отошел в сторону, к стоянке междугородных автобусов.

Это были мощные «Икарусы», они стояли впритык друг к другу и занимали полплощади. Покрытые пылью никелированные части тускло блестели на солнце, от автобусов шел сильный запах бензина и нагретой краски. На столбе висело расписание, под ним — паутина маршрутов на жестяной доске. От нечего делать я стал изучать карту. Вот Палняй, куда собирался молодой человек: точка, обведенная кружком. Остановка на пути в Радзуте, специально в Палняй автобусы не ходят. Вот само Радзуте. Тоже на берегу моря. Эх, шесть бы сейчас в шикарный автобус и укатить куда-нибудь подальше: валяться на пляже с закрытыми глазами, слушать крики чаек и ни о чем не думать! Автобусы ходили в Радзуте раз в день. Три часа езды. В Радзуте я был с Тамарой в позапрошлом году: торцовые мостовые, пыль, костел на центральной площади, часы с боем. Кроме того, я несколько раз бывал там по делам. Кстати, автобус на Радзуте отходил в 12.37 — и здесь получилась накладка у партнера Пухальского: он никак не мог уехать сегодня. Хотя у него могла быть своя машина. Но в машине газет не читают.

— Собираетесь куда-нибудь? — окликнул меня Пухальский.

Он подошел вплотную, а я его не заметил. Он держал в руке шнурки. Мне даже показалось, что он выставил их напоказ — дескать, на самом деле заходил в магазин за шнурками и не за чем больше. «Не увлекайтесь, студент Вараксин,— одернул я себя.— Пухальский знает правила игры, но он не может знать, что я тоже играю в нее».

Я сказал, что никуда не собираюсь, а рассматриваю карту просто так, и мы направились к гостинице. Я опять навел разговор на секцию, выяснил, сколько надо денег, и сказал, что за профессором дело не станет. Конечно, никакой телеграммы я давать не собирался, да и профессора не существовало в природе, но я знал, что эта сделка противозаконна, а мне надо было выяснить, занимается ли такими вещами Пухальский.

Мы пересекли бульвар. Тут из-за угла дома вывернулся эсэсовец. Он был в заломленной фуражке, из-под которой тек по лицу пот. На груди у него брякали железные кресты. Откинувшись назад, он вел на поводке огромную овчарку. Он зло посмотрел на нас. Я знал, в чем дело, но нарочно испуганно вскрикнул, чтобы дополнить впечатление. Пухальский посерел и привалился к стене,— таким неожиданным было появление на вымершей улице этого призрака минувшей войны.

— Ах, черт! Это же артист! — воскликнул я.

Утром артисты при мне садились возле гостиницы в автобус, собираясь на натурные съемки: в городке снимались эпизоды из военного фильма.

— Вижу,— тихо сказал Пухальский.— У меня сердце слабое. Схватило.

— Вы их, наверное, настоящих помните? — спросил я.

Из-за угла высыпали остальные артисты.

— Да,— сказал Пухальский.

Зачем мне понадобился этот спектакль — я очень натурально изобразил испуг,— я сам не знал. Но меня не покидало ощущение, что Пухальский носит маску: я не верил в правдивость его рассказа об оккупации.

В номере было пусто. Войтин, наверное, ушел на пляж.

— Наш моряк изменил своим привычкам.

— Что? Ах, да! Верно,— рассеянно откликнулся Пухальский.— Изменил.

Он снял туфли, надел на ноги домашние шлепанцы и, захватив полотенце, ушел. Я распахнул пошире окно и решил поменять воду в графине: он, как и вчера, стоял на самом солнцепеке.

Дверь в туалет была приоткрыта. Пухальский, голый по пояс — клубки мышц катались у него на спине — склонился над раковиной, громко фыркая. Кран был один, и я остановился за его спиной, держа графин. За шумом воды он не слышал, как я вошел. Разогнувшись, он сразу прижал к лицу полотенце. Он повернулся ко мне. Когда он развел в стороны руки, я увидел у него на груди затертую татуировку. Я уже не раз видел такие у подследственных. Теперь мне стало понятно, почему он купается у безлюдных дюн.

— Что это у вас там написано? — спросил я с любопытством.

Он вздрогнул всем телом и отнял полотенце от лица. Глаза у него без очков были выпуклые и злые. Он сразу закрыл грудь локтями.

— Что ты лезешь, когда занят? — грубо крикнул он. Он был совсем не похож на прежнего тихого человека в золотых очках.

— Я... я хотел набрать воды в графин,— в меру растерянно сказал я.

Он уже жалел о своей вспышке.

— Извините, бога ради! Нервы... Эту штуку мой родственник устроил. Он ненавидел Советскую власть. Он был националистом и полицаем. Он напоил меня до потери сознания... Я был мальчишкой,— хмуро сказал Пухальский.— Я пробовал вытравить, но неудачно.

— Не-да,— сказал я.— Сволочь он, ваш родственник-чек-то!

— Его расстреляли партизаны.

— Вы можете свести наколку в институте красоты в Москве,— посоветовал я.— Там делают операции.

Я наполнил графин, и мы пошли в номер. «А он штука»,— думал я по дороге, глядя ему в спину. В номере я сел на подоконник, а Пухальский скинул шлепанцы и разлегся на койке. Сначала я собирался



кой о чем расспросить его, но потом решил, что не стоит перебарщивать: он сейчас слишком настроен.

Я снова и снова мысленно возвращался к двум датам. Третьего Ищенко с кем-то виделся, а пятого был убит. Встреча (если, конечно, была встреча третьего) произошла в то же время, что и убийство: в районе одиннадцати часов утра. Час, наверное, назначил тот — убийца. Почему вторая встреча через день? Давал время на размышление? Размышление — о чем? Или, может быть, он уезжал куда-то? Да, еще Войтин торопился на автобус тоже к одиннадцати часам. Ну и что? При чем тут это? Хотя... был возможен один вариант.

Я слез с подокозника.

— Пойти пройтись, что ли? — неуверенно сказал я.

— Жа-арко! — протянул с отвращением Пухальский.

— Не хочется торчать в гостинице.

Я спускался по лестнице, незаметно для себя ускоряя шаги. Потом спохватился и, выйдя из подъезда, побрел неторопливой походкой человека, который еще не решил, куда ему свернуть на следующем перекрестке: налево или направо. «Автобус уходит на Радзуте в 12.37, — размышлял я. — А когда он прибывает сюда?..»

Глава 18

В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ

Покружив по переулкам — готический замок все время оставался справа, — я наконец выбрался на площадь. Не торопясь, подошел к столбу с расписанием и нашел глазами нужную строчку. Точно. Автобус из Радзуте приходил в одиннадцать ноль-ноль.

Та-ак.

Я еще раз проглядел расписание. Я должен был бы подумать об этом раньше. Дело заключалось в том, что в расписании, найденном среди вещей Ищенко, радзутская линия была отчеркнута карандашом. Валдманис проверил эту ниточку: фотография Ищенко была предъявлена кассирше, которая работала последнюю неделю без выходных (болела сменщица), но она утверждала, что он не брал билетов: она бы запомнила, у нее хорошая память на лица. «Возможно, он и не собирался куда-то ехать, — подумал я. — Возможно, его интересовал не отход автобуса на Радзуте, а его приход. Одиннадцать часов...»

Я огляделся.

Неподалеку от тесно стоящих автобусов собрались в кружок шоферы. Один размахивал руками и что-то рассказывал. Послышался хохот. «Анекдоты травят», — решил я. Все шоферы были одеты в одинаковые синие холстинные куртки. «Сервис, — подумал я. — А в общем-то удобно. Автобазы закупают оптом: так дешевле, они немаркие, и в них хорошо в жару...» Поодаль стояла диспетчерская будка.

Я мысленно представил себе план проходного двора, в котором был убит Тарас Михайлович Ищенко, и план окрестностей, — я долго сидел над ними в кабине Шимкуса. Двор выходил на эту площадь. Я поискал глазами арку. Вот она. Метрах в ста отсюда. И это тоже должно было бы насторожить меня раньше: близость места преступления от стоянки автобусов. Тут, пожалуй, и Валдманис

проморгал. Ну да ладно. Так. Я убийца. Я слезаю с автобуса — он пришел в 11.00 — и иду туда. Там я назначил Ищенко встречу.

Я пересек площадь и посмотрел на часы. Пятьдесят секунд. Предположим, я пошел не сразу, а сначала покрутился по площади. Нет, мозолить людям глаза мне ни к чему. Я, конечно, пошел сразу. Но не напрямик, не на виду, а свернул вон за то длинное строение, напоминающее старые купеческие ряды. Что там? «Склад фабрики культтоваров», — шурясь на солнце, прочел я. Ага. Проход за ним есть? Я засек пожилого мужчину с портфелем, который скрылся за зданием. Через минуту он вышел на меня. Есть. Так. Пошли во двор. Я лениво посмотрел по сторонам и свернул в подворотню.

Солнце сюда не попадало, и от высоких кирпичных стен тянуло сыростью. «Такие дворы в Средней Азии, — подумал я. — Здесь можно спастись от жары». Проход круто заворачивал влево: теперь меня уже не было видно с площади. У стены лежала куча угля. Рядом — ржавый ручной инструмент и какие-то трубы. В стене была дощатая дверь с висячим замком. Я потрогал замок. Нет, его не отпирали давно: слой ржавчины прикипел к проболам и дужке замка, скрепляя их. Пошли дальше. Поворот — и я увидел контейнер с мусором. Тот самый контейнер. Двор здесь расширялся и был абсолютно голым. Я пошарил глазами по стенам: ни одного окна. Тут кричи во весь голос, услышать некому. Я посмотрел на часы. Прошла еще одна минута. Если я сойду с радзутского автобуса и не торопясь приду сюда, это будет как раз время убийства. Правда, в таком расчете была натяжка: медэксперты делали допуск на 10—15 минут. Ладно.

Я свернул еще два раза и вышел на другую площадь, маленькую и круглую. Ищенко попал в проходной двор отсюда: он шел из центра. Я повернул назад. Теперь я был Тарасом Михайловичем Ищенко. Так. Я спешу на встречу. Но если я опасаясь человека, с которым должен встретиться (а я наверняка боюсь его, ведь если все правильно в наших рассуждениях, я знаю о нем что-то такое, что он скрывает), то зачем я иду в такое глухое место? Я же знаю этот двор: когда двое договариваются о месте встречи, оно заведомо известно обоим. Но я все-таки иду. Почему? Неясно. За мной бежит Быстрицкая, — час назад я о чем-то говорил с ней на пляже. Что она хочет сделать? Предупредить меня? Нет, это она могла сделать раньше: двадцатилетней девушке нетрудно догнать пожилого человека. Она следит за мной. С какой целью? Опять-таки неясно. Но если она свернула за мной во двор, она должна была видеть убийцу. И убийство. Значит, он сделал свое дело у нее на глазах и позволил ей уйти целой и невредимой? Он не дурак. Не решился на второе убийство? Ерунда, одно или два — для него вряд ли уже это играло роль (если, конечно, он не мстил Кентавру за своих родных, но не похоже, слишком все точно и хладнокровно рассчитано, да и Ищенко не похож на Кентавра). И с какой бы целью он ни совершил преступление, он убийца. А Быстрицкая — его сообщница. «Нет, — подумал я. — Не верю». Но она не пришла в милицию. Факт остается фактом. Ладно, будем думать. Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается... Поворот. Контейнер. Убийство произошло где-то здесь. Потом он затащил труп Ищенко за контейнер. Теперь надо сматывать удочки, и побыстрее. Куда он побежал? На площадь. Где стоянка автобусов. Потому что кастет, которым был убит Ищенко, лежал метрах в тридцати отсюда в направлении площади.



Но владелец кастета, судя по всему,— Суркин. Тогда при чем тут радзутский автобус? Пятого Суркин был на бюллетене. Уехать из города только для того, чтобы вернуться в одиннадцать часов и ждать здесь Ищенко? Бред какой-то.

Быстрицкая шла за Ищенко на расстоянии: предположим, метрах в сорока. Он входит во двор и скрывается из ее поля зрения. Потом, сохраняя эту дистанцию, он все время находится за очередным поворотом,— это-то и губит его. Сорок метров, если идти быстро,— это двадцать секунд. Значит, они есть в распоряжении у убийцы. Ударил, подхватил тело. Готов? Готов. Оглядел двор. Ага, контейнер. Туда его! Так. Теперь, если кто-нибудь пройдет через двор, ничего не заметит... За двадцать секунд можно управиться, если есть сноровка в такого рода делах. Теперь бежать.

И Быстрицкая ничего не увидела. Прошла двор насквозь, но Ищенко не нашла. Что ж, могло быть и так. Но зачем ей было идти за ним? Почему все, связанное с Ищенко, теперь настораживает ее?.. Ладно, Быстрицкую пока оставим.

Кстати, вся картина убийства была нарисована мной в расчете на версию с автобусом: расписание — третье и пятое, одиннадцать часов. Но ведь это только один из возможных вариантов: все могло быть иначе. Одиннадцать часов — это совпадение. И преступник мог не ждать Ищенко здесь, а идти следом, вклинившись между ним и Быстрицкой. Во дворе догнать и ударить. Но тогда Быстрицкая наверняка видела его. Н-да!.. В этом случае никакой заранее обусловленной встречи не было. Но куда торопился Ищенко?

Двор был подходящим местом для обдуманного убийства: за все время, пока я здесь находился, никто не прошел. Прямо Сахарская пустыня. «Пожалуй, все-таки встреча»,— подумал я.

Я снова вышел на площадь. Заглянул в диспетчерскую будку. Там было накурено, дым плавал слоями. Его пронизывали лучи полуденного солнца, светившего в пыльное окно. На столе стоял бак с водой, к нему была прикована цепью эмалированная кружка. На скамье вдоль стены расположились шоферы в холстинных куртках. Стоял галдеж.

Я сунул руки в карманы, засвистел и двинулся с площади. «Попрошу Валдманиса навести ряд справок,— думал я.— Например, как часто меняют-

ся шоферы на радзутской линии? Кто работал третьего и пятого? Может, они запомнили кого-нибудь, кто ездил в эти дни сюда и обратно...»

Когда я вернулся в гостиницу, Пухальского в номере не было. Странно. Он же умылся и расположился на кровати с явным намерением подремать. Дела? Или решил поехать на море? Любопытно все это.

Я расстегнул рубашку, закурил. «Подобью бабки»,— решил я. Но как раз в этот момент открылась дверь, и в комнату заглянул Виленкин. «Извините! — сказал он.— Ошибся номером». И захлопнул дверь. Поэтому я застегнулся, скатился по лестнице вниз и вышел на улицу. Проходя мимо Виленкина, разглядывающего обложки журналов в витрине киоска, я замедлил шаги.

Он негромко сказал мне в спину:

— Суркин сидит в горотделе. Сам пришел. Валдманис допросил его и послал за вами.

Глава 19

ДВА КАСТЕТА?

«Ай да Суркин! — думал я по дороге.— Значит, третьего числа он весь день был на работе. Пятого он был дома. И еще кастет...»

Через пятнадцать минут я сидел в знакомой комнате со сводами, напоминавшими арки, с пейзажем на стене, и слушал магнитофонную запись допроса (его вели вдвоем — капитан Сипарис и начальник горотдела КГБ Валдманис).

КАПИТАН. Давайте знакомиться.

СУРКИН. Я работаю в управлении экспедиционного лова. Моя фамилия Суркин.

КАПИТАН. Садитесь, пожалуйста, товарищ Суркин. Как ваше имя-отчество?

СУРКИН. Юрий Петрович. Так вот (пауза), я, наверное, давно должен был сделать это заявление, но (пауза) только сегодня утром в случайном разговоре я узнал от своего соседа Генриха Осиповича Буша, что пятого числа в нашем городе произошло преступление: я говорю об убийстве Тараса Ищенко.

(«Странное сочетание: не просто Ищенко и не Тарас Михайлович Ищенко, а Тарас Ищенко,— подумал я.— Эту вводную фразу Суркин, конечно, репетировал про себя много раз»).

СУРКИН (продолжая). А я знал его еще во время войны...

КАПИТАН. Вы имеете в виду Ищенко?

СУРКИН. Да. Сюда я переехал только в сорок пятом году, до этого проживал в Радзуте.

ВАЛДМАНИС. Простите, точнее? Когда вы переехали, в начале или в конце года?

СУРКИН. Еще война не кончилась. Но здесь уже были наши. В феврале, кажется.

ВАЛДМАНИС. Причины переезда?

СУРКИН. Из-за домика. Верх принадлежал моей родственнице, она умерла.

ВАЛДМАНИС. Ясно. Продолжайте.

СУРКИН. Так вот, Ищенко с начала оккупации работал в радзутской полиции.

КАПИТАН. Вы не ошибаетесь?

СУРКИН. Я неоднократно видел его в форме. Ви-

дите ли, в Красную Армию меня не взяли по причине здоровья: рука. Я остался в оккупации, был мобилизован на работу в горуправу и косвенно сталкивался с полицейским управлением. Не подумайте, пожалуйста, ничего такого,— я относил бумаги на подпись. И там встречал Ищенко. А с неделю назад я увидел его у Генриха Осиповича Буша. Я не был уверен в том, что это он: прошло много лет. Но когда Буш назвал мне сегодня его фамилию, все совпало. Буш сказал, что убийцу до сих пор не нашли. Мне кажется, что все это связано с прошлым Ищенко.

КАПИТАН. Почему вам так кажется?

СУРКИН (после паузы). Н-не знаю. Думаю только так.

КАПИТАН. Но для этого должны быть основания!

СУРКИН. Генрих Осипович сказал, что это, наверное, не ограбление. А что еще? Убийство — штука серьезная, на него редко решаются даже отпетые грабители.

КАПИТАН. Жалко, что вы не пришли к нам раньше, Юрий Петрович.

СУРКИН. Я не хотел попасть в глупое положение: я мог и ошибиться. То, что Ищенко — это точно Ищенко, я узнал только сегодня.

КАПИТАН. Да-да. Но, может быть, это предотвратило бы преступление, как вы думаете? Если оно было связано с прошлым Ищенко?

СУРКИН. Я, конечно, виноват...

КАПИТАН. Вас никто ни в чем не обвиняет. (Пауза.) Пока.

СУРКИН (тихо). Почему пока?

КАПИТАН. Где вы были во время убийства?

СУРКИН. Дома. Я чувствовал себя плохо и не вышел в этот день на работу.

ВАЛДМАНИС. Вы ходили в поликлинику открывать бюллетень?

СУРКИН. Я вызвал врача на дом.

ВАЛДМАНИС. Диагноз?

СУРКИН. У меня больное сердце. Стенокардия.

ВАЛДМАНИС. В какое время был врач?

СУРКИН. В десять.

ВАЛДМАНИС. И вы никуда не выходили?

СУРКИН. В два часа пошел за продуктами: жена в отъезде, в доме пусто.

ВАЛДМАНИС. Откуда вы знаете, что убийство произошло до двух часов? Вы сказали, что в то время, когда произошло убийство, вы были дома.

СУРКИН. Я... мне Генрих Осипович сказал.

(Я нарисовал на листе бумаги вторую закорючку. Первую я поставил, когда Суркин сказал, что Генрих Осипович считает, что это не ограбление).

КАПИТАН. Чем вы занимались дома?

СУРКИН. Как — чем? Ну, лежал, читал книгу...

КАПИТАН. Какую книгу?

СУРКИН. Ну, я не помню... Разве это важно?

ВАЛДМАНИС. Очень важно! Убийство произошло около половины двенадцатого и (пауза)...

СУРКИН (нетерпеливо). Да?

ВАЛДМАНИС. Приблизительно в это время Буш, сажавший на участке цветы, зашел к себе и увидел, что у него протекает потолок. Он поднялся и стал стучаться к вам. Вас не было дома.

СУРКИН (поспешно). Да-да, я вышел... Значит, вы уже навели обо мне справки?

КАПИТАН. Не задавайте вопросов. Отвечайте! Вы вышли? Зачем? Только говорите правду.

СУРКИН. Я (пауза)... я увидел в окне Ищенко, он шел внизу по улице. Тогда я решил... я собирался

принимать ванну, но сразу оделся и выбежал на улицу. Я забыл выключить воду. И я забыл, что заткнул отверстие в ванне.

КАПИТАН. Буш видел вас?

СУРКИН. Нет, я воспользовался черным ходом — на Красноармейскую. Она идет параллельно Чернышевского, знаете? Ищенко шел по Красноармейской.

КАПИТАН. Дальше.

СУРКИН. Дальше все... Я не увидел его на улице. Он куда-то свернул.

КАПИТАН. Когда вы глядели в окно, вы не обратили внимания: его кто-нибудь преследовал?

СУРКИН. Н-нет, по-моему... Девчонка какая-то шла в том же направлении. Больше никого.

КАПИТАН. Она шла следом за Ищенко или впереди?

СУРКИН. Следом.

КАПИТАН. Опишите ее.

СУРКИН. Ну, волосы такие длинные, рассыпанные...

КАПИТАН. Еще!

СУРКИН. Я видел ее в спину.

КАПИТАН. Как она была одета?

СУРКИН. Не помню я, товарищ капитан!

КАПИТАН. Ищенко торопился?

СУРКИН. Пожалуй.

ВАЛДМАНИС (быстро). Вы встретили кого-нибудь знакомого?

СУРКИН. Нет.

КАПИТАН. Вы знаете Раису Быстрицкую, которая работает в гостинице?

СУРКИН. Нет. Я в гостинице не бываю.

ВАЛДМАНИС. На лестнице в вашем доме есть окно?

СУРКИН. Да.

ВАЛДМАНИС. Оно выходит на участок?

СУРКИН. Да.

ВАЛДМАНИС. Буш работал на участке, когда вы спускались? Вы видели его?

СУРКИН. Я не посмотрел. Я торопился вниз.

ВАЛДМАНИС. Что вы сделали потом?

СУРКИН. Я немного прошелся и вернулся домой.

КАПИТАН. Для вас будет лучше, если вы будете говорить правду.

СУРКИН. Но я говорю правду!

КАПИТАН. Нет! Вы в тот день были в этих туфлях?

СУРКИН (неуверенно). Да... Да-да, я сейчас все расскажу! Я понимаю, там была сырая земля, сохранились отпечатки, а я стоял совсем рядом... Я расскажу, одну минуточку!..

(«Молодец капитан! — подумал я. — Тело обнаружил старуха, потащившая выбрасывать дырявое ведро, и на ее крик сбежалось столько народу, что никакой эксперт не смог бы разобраться в следах возле трупа. Возле. Потому что был еще один след... Только не Суркина. У него совсем другая обувь»).

СУРКИН. Я увидел Ищенко метрах в ста от себя, когда выбежал на улицу. Я не стал догонять его: а вдруг это вовсе не Ищенко, а просто похожий на него человек, я тогда еще не говорил с Генрихом Осиповичем, я попал бы в неловкое положение... Я подумал, что лучше пойти за ним и заговорить, если представится случай. Я шел за ним некоторое время, сохраняя дистанцию. Я хорошо знаю город и не боялся потерять его из виду: было жарко, и на улицах было пусто. Да, только та девчонка шла. Ей лет двадцать было, по-моему. Если б он зашел в кафе или еще куда-нибудь, я бы подсел к

нему. Он свернул в проходной двор... Простите, можно водички?

КАПИТАН. Пожалуйста.

(Звяканье графина о край стакана, звук льющейся воды.)

СУРКИН. Спасибо. В горле пересохло... Он свернул в проходной двор, а когда я вошел туда за ним через полминуты, я услышал впереди чьи-то поспешные шаги. Двор там делает поворот, такое колесо... Стены высокие, двор очень гулкий, шаги отдавались, но я никого не видел. Я тоже прибавил шагу. Двор был пуст.

КАПИТАН. Криков, шума драки не слышали?

СУРКИН. Только шаги... Когда я выскочил на площадь, там шли люди, но Ищенко среди них не было. Я вернулся обратно. Ищенко нигде не мог спрятаться: двор голый, подъезды туда не выходят. Да это и глупо было, зачем ему прятаться?... Но я почему-то заглянул за мусорный ящик.

КАПИТАН. Там вы увидели Ищенко?

СУРКИН. Да. Я попытался прослушать пульс, но... он был мертв...

ВАЛДМАНИС. Минуточку. Вы переворачивали тело? Поднимали его?

СУРКИН. Нет. Он лежал лицом вниз, и висок у него был весь в крови. Помочь ему было уже нельзя. Мне стало страшно. Я не герой, знаете ли...

КАПИТАН. Понятно. И вы ушли?

СУРКИН. Я представил себе, как я все это буду объяснять: что я шел за ним, и как его убили чуть не у меня на глазах, а я ничего не могу сказать...

КАПИТАН. Вы боялись, что вас заподозрят в убийстве?

СУРКИН. Именно.

ВАЛДМАНИС. У вас были причины его убить?

СУРКИН. Нет! Что вы!

КАПИТАН. Но вы же не с луны упали, вы должны понимать, что нельзя осудить человека, не доказав его вины.

СУРКИН. Я очень испугался.

ВАЛДМАНИС. Куда делась та девушка, о которой вы упоминали?

СУРКИН. Не уследил... Свернула куда-то. Если б я знал, что это важно...

ВАЛДМАНИС. Где вы потеряли ее из виду?

СУРКИН. Не помню.

ВАЛДМАНИС. Во дворе ее не было?

СУРКИН. Нет-нет. Не было.

КАПИТАН. Хорошо. Значит, вы солгали, сказав, что узнали об убийстве только сегодня?

СУРКИН (тихо). Да.

КАПИТАН. Но почему вы именно сегодня пришли к нам?

СУРКИН. Не знаю. Я все время мучился, мне было страшно. Мне казалось, что меня найдут с собакой, я же стоял рядом с телом, и я тогда долго петлял по городу, прежде чем вернуться домой. Мне казалось, что за мной следят. Вчера к Бушу приходил один молодой человек, а я испугался...

ВАЛДМАНИС. Какой молодой человек?

СУРКИН. Студент из Москвы. Он сегодня был у меня в управлении, он хочет устроиться матросом на траулер. Он действительно студент.

ВАЛДМАНИС. Почему вы испугались?

СУРКИН. Я решил вчера, что он... из милиции.

ВАЛДМАНИС. Почему вы так решили?

СУРКИН. Ну, не знаю... Генрих Осипович все выпытывал у меня, где я был, когда у него протек потолок в ванной... Я всего боялся после случившегося,

буквально всего. Мне казалось, что все меня подозревают.

ВАЛДМАНИС. Когда же это он «все выпытывал»?

СУРКИН. В день этого... убийства. Когда я вернулся домой. Я после этого стал избегать встреч с ним...

ВАЛДМАНИС. Так. Продолжайте.

СУРКИН. Но я... я хотел какой-то определенности. Сегодня после разговора с Бушем — он поймал меня на лестнице — я принял решение. Мне сразу стало легче. Я знал, что должен заявить о прошлом Ищенко. Может быть, Генрих Осипович, сам того не подозревая, как-то подтолкнул меня. Я понял, что нельзя молчать дальше...

КАПИТАН. Хорошо. Я хочу показать вам один документ. (Скрип открываемого ящика: вероятно, капитан доставал анонимное письмо.) Ознакомьтесь.

СУРКИН (долгая пауза, потом почти крик). Это не я, это не я, клянусь вам, поймите, это не я!

КАПИТАН. Вы ничего не хотите добавить?

СУРКИН. Нет, но это не я... не я! Я вам рассказал все, как было. Честно рассказал!

КАПИТАН. Письмо без подписи. Подумайте, кто мог его написать?

СУРКИН (подавленно). Не знаю.

КАПИТАН. Вас мог кто-нибудь видеть в проходном дворе?

СУРКИН. Нет. Я боялся, что кто-нибудь пройдет. Но никого не было. И окна туда не выходят, двор глухой.

КАПИТАН. У вас есть, скажем... недоброжелатели? Или, может, кто-то пошутил?

СУРКИН. Хорошенькие шутки! Нет, недоброжелателей у меня нет. (Устало.) Но это не я, поймите. Вам нужно искать настоящего убийцу.

КАПИТАН. Мне хочется вам верить, Юрий Петрович...

(Я переключил магнитофон, вернулся назад и еще раз прослушал последние фразы. Когда я разговаривал сегодня с Суркиным в рыбном управлении, мне показалось, что если бы даже он и захотел сыграть, у него ничего не вышло бы: он не годился в актеры. Слова «Это не я!..» звучали достаточно искренне.

Потом я пустил ленту дальше).

КАПИТАН. Но есть еще одна невыясненная деталь. (Снова скрип ящика.) Вам знакома эта штука?

СУРКИН (после паузы, слегка удивленно). Да, это кастет. Это... мой кастет.

КАПИТАН. Не торопитесь. Посмотрите внимательно.

СУРКИН (не так уверенно). По-моему, мой... Вот дубовый листок. Кажется, мой. Но как он попал к вам?

КАПИТАН. Именно этим кастетом был убит Тарас Михайлович Ищенко!

(Стук: вероятно, Суркин уронил кастет на пол.)

СУРКИН (дрожащим голосом). Свой кастет я выбросил в отхожее место прошлым летом на даче моего родственника Крамвичуса. Я жил у него целый месяц.

ВАЛДМАНИС. Почему вы повезли его выбрасывать так далеко?

СУРКИН. Не знаю. Все-таки оружие... Наверное, боялся, что найдут и прицепятся: откуда, зачем хранил?

ВАЛДМАНИС. Не знаете или боялись?

СУРКИН. Совершенно справедливо. Боялся.

ВАЛДМАНИС. Ваш родственник знал о кастете?

СУРКИН. Нет.

КАПИТАН. Где находится дача?

СУРКИН. Я могу поехать и...

КАПИТАН. Поедем мы сами. Вы укажите место.

СУРКИН (тихо). Понимаю. Все обстоятельства против меня. Но он должен быть там. Должен.

КАПИТАН (спокойно, как учитель, ведущий урок). Значит, существуют два кастета, похожих, как родные братья. Близнецы, так сказать. Один тот, которым было совершено убийство, другой — ваш. Бывают и такие совпадения. Правда, очень редко. Вы знали, что полагается за хранение холодного оружия?

СУРКИН. Да. Потому и выбросил. К нему подбирался мой племянник, мальчишка, и я вспомнил о нем. А до этого он валялся у меня в ящике для инструментов. И, как вы сами понимаете, товарищ капитан, без всякого применения.

КАПИТАН. Кто видел у вас кастет?

СУРКИН. Затрудняюсь сказать.

КАПИТАН. Подумайте, это очень важно.

СУРКИН. Н-не знаю. Генрих Осипович, может быть, видел: он часто берет у меня инструменты.

КАПИТАН. В каких вы с ним отношениях?

СУРКИН. В самых хороших. Мы отлично ладим.

КАПИТАН. Он знает, что вы выбросили кастет?

СУРКИН. Вряд ли.

ВАЛДМАНИС. А Пухальского вы знаете?

СУРКИН. Кого, простите?

ВАЛДМАНИС. Пухальского? Он приехал в командировку на мебельную фабрику, был у Буша в гостях.

СУРКИН. Нет. Не знаю. Может быть, видел в лицо, но по фамилии не знаю.

КАПИТАН. Вы у кого-нибудь видели подобный кастет?

СУРКИН. Нет.

КАПИТАН. Как вам достался ваш?

СУРКИН. Нашел на улице, когда немцы отступали. Зачем-то взял, просто так. Я был тогда молодой, собирал всякую дрянь.

КАПИТАН. Понятно. Нам придется задержать вас на некоторое время.

СУРКИН. Это арест?

КАПИТАН. Буду откровенен: по закону я должен вас отпустить, взяв подписку о невыезде. Против вас нет прямых улик. Кроме кастета, конечно.

СУРКИН. Я выбросил свой кастет в прошлом году.

КАПИТАН. Буду очень рад, если мы его там найдем, Юрий Петрович. Но вы нам должны помочь. Кто-то написал на вас анонимку. Очень важно для следствия выяснить: кто? Скорей всего это сделал убийца. Но если он узнает, что вы арестованы, возможно, он будет вести себя посвободнее...

СУРКИН. А что скажут на работе, когда узнают, что я... сижу?

КАПИТАН. Если вы не виноваты, вам нечего беспокоиться. Мы потом сами поедем к вам на работу и все уладим. Будете героем. А пока потерпите.

СУРКИН. Понятно, товарищ капитан. И... спасибо, что верите.

КАПИТАН. Вам дадут бумагу. Я попрошу вас написать все, что вы нам рассказали. Укажите точно, куда выбросили кастет. Самое главное: подробно напишите все, что вы знаете об Ищенко радзутского периода.

СУРКИН. Как, простите?

КАПИТАН. Ну, о том времени, когда вы служили в горуправе, а Ищенко — в полиции.

СУРКИН. Понял вас. Постараюсь все вспомнить.

ВАЛДМАНИС. Еще минуточку, Юрий Петрович.

Почему вас все-таки так интересовал Ищенко? Ну, служил он в полиции, ну, узнали вы его. Но ведь вы так стремительно бросились за ним, что даже забыли выключить воду. А вы еще неважно чувствовали себя в этот день. Вы боялись упустить его? Почему?

СУРКИН (после паузы). Я отвечаю. Я знаю, это свидетельствует против меня, но я отвечаю. Он тогда... в сорок третьем году, ударил по лицу женщину, которая... с которой... словом, я был к ней неравнодушен.

ВАЛДМАНИС. За что он ее ударил?

СУРКИН (горько). С его точки зрения, он был, наверное, прав. Она оскорбила его. Она сказала, что только подлец может носить форму, которую носит он. Это было на улице. Он отпустил какую-то шутку, увидев ее, а она... она ответила.

ВАЛДМАНИС (быстро). Что с ней было потом?

СУРКИН. Ничего. Все кончилось благополучно. Он не арестовал ее и не донес на нее. Но он ударил ее на моих глазах... Я, конечно, ничего бы ему не сделал. Но я хотел напомнить ему эту сцену. Просто напомнить. Ему, наверное, было бы неприятно. (Совсем тихо.) А мне хотелось, чтобы ему было неприятно... Эта женщина — моя жена.

ВАЛДМАНИС. Понятно, Юрий Петрович. Понятно... Извините, еще вопрос: вы что-нибудь слышали о партизанском отряде, который действовал здесь во время войны?

СУРКИН. Конечно. Это было громкое дело. Весь отряд погиб.

ВАЛДМАНИС. Никто не спасся?

СУРКИН. Говорили, что нет.

ВАЛДМАНИС. Вы знали лично кого-нибудь из партизанского отряда или городского подполья?

СУРКИН. Нет. Я вообще мало кого знал здесь. Я же жил в Радзуте.

ВАЛДМАНИС. А Круглову вы знали?

СУРКИН. Мне о ней рассказывали. Ее казнили, а дом спалили. Как раз рядом с домом, где я сейчас живу.

ВАЛДМАНИС. Кто рассказывал, не помните?

СУРКИН. Нет, к сожалению. Тогда ж и рассказывали, после войны. Столько времени прошло!

ВАЛДМАНИС. Да-да. А то, что Ищенко был партизаном, вы знали?

СУРКИН. Первый раз сейчас слышу. Он же служил в полиции! Ага, понимаю, по заданию...

ВАЛДМАНИС. Вы встречали Ищенко в Радзуте. А здесь, когда переехали?

СУРКИН. Нет.

ВАЛДМАНИС. Что ж, благодарю вас.

КАПИТАН. Спасибо, Юрий Петрович.

— Все,— сказал начальник горотдела КГБ Валдманис, сидевший рядом: он вместе со мной слушал запись.

Глава 20

ВАРИАНТЫ

Валдманис не спешил начать разговор. Я представился ему, когда пришел, и он сидел молча, пока я крутил пленку. Сейчас он отошел в дальний угол комнаты, открыл стеновой шкаф над столиком и стал там что-то делать, время от времени поглядывая на меня. У него была крупная седая голова, стриженная ежиком. Фигура быв-

шего тяжеловеса. Двигался он уверенно и быстро, несмотря на полноту.

— Как вам нравится наше «секретное» окно? — Он кивнул на невинный пейзажик, висевший на стене. — Дом строил немецкий барон, на черта ему эта штука понадобилась, не ясно. Тайны мадридского двора, а?... Мы случайно обнаружили механизм. Погода вам нравится? Город наш? Вы вообще часто бываете на море?

Он сел и усталился на меня, подперев рукой голову. Я знал, что мальчишкой восемнадцати лет он работал в охране Ленина. «Интересно, на что способен этот молодой человек? — вероятно, думал он про меня. — Столичная штука! Скор, наверное, на действия, а посидеть, подумать — на это их не хватает. Молодо-зелено».

— Крепкий орешек, а,— спросил он испытующе,— это дело? — Он откинулся в кресле. — Как вам Суркин? — спросил он.

— Меня очень интересует, связан ли его приход с анонимкой? Он молчал и мог молчать дальше. Вы ему верите?

Тут я немного схитрил. Я уже составил себе определенное мнение о Суркине. Но я хотел посмотреть на все это как бы со стороны — чужими глазами.

Валдманис покрутил сигарету в пальцах.

— Я когда-то арестовал типа, который сам на себя написал анонимку. Он отводил от себя внимание: в анонимке были перечислены именно те улики, которые при проверке оказывались несостоятельными. Он был под подозрением. Это как бы обеляло его.

— Вы хотите сказать, что ничто не ново под луной?

— Ничего не хочу сказать. Младший лейтенант Красухин отправился искать кастет в отхожем месте.

— Ассенизаторов не найти. Сегодня короткий день.

— Найдет.

— Суркин пришел сам. Почему сегодня? Через несколько часов после того, как анонимка легла на ваш стол. Совпадение?

— Подождем Красухина. Но думаю, что Суркин сказал правду. Врать имеет смысл тогда, когда невозможно проверить. Любопытно, вспомнит ли он еще что-нибудь про Ищенко.

— Любопытно.

— Итак, Ищенко был полицаем. А потом стал бойцом партизанского отряда.

— Странная метаморфоза!

— Думаете, он и есть Кентавр? — быстро спросил Валдманис.

Мы были похожи на борцов, которые, опустив плечи и напряжившись, ходят друг против друга по ковру, не начиная схватки. Но все было правильно. Всегда хочется знать, чего стоит человек, с которым делаешь одно дело.

— Нет,— сказал я.— Скорей всего, нет. Полицейского не будут использовать в роли провокатора. Слишком мало шансов за то, что его не опознают.

— Его не опознали. Тогда.

— Да. Но гестапо не могло всерьез принимать это в расчет. Я думаю, Ищенко просто решил встретить нашу армию не полицаем, а партизаном. И скрыл свое прошлое. Рискнул.

Валдманис удовлетворенно кивнул головой.

— А почему он уцелел, в то время как весь партизанский отряд погиб? Почему предположил, чтобы его считали убитым?

— Здесь пока все темно,— сказал я.— Боялся же он своего полицейского прошлого, трясся всю жизнь.

— Кто написал анонимку, вопрос номер один. Если мы ответим на него, сделаем многое. Но вот такая тонкость... Предположим — я говорю предположим — Буш видел кастет у Суркина. Но не знает, что тот его выбросил. И Буш, опять-таки предположим, написал анонимное письмо. Логичный вывод: Ищенко убил Буш, потому что кто, кроме убийцы, мог знать, каким оружием убийство совершено? Но,— тут Валдманис поднял палец,— этот кастет убийца бросил или потерял недалеко от места преступления. И он не мог об этом забыть. А наличие двух кастетов — этого и того, который, предположим, мы найдем у Суркина, уже нелогично...

— Да,— сказал я.

— Но,— продолжал Валдманис,— Буш часто брал инструменты у Суркина. Он мог заметить, что кастета нет. Узнал мимоходом, что Суркин его выбросил, а Суркин мог не запомнить этого разговора. Зато запомнил Буш. И теперь, надеясь, что мы не поверим Суркину, будто он выбросил кастет, или не сможем его найти, Буш пишет анонимку. Он думает, что в следствии будет фигурировать только один кастет.

— Должны быть свидетели, которые подтвердят, что видели такой кастет у Суркина.

— Это сделает тот же Буш.

— Нет, слишком сложно,— сказал я.— Ведь мы совершенно случайно узнали, что у Суркина был кастет. В анонимном письме о нем нет ни слова.

— Верно,— усмехнулся Валдманис.— Но вы забыли, я сказал: предположим. Это всего лишь одна из возможных гипотез. Я просто хотел обратить ваше внимание на тот факт, что мы имеем два абсолютно идентичных кастета.

— Еще не имеем. Второго-то пока не нашли.

— Уверен: найдут.

— И, кстати, вы забыли, что у Буша есть твердое алиби: соседи все утро видели его на участке.

— Нет.

— То есть?

— Грош цена этому алиби. Они утверждают, что видели его все время, а это не так. Ведь он обнаружил, что потек потолок, он бегал стучаться к Суркину и наверняка пытался принять какие-то меры. На это ушло минут двадцать, если не больше.

— Значит, соседи солгали?

— Опять же нет! Здесь есть один психологический нюанс, вот смотрите. Мы навели справки: соседи — чета пенсионеров — все утро сидели на веранде, пили чай, читали газету и, конечно же, не следили за Бушем специально. Они видят: он работает. Они отвлеклись, и — случайное совпадение — Буш в это время отлучается. Они снова взглянули в сад, а он уже опять возится с цветами. И соседи ручаются, что он работал весь день у них на глазах. Ведь они же не заметили, как он уходил в дом. Он мог отсутствовать и полчаса.

— Буш не может иметь никакого отношения к событиям сорок четвертого года. Всю войну он провел на фронте, это установлено.

— Мы связываем убийство с предательством. Может, мы ошибаемся? Клавдия Ищенко, судя по всему,— любовница Буша. Она стала ею через несколько дней после смерти супруга.

— Нелюбимого супруга.

Я рассказал про Стендала и опять вспомнил, как Клавдия Ищенко цитировала: «Госпожа Реналь закуталась в шаль и стала незнакомой ему, и тогда он выстрелил...» Имело ли это какой-то смысл?

— Кстати, сегодня рано утром были похороны,— сказал Валдманис.

— Я видел ее днем на пляже. Беспечна и весела.

Слишком беспечна, чтобы быть замешанной в этом деле. Она бы вела себя иначе: зачем вызывать лишние подозрения?

— Может, она учла это? И рассчитывает на два хода вперед?

— Сомневаюсь.

— Капитан Сипарис спросил, долго ли она собирается пробыть в нашем городе. Она сказала, что решила использовать все это, как поездку на курорт, и отдохнуть здесь. А по приезде изображала убитую горем любящую жену.

— Не сразу сориентировалась. Она получила документы по страховке?

— Не получит, пока не кончится следствие. Кстати, из Новосибирска сообщили, что Карик никуда не выезжал и сейчас там.

— Сколько ему лет?

— Сорок.

— Цепляться она за него не станет.

— Да.

— А Буш с шестьдесят третьего года не встречался с Клавдией Ищенко, возможность предварительного сговора исключается. С самим Ищенко он познакомился случайно, на юге. У него нет никаких видимых мотивов для убийства, а она просто дамочка, ищущая развлечений. И, кстати, есть такой вариант: автор анонимного письма (ну, хотя бы тот же Буш) и убийца — два разных человека, никак не связанных друг с другом. Просто Буш видел, как Суркин шел за Ищенко. Он решил, что тот — убийца. И про то, что Ищенко убил кастетом, он ничего не знал: простое совпадение.

— А почему анонимка? Почему не пришел сам и не рассказал?

Я развел руками.

Мне было очень хорошо сидеть здесь и обсуждать все это с Валдманисом, потому что вчера и сегодня я только и делал, что ахал и удивлялся, узнавая об убийстве, и ни с кем не мог быть искренним. Тем более было приятно, что начальник горотдела был умен и знал свое дело. Но мне было тревожно: по-прежнему ничего не было ясно.

— Мы продолжаем проверять всех выбывающих из города,— сказал Валдманис.— Насколько это возможно.

— Ничего?

— Ничего. Посмотрите, кстати, анонимку. Написана на машинке. Под копирку. Это второй экземпляр.

— А первый где?

— Надо полагать, у автора.

— Хм, нелепо! Анонимки пишут, когда не хотят себя называть. Зачем же хранить копию, которая может послужить уликой? Тут что-то не так.

— Пальцевых отпечатков, как и на кастете, нет. Одна ошибка: перед «что» нет запятой.

Я посмотрел. Там было всего три строчки: «Считаю своим долгом сообщить что Ищенко убил Суркин Юрий Петрович, проживающий по адресу: улица Чернышевского, 8, кв. 2». Все.

— Любопытная деталь: автор знает убитого по фамилии.

Валдманис кивнул головой.

— Вероятно, он многое знает об убийстве.

Валдманис снова кивнул.

— У Буша есть машинка?

— Нет.

— Значит, надо искать машинку. Скорей всего, в учреждениях: до такого состояния свою не доводят, половина букв сбита.

— Ищем. Но завтра воскресенье. А потом, думаете, легко найти? Из горкома звонят три раза на

день, теребят насчет этого дела. А работников — раз, два и обчелся. И устал я, как черт, как сто чертей,— пожаловался он.— За Суркина нам будет нахлобучка от прокурора... Кстати, машинка может быть и собственная — списанная, потому в таком виде, а найти ее тогда будет намного труднее. Но меня очень интересует кастет. Удар был нанесен точно, я бы сказал, профессионально. Пальцевых отпечатков на кастете нет, несмотря на жару: наверное, обертывал платком. Предусмотрел все, даже что может его потерять. Но почему кастет, а не что-нибудь более «безобидное» — кирпич, например, или разводной ключ? Ведь преступник не в Америке, где он мог бы спокойно носить при себе оружие. Кастет может выпасть из кармана на людях, он оттягивает карман, кто-нибудь да и поинтересуется: что это у тебя?..

— Потому что привык к кастету? Когда-то часто пускал его в ход? Убийство случилось не вдруг, оно подготовлено, и убийца хотел действовать наверняка. Поэтому он достал кастет, хранящийся с прежних времен, и воспользовался им.

— Он знал, что Ищенко пойдет именно этим проходным двором? И именно в это время?

— Похоже.

Я рассказал Валдманису, как провел время сегодня в проходном дворе.

— Все, как я рассчитал,— добавил я.— Только по двору за Ищенко шел Суркин, а не Быстрицкая. Фокус.

— Криков Суркин не слышал. Значит, убийца пришел во двор первым и ждал, когда Ищенко покажется из-за угла. И сразу ударил.

— Да. Но вот почему он потерял кастет, если он такой опытный преступник? Он спешил уйти от места преступления. Кастет лежал довольно далеко от трупа в направлении площади. Но, выронив кастет, он должен был вернуться.

— Его спугнул Суркин, и он не вернулся, потому что вполне резонно предполагал, что Суркин может случайно обнаружить труп и поднять шум.

— Что ж, возможно,— протянул я.

— Думаете, нарочно подбросил?

— Зачем бы это ему? Вот вопрос! Целый лес вопросов... Кстати, я, кажется, нашел Семена, о котором упоминал Буш на допросе, помните? Молодой парень, влюблен в Быстрицкую. Часто приходит к ней в гостиницу и там познакомился с Ищенко. А тот был с ним ласков и обходителен. Мне кажется, что Ищенко был связан с Быстрицкой так: он чем-то шантажировал ее, это как раз было в его характере, насколько я понимаю. Но вот почему Быстрицкая шла за ним в то утро? И куда потом делась?

— Официально допрашивать ее вы, конечно, не хотите?

— Но ведь капитан Сипарис всех вызывал, как положено в таких случаях. И ее тоже. Это ничего не дало. Нет, настаивать не стоит. Боюсь,— сознался я.— Все время боюсь нечаянно спугнуть его. Мы пока все еще играем на ощупь, вслепую. Я работаю здесь два дня, а результатов — кот наплакал. Хотя кое-что есть.

Я рассказал ему про записку, которую писал Ищенко по словам моряка. Но это лишь подтверждает наши догадки, добавил я. Потом рассказал о пиджаке Пухальского.

— Вы, кстати, предлагали Войтину и Пухальскому опознать труп? — спросил я.

— Только Пухальскому. Моряк был пьян. И директору гостиницы.

— Не характерный для Прибалтики директор гостиницы, а? Не «комильфо».

— Н-да. А насчет Пухальского, минуточку... Я там портфель оставил.

Он вышел в соседнюю комнату и вернулся с ответом на наш запрос в архив Министерства обороны. Мы запросили характеристику на Пухальского за тот период времени, когда он служил в Группе советских войск в Германии. Ответ пришел почти моментально. Молодец, Ларионов, он обеспечивал мне тылы. В характеристике говорилось, что Пухальский занимался спекуляцией на черном рынке в Берлине, был наказан и кончал службу в Гомеле.

— Его видели в компании с местным фарцовщиком,— сказал Валдманис.— Тот верткий парень. Капитан Сипарис много про него знает, но с поличным не поймал ни разу.

Я описал сегодняшнего молодого человека.

— Судя по словам Сипариса, тот самый. Между прочим, Пухальский приезжает на мебельную фабрику уже третий раз. Сегодня у него кончилась командировка. Он взял бюллетень в больнице: катар верхних дыхательных путей.

— Он абсолютно здоров. Мне он сказал, что срок его командировки истекает через три дня. Что-то держит его здесь.

— Капитан занялся его связями. По-моему, он просто спекулянт. А это уже по части капитана Сипариса, но никак не по нашей. Вообще, мне кажется, что Войтин и Пухальский — по разным, конечно, причинам — к нашей истории отношения не имеют. Я бы их исключил.

— Не знаю, не знаю... Мы ни в кого не можем ткнуть пальцем — это он. Мы не знаем. Мы так и задумывали эту операцию, потому что у нас нет прямых улик: я попадаю в окружение покойного Ищенко и ищу какие-то зацепки. Вы всех допрашивали, но моряк забыл или не захотел рассказать про записку. Я узнал о ней в случайном разговоре. Так и с другими.

— Что ж, верно.

— Но вот еще что... — Я немного поколебался, говорить или нет, потому что это было только голое предположение, но все же спросил: — У вас нет впечатления, что центр расследования может переместиться в Радзуте? Данных нет никаких, кроме того, что Ищенко служил там полицаем. Только ощущение...

— Не верьте ощущениям,— усмехнулся начальник горотдела.

Я не верил. Но что-то уж слышком часто я сталкивался сегодня с этим Радзуте. От кого первый раз я услышал о нем? «Ах да, Станкене сказала, что ее постояльцы приехали из Радзуте», — вспомнил я.

— Я связался с радзутским отделом и попросил поднять архивные документы, в которых может фигурировать Ищенко. Если, конечно, таковые имеются,— сказал Валдманис.

— Я вас попрошу еще узнать, кто водил третьего и пятого радзутский автобус,— сказал я.— С этими товарищами надо побеседовать.

И рассказал о совпадении времени убийства и предполагаемой встречи Ищенко с кем-то третьего числа — с приходом радзутского автобуса.

Валдманис недоверчиво хмыкнул.

— Заметьте, у Ищенко была отчеркнута именно радзутская линия,— добавил я.— Кстати, Войтин тоже почему-то интересуется радзутским автобусом. В день моего приезда сюда он торопился на оста-

новку. Я проверил: в районе одиннадцати часов прибывает только автобус из Радзуте.

— Может быть, отходит куда-нибудь?

— Тоже проверил. Нет.

— А мне теперь кажется вполне естественным, что Ищенко отчеркнул Радзуте. Знакомое место, так сказать.

— Не знаю, не знаю,— сказал я.

— Слишком все кругло получается.

— Ага,— согласился я.

Он посмотрел на меня, поднял телефонную трубку и сделал все, о чем я просил.

— Пошлите на площадь Янкаускаса,— сказал он.— Только пусть тихо выяснит, культурненько. Да-да.— Он положил трубку.

— Я еще посижу,— сказал я.— Хочу проглядеть показания Станкене.

Я листал заявление Евгении Августовны, которое помнил почти дословно. Но ни за что не зацепился. Только один абзац снова привлек мое внимание. «Соседка Владимира Игнатъевича Малина рассказывала мне впоследствии, когда уже наши войска вступили в город и я могла свободно ходить по улицам,— писала Станкене,— что гестаповцы вошли в дом Малина, пробыли там минуту, раздался выстрел, и они почти тотчас вышли. Он жил один. Спустя час она решила войти к нему. Малин лежал на полу: он был убит выстрелом в висок. Это было странно, потому что всех арестовывали и потом долго мучили, а Малин был убит сразу. У него не было оружия, это я точно знаю. Выстрел был только один, значит, он не был убит при попытке сопротивления. У Малина обычно собирались члены подпольного комитета. Соседку его звали Элла Густавовна Пикус, ей было около шестидесяти лет, когда она умерла в 51-м году от инфаркта. Нет, Малин был надежный товарищ. Может быть, он был излишне легкомыслен, но предателем он быть не мог...» Почему Малина убили сразу? Станкене больше ничего не знала.

— Удалось собрать дополнительные сведения о Малине?— спросил я.

— Нет.

— Родственников у него не было?

— Не нашли.

Зазвонил телефон.

— Да?— ответил Валдманис.— Да... Так... Значит, и третьего и пятого один водитель. Фамилия— Черкиз, Владимир Пантелеймонович. Так... Ах, вот как!— Он прикрыл ладонью трубку и сказал мне:— Пятого он ездил не в очередь, по расписанию автобус должен был привести другой шофер. Это уже любопытно... Что еще?— спросил он в трубку.— Какой мальчишка? Лет десяти, говорите? Приехал пятого вместе с Черкизом, сидел в запечатом автобусе, а потом Черкиз увез его обратно?... Он вопросительно посмотрел на меня. Я кивнул головой.— Берите машину и выезжайте в Радзуте. Соберите сведения об этом Черкизе. Обязательно найдите мальчишку. Да. Все.

Он положил трубку и поиграл карандашом на столе.

— Интересно,— сказал он.— Но... мой совет: постарайтесь поскорей выяснить все с Быстрицкой.

— Да,— сказал я.— Ей двадцать три года, и она глупая девчонка.

Наше свидание подходило к концу. Мне ужасно не хотелось вставать и уходить из этой комнаты.

Он ободряюще усмехнулся.

— Давно работаете оперативником?

— Шесть лет,— сказал я.

Глава 21

НЕ ИСКАЖАЯ ИСТИНЫ

Тем же вечером я заглянул к Бушу.

Он был мрачен, запустил шлепанцем в кошку и сказал, что Клавдия Николаевна спит: плохое настроение, хандра, вот и завалилась пораньше.

— Посидим тесной мужской компанией, Боря.

— Ага.

— И выпьем!— Он достал из буфета початую бутылку, на этот раз коньяку.— Грибки вот есть, маслята. Хорошие.

— Мне томатный сок, как обычно. Если имеется.

— Имеется. Нога-то как?

— Совсем прошла!— отрапортовал я.— Помощь была оказана своевременно.

— Поехали?

— Ваше здоровье!

Буш спросил, как у меня дела с устройством на работу. Помог ли Суркин? Я все рассказал и добавил, что только что видел Суркина. Он был какой-то странный. Сидел в машине на заднем сиденье, а по бокам от него сидели двое. Машину вел человек в милицейской форме. Она стояла у светофора, поэтому я все так хорошо разглядел.

— Да?— не особенно удивившись, сказал Буш. Он похлопал своими толстыми веками и опять напомнил мне бегемотика.

— Так арестантов возят.

— За что же его арестовывать?— равнодушно спросил Буш, прицеливаясь вилкой в банку с маслятами. Он даже не выложил их на тарелку: холостяцкая привычка.

— А я почему знаю? Может, мне и показалось. Но только странно: шофер — милиционер... Эх, хороши грибки! Прибалтийские?

— Не знаю. На банке написано, наверное.

— Белорусские,— прочел я.

— А куда его везли?

— По этой... как ее... по улице Прудиса.— Я проглотил скользкий гриб.— В общем, дело дрянь, конечно!

— Какое дело?

— Ну у меня! Визу, наверное, месяц надо ждать, а денег у меня на неделю.

— Одолжу.

— Спасибо, я помню. Но пока у меня нет уверенности, что я могу отдать, не возьму. Такой у меня принцип. Суркин обещал устроить на временную работу в порт, так что выкручусь.

— Ну, это еще бабушка надвое сказала!

— Он твердо обещал. Говорит: приходите на той неделе.

— Так его ж арестовали!

— Я не говорил, что арестовали. Просто было похоже.

— Вы на всякий случай поищите работу где-нибудь еще,— посоветовал Генрих Осипович.— Всякое бывает.

«Так»,— подумал я.

— У нас один парень в институте здорово стихами подрабатывает: печет их к дню Восьмого марта, Дню физкультурника и к другим датам. Я все думаю: может, мне попробовать?

— Тут талант нужен.

— Не скажите! Иной раз такую муру печатают!

«Вы отлично чувствуете себя в шкуре студента, старший лейтенант,— похвалил я себя.— А может, переигрываете? Может, полегче надо?»

— Что ж, попробуйте.

— Машинки нет. Все поэты пишут на машинке, а так несолидно: никто в редакции читать не будет. Ответят, что стихи хорошие, но надо еще чуть-чуть подучиться. А сами даже не прочтут.

«Еще легче, старший лейтенант!»

— У нас на фабрике есть машинка,— безмятежно сказал Генрих Осипович.

— Ну, туда меня не подпустят!

— Приходите и печатайте. Она стоит в красном уголке, и все, кому не лень, тычут в нее пальцами. Я скажу, чтобы вас пропустили на фабрику.

— Я пошутил,— сказал я.— Какой из меня поэт!

«Значит, Пухальский тоже имеет под рукой машинку»,— подумал я. И вспомнил его рассказ про Суркина: как тот глядел Ищенко вслед и как странно вел себя. Но зачем Пухальскому было нарочно привлекать мое внимание к Суркину? Это имело смысл в том случае, если он с первого дня знал, кто я. А это — вряд ли!

Я просидел у Буша еще с час и, ничего больше не выяснив, отправился в гостиницу. Небо на западе было зеленое, просветленное. Над замком висел месяц. Тень под деревьями была пятнистой от света, падавшего сквозь листву. «Кто написал анонимку,— думал я,— убийца или человек, вовсе не причастный к этому делу?..»

Пухальский лежал на кровати, курил и читал «Десять лет спустя», отрываясь, чтобы пустить струю дыма в потолок. Я вдруг понял, чем меня настораживали его манеры. Он держался барином, пусть небольшим, но как бы имеющим свой капитал: иначе я не мог выразить этого духа.

Войтина не было дома. Я его не видел с утра. Что они, график установили, что ли? Один гулял допоздна вчера, другой гуляет сегодня?

— Где морячок? — спросил я.

Пухальский блеснул очками.

— Не знаю,— безразлично ответил он.

Я, морщась, стянул рубашку. Когда я поднимал руки, мышцы натягивали кожу на спине, и было больно. Все-таки я «сжегся» на пляже.

— Видел сейчас соседа Буша. Меня с ним вчера Генрих Осипович познакомил,— сообщил я.— Ну помните... вы еще о нем говорили?

— Помню,— односложно ответил Пухальский.

— Так вот! По-моему, его арестовали!

— Да?

— Так, во всяком случае, в кино арестовывают.— Я рассказал ему про машину и шофера-милиционера.— Машина была вроде «раковой шейки»,— добавил я.

— Может быть, его увозили в больницу? Этот товарищ произвел на меня странное впечатление. Возможно, он даже психически ненормален.

«Он вовсе не производит такого впечатления»,— подумал я. И сказал:

— Милиция в больницу не возит.

— Тоже верно.

Пухальский зевнул и положил книгу на тумбочку. Взбил подушку. Поерзал в кровати, устраиваясь удобней.

— Свет тушить?

— Тушите.

Я встал.

— И замкните дверь на ключ,— посоветовал Пухальский.— Сосед придет — постучится, а нам спокойнее.

Неоновая реклама «Госстраха», как и вчера, озаряла комнату тусклым красноватым светом. Я не мог уснуть. Кончился второй день моего пребывания здесь. Тот, кого я искал, мог решить, что со дня убийства прошло достаточно времени и ему пора заматывать следы.

«Почему анонимка написана в двух экземплярах? — думал я.— На всякий случай? Но на какой?..»

(Окончание следует)



О ЛЕНИНЕ— ДЕТЯМ

Книга Марии Прилежаевой «Жизнь Ленина», которая выходит в Издательстве детской литературы к столетию со дня рождения Владимира Ильича,— в сущности, первая серьезная попытка написать для детей художественную биографию вождя. Но в книге этой не только — документально и художественно — рассказывается о ленинской жизни.

—Можно считать, что по-настоящему я обратился к ленинской теме совсем недавно, делая рисунки для очень интересной книги Марии Павловны Прилежаевой. Работа была ответственной. И в первую очередь потому, что будущий читатель книжки — человек школьного возраста, подросток. А этот читатель — и зритель, — пожалуй, самый взыскательный и требовательный. Он остро чувствует грани правды, и, хотя ему не чуждо понимание художественного обобщения, для него самым убедительным аргументом является достоверность.

Для молодежи жизнь Ильича — это учебник жизни, в котором сила ленинского примера складывается и из отдельных черточек характера, и из сложных духовных переживаний, и из ряда поступков, и из умения мыслить глобально — всего не перечтешь! Передать тот или иной эпизод неточно, с натяжкой — значит не только погрешить против исторической правды, правды факта, но и где-то исказить представление молодого человека о великой жизни...

Работая над ленинским образом, я хотел, чтобы в рисунки серии органично вплетались признаки времени и места — истории и географии. Петроград, Шушенское, Цюрих, Москва — разные годы жизни Ленина, самые разные события. И в гуще лет, в гуще событий, в гуще людей — Владимир Ильич. В сущности, в моих работах нет такого сюжета, где Ленин был бы один, а не в народе, не в кругу соратников или членов своей семьи. И это, по моему мнению, подчеркивает единство, тесный сплав образа Ленина с образом народа, образом революции, которые в историческом контексте, конечно же, неразделимы.



Молодой читатель биографии еще и зритель: около восьмидесяти работ художника Ореста Верейского показывают и историко-революционные события и — в тесной связи с ними — жизнь Ильича.

О том, как работал О. Верейский над рисунками к книге, — в записи этой короткой беседы с художником.

Является ли моя работа только иллюстрацией к художественной биографии Ильича, которую написала Прилежаева? Когда я знакомился с книгой Марии Павловны, меня занимал не только поиск изобразительного решения. Думал уже и о том, как объединить сюжетно свои будущие рисунки. То есть с самого начала думал не столько об иллюстрировании, сколько о самостоятельном зрительном ряде, который бы параллельно с рассказом Прилежаевой, иными изобразительными средствами раскрывал образ Владимира Ильича.

Удалось ли мне это — судить читателю книги.

Хочу сказать еще и о том, что не оставляло меня во время всего процесса работы над серией рисунков.

Прежде чем приступить к работе, я внимательно изучил ленинскую «иконаграфию» — фотографии и кинокадры, зарисовки художников с натуры. Сильное впечатление на меня всегда производило творчество Альтмана и Андреева. В работах этих мастеров характерное ленинское бросается в глаза сразу и, выразиться бы поточнее, «зажигает воображение», рождается глубокое ощущение правдивости.

Не расплескать бы драгоценное ленинское, не подменить бы чисто внешним, портретным сходством черты великого человеческого характера, увиденные в Ленине художниками-современниками, схваченные объективами фотоаппаратов и камер, — вот что занимало меня и делало работу очень напряженной. Сейчас, когда она закончена, я с нетерпением жду встречи с читателем и зрителем: сумел ли я донести до моего самого сурового критика — юноши, подростка — правду ленинских чувств, силу его убеждений и обаяния?





**Валентин
Берестов**

Одуванчики

Вот они! Молчком, молчком
Корни сок готовят белый,
Горьковатым молочком
Кормят стебель пустотелый.
Праздник солнца! Сколько вас,
Одуванчиков, у лета!
Детства золотой запас,
Неразменная монета.
И опять молчком, молчком
Принимаются за дело,
И под рыжим колпачком
Созревает праздник белый.
Вас я вижу с высоты,
А когда-то был пониже,
Много ниже,
Много ближе
К вам, приятели-цветы.



Любили тебя без особых причин:
За то, что ты — внук,
За то, что ты — сын,
За то, что малыш,
За то, что растешь,
За то, что на папу и маму похож.
И эта любовь до конца твоих дней
Останется тайной опорой твоей.

Голос отца

Отец мой не свистел совсем,
Совсем не напевал,
Не то, что я, не то, что я,
Когда я с ним бывал.
Не в полный голос, просто так,
Не пел он ничего.
Все говорят, что голос был
У папы моего.
А что мы просто так поем —
Та-ра да ти-ри-ри,—
Наверное, звучало в нем,
Но где-то там, внутри.
Недаром у него была
Походка так легка,
Как будто музыка звала
Его издалека.



Один лишь раз, и то в начале детства,
Мой дядя, тот, погибший на войне,
К нам заезжал. Но до сих пор вглядеться
Могу в его глаза. Они во мне.

Все остальное — облик и слова —
Забыто. Но еще припоминаю,
Была трава. Нездешняя трава.
Высокая и пестрая. Лесная.
Должно быть, в лес (он на краю земли
Был для меня) занес меня мой дядя,
И там мы на поляне прилегли,
Счастливые, в глаза друг другу глядя.
И я запомнил нити на белках,
И складки век, и редкие ресницы,
И два зрачка, две точки-зеницы,
В двух серых и лучащихся кружках,
И то, как сам я отражался в них,
И то, как их застлала поволока
И шевельнулись веки... Только миг
Запомнил я. Одно мгновение ока.

Первая любовь

Маленький, иду по городку,
Пятками босыми пыль толку.
Я великой страстью обуян:
Я люблю трудящихся всех стран.
И хочу, чтоб мир об этом знал,
И пою «Интернационал».

Вот сейчас бы встретить иностранца:
Итальянца, немца или испанца,—
Сжать бы руку правую в кулак,
И над головой поднять вот так,
И сказать «Рот-фронт!» или «Салют!»,
И они поймут меня... Поймут!

Зритель

Пулеметчицу мама играла,
А у сына душа замирала.
До чего ж весела и смела
Пулеметчица эта была!
Мама, мамочка, вот ты какая!
Своего торжества не тая,
Всех соседей трясла и толкала,
Сын шептал: — Это мама моя!

А потом его мама играла
Дочку белого генерала.
До чего же труслива и зла
Генеральская дочка была!
Сын сквозь землю хотел провалиться.
Ведь позором покрыта семья.
А вокруг восхищенные лица:
— Не узнал! Это ж мама твоя!

Костик

Кто помнит о Костике,
Нашем двоюродном брате,
О брате-солдате,
О нашей давнишней утрате!

Окончил он школу
И сразу погиб на войне.
Тебе он припомнился,
Мне он приснился во сне.

В семейных альбомах
Живет он на карточке старой.
Играть не играл он,
Но снят почему-то с гитарой.

И что-то важнее,
Чем просто печаль и родство,
Связало всех нас,
Кто еще не забыл про него.

Билет метро

Что гильзы, фантики и марки,
Значки и прочее добро!
Что все столичные подарки!
Билет метро! Билет метро!
Какой гостинец мне достался!
По травке мчусь во весь опор.
— Мой папа на метро катался! —
Кричу, влетая в каждый двор.
И этот маленький билетик
С большой прекрасной буквой «М»,
Не говоря уже о детях,
Был нужен абсолютно всем.
В то утро он владел сердцами.
Средь бузины и старых стен
Сиял подземными дворцами
Наш первый метрополитен.

Военная игра

Итак, я пал в сраженье. Я убит.
Одно мгновенье армия скорбит,
И без меня в атаку мчатся кони.
Я посторонний. Я потусторонний.
Подумать только, боевой приказ —
И тот не властен надо мной сейчас.
И, на меня не покосившись даже,
Ползет у ног моих разведчик вражий,
Скользит змеей, бесшумно, не дыша.
Я — тень. Я — отлетевшая душа.
Как все же нелегко душе героя
Таинственно парить над полем боя!

☆

Полна, как в детстве, каждая минута,
Часы опять текут неторопливо,
И сердце переполнено твоим.
Любовь — замена детства. Потому-то
Насмешливо, презрительно, ревниво,
Пугливо смотрит детство на нее.

Дети и звезды

Ах, сколько звезд зимой, в ночи морозной,
Открыто детям! И еще не поздно,
Еще не скоро скажут: «Спать пора!»
И только начинается игра.
Совсем иначе светят звезды летом.
Для малышек те звезды под запретом,
До времени они утаены.
Их видит юность. Детство видит сны.

Дверь

— А ну-ка, встань у двери! Рост померим.
Взбираются зарубки вверх по двери.
То не простая дверь. Ведет она
В иную жизнь,
В иные времена.

Небо первых пятилеток

Небо первых пятилеток
Без дождей и без туманов
Нынче в памяти встает.
В нем жужжанье авиеток,
Монопланов и бипланов,
Тихих планеров полет.
Дирижабли, стратостаты
Им таинственно владели.

К звездам рвался разум наш.
И кружил мой змей хвостатый,
И сверкал моей модели
Стрекозиный фюзеляж.

Ярмарка

Ах, ярмарка! Ряды телег
На вытопанной травке.
Мороженого сладкий снег.
Палатки и прилавки.
Манящий писк «уйди-уйди».
Возы. Весы. Веселье.
Снимайся, в дудочку дуди,
Кати на карусели.
Простор в круженье том живом
Гаданьям, слухам, толкам.
Было торговля торжеством,
Казался торг восторгом.
Пел под кувалдою металл,
Стучал кузнец, как дятел.
Я больше всех приобретал,
Хотя всех меньше тратил.

□ □ □



Флор
Васильев

☆

Река раздвинула пределы,
Льды громяхают невпопад.
В их трещинах, как будто стрелы,
Лучи весенние дрожат.
Земля забыла о покое,
Простерта из конца в конец.
Уходит лед.
И все плохое
Уходит из людских сердец.
Весна —
И ярче каждый лучик,
И в сердце перестук шальной.
Жизнь выглядит светлей и лучше,
Как счастье грянувшей весной.
Весною внятн звук капели,
Весною легче мир постичь.
Весною, в солнечном апреле,
Родился Ленин, наш Ильич.
Недаром он,
Народный гений,
Предвидя новую зарю,
Из дней апрельских



Луч весенний
 Простер сквозь годы — к Октябрю
 И в той дороге многоверстной,
 Что выпала стране родной,
 Сменяясь,
 Отцветают весны
 Над неизменною весной.
 Жизнь Ленина и ныне длится!
 Он всюду с нами до конца.
 Большое солнце
 По частицам
 Хранят стучащие сердца.
 Не потому ль,
 Мужая в бедах,
 Мы шли на дальние огни!
 Лишь в трудно давшихся победах
 Куются завтрашние дни.
 Нам к новым взлетам откровений,
 К победам будущим идти.
 И с нами он —
 Бессмертный гений
 Страны, которая в пути.

☆

Не спеша, в затаенной надежде
 воскреснуть,
 над землей пожелтевшие листья кружат,
 словно это слова затихающей песни,
 под которую сном забывается сад.
 Забывается сад под мелодию эту,
 и, в пожаре осеннем сгорая дотла,
 вспоминает листва отшумевшее лето,
 потому что успела закончить дела.
 Все дела позади...
 Но в надежде воскреснуть
 не спеша пожелтевшие листья кружат.
 Видно, хочется очень услышать им песню,
 что заполнит весной зеленеющий сад.

☆

Искусством и молвой увековечен,
 как в час веселья, так и в час беды,
 и в нашей тихой роще каждый вечер
 пел бойкий соловей на все лады.
 Прохожий на траву бросал котомку
 и проводил рукою по лицу.
 И всюду колокольчики негромко
 невидимому вторили певцу.
 Ах, сколько песен было им пропето!
 Но вдруг не стало в роще соловья:
 погиб ли он в грозу дождливым летом,
 в другие перебрался ли края...
 Кто смог бы заменить его по праву
 веселых песен той же чистоты!
 Поникли листья, погрузнели травы,
 потупились беспечные цветы.
 А ветер то взлетает в поднебесье,
 то жалобно вздыхает у крыльца...
 Хоть дорога порой бывает песня,
 но что дорожке самого певца!

Перевел Владимир САВЕЛЬЕВ.

Воспоминание

Иголкой в грудь покалывают годы,
 нелегким осененные житьем.
 ...Вот-вот вернется мама с огорода
 с картошкой в переднике своем.
 Мы, сыты лишь похлебкой из крапивы,
 ходили к огороду по траве,

все лето ожидая терпеливо
 сиреневых цветочков на ботве.
 Ромашки наклонялись над дорожкой,
 гвоздики красовались у дорог,
 но ждали мы цветения картошки:
 ведь за цветением — созревания срок!
 Как хрупкую посуду, ту картошку
 с огня вносили в бедное жилье.
 И бережно — с ладошки на ладошку —
 старались перекачивать ее.
 В багровых зорях догорали дали.
 И мы, вконец усталые тогда,
 по письмам с фронта дни свои считали,
 а по цветам картофеля — года.
 Я вспоминаю их без укоризны.
 Они и ныне каждый год подряд
 сиреневым неярким цветом жизни
 в деревне огороды веселят.

Перевела Татьяна КУЗОВЛЕВА.

□ □ □



Альгимантас
 Балтакис

Антилопа

Как, не знаю, сберечь это тихое поле
 И тебя удержать на пригорке во мгле,
 Тает матовый лик, и дрожу я от боли,
 Что исчезнет и самый твой след на земле.

Я тебя обнимаю — ведь клад драгоценный
 Ночь украсть норовит у минувшего дня,
 И недаром же ты антилопою пленной
 Вся трепещешь внезапно в руках у меня.

Как тебя уберечь, чтоб отныне ты стала
 Навсегда ненаглядной, навек молодой!
 Я сегодня стараюсь тебя для начала
 В тесной клетке стиха запереть с тишиной,

Чтобы в клетке стиха час продлился
 полночный

И мерцание звезд, озаряющих тьму.
 Не отталкивай рук — это трап мой
 непрочный.

Мне не жить на чужом берегу одному.

Перевел Поэль КАРП.





Е. Сидоров

СЕМЬДЕСЯТ ЛЕТ СПУСТЯ

Фото А. Гладштейна.



В своей последней работе — «К истории «Гамлета» в России» — известный советский ученый Б. М. Эйхенбаум писал, что «многогранность смыслов — одно из основных природных свойств искусства. Чем значительнее произведение, тем оно многозначнее — тем шире и глубже его смысловый диапазон».

Свою статью Б. М. Эйхенбаум предваряет эпиграфом из А. И. Герцена, намечая одно из основных противоречий сценической реализации драмы. «Сцена всегда современна зрителю, — пишет Герцен, — она всегда отражает ту сторону жизни, которую хочет видеть партер». Под словом «партер» Герцен, разумеется, понимает не элиту, а публику в широком смысле слова — зрительный зал.

С одной стороны, каждая новая интерпретация классической пьесы, если она осуществлена художником, остро чувствующим свое время, раскрывает новую сторону смысла, объективно заложенного в драме. Истинное искусство не терпит исторических смещений и высокомерного субъективизма, которые всегда однозначны и лишают явления и характеры первосозданной глубины.

Но, с другой стороны, публика живет своими страстями и надеждами. Что ей Гекуба, она хочет видеть на сцене ту сторону жизни, которая волнует ее сегодня. И диалектика такова, что режиссеру и критику иногда нелегко подняться с кресла и выйти из партера, чтобы взглянуть на мир глазами драматурга.

Во МХАТе и «Современнике» в прошлом сезоне сыграны две русские классические пьесы, знакомые нам со школьных времен.

«Чайку» А. П. Чехова поставил Борис Николаевич Ливанов, один из самых интересных представителей второго мхатовского поколения.

«Современник» родился из МХАТа, следуя его идеальной программе и пытаясь творчески спорить с застывшим в ней. Галина Волчек ставит «На дне», постоянно помня о традиции спектакля, в котором играли Качалов, Москвин, Станиславский.

«Чайка» возобновлена во МХАТе через семьдесят лет. Примерно столько же времени отделяет постановку «Современника» от спектакля Художественного — общедоступного. Так в рамках одной театральной системы родились два новых спектакля, мысленно возвращающие нас к ее истокам.

Семьдесят лет — срок жизни человека. Для искусства — это срок юности, да и то не всегда. Драматургия Чехова до сих пор остается загадкой, которую решают многие художники мирового театра и кино.

Мне кажется, что огромный интерес к пьесам Чехова в современном западном и японском театре прежде всего связан с психологической атмосферой общества, в котором становится привычной абсурдность простого и естественного человеческого жеста. Пьесы Чехова в этих условиях часто звучат протестом, но одновременно лишаются многих глубоких, объективных черт, вполне понятных лишь русскому зрителю.

В чеховских пьесах за сценой часто звучит вальс: «играют меланхолический вальс»; «из передней доносится звуки вальса». В «Трех сестрах» нет авторской ремарки подобного рода, но когда в одном из спектаклей в первом акте вынесли на сцену граммофон и зазвучал вальс в исполнении духового оркестра, то эта чисто русская «ностальгическая» военная музыка оказалась как нельзя более уместной. Нота прощания прозвучала уже в первых тактах спектакля, задолго до расставания Маши с подполковником Вершининым, до гибели Тузенбаха, до заключительных

горьких и страшных в своей усталости слов Чебутыкина: «Все равно! Все равно!»

Грамофонный надтреснутый голос вальса пронизывал дыханием невозвратимых потерь. Человеческие связи рвутся. Любовь не приносит счастья. Хорошие люди душат себя бездейтельностью. Наступает тишина, и только слышно, как далеко в саду топором стучат по дереву.

...ночь умозрительных понятий,
Матерьялистских малых дел,
Бессильных жалоб и проклятий,
Бескровных душ и слабых тел
(А. БЛОК).

Герои чеховских пьес не живут, они себя и жгибают. В этом их исторический смысл и значение. Изживают по разным причинам, чаще всего от них самих не зависящих. Распад перзрелой и потому гниющей общественной формации сложно и опосредствованно отражается в судьбах героев. Астров в «Дяде Ване», сестры и Тузенбах в «Трех сестрах», Треплев в «Чайке» чувствуют, что так жить нельзя, но не знают, как должно. Это лучшие люди у Чехова, они больше других и несчастны. Другие просто не замечают трагедии, они больше самодовольны и больше смешны, хотя смешон и Костя Треплев, пытающийся с негодными средствами бунтовать против бескрылого натурализма в искусстве. Только смерть выводит Треплева из «комедии» — именно этим словом определил Чехов жанр своей «Чайки».

Когда-то давно Чехова пытались объяснить как «полта сумерек», «певца упадка». В противовес «чеховскому пессимизму» выдвигался другой штамп театрального прочтения его пьес — «романтический оптимизм»: «Мы насадим новый сад, роскошнее этого!» И то и другое крайности. Как верно замечает Н. Я. Берковский, тонкий исследователь чеховского творчества, «те, кого называют «положительными героями» у Чехова, строго говоря, отсутствуют. Нет никого, кто бы был несомненным ставленником автора, кто бы послан был автором в будущее. Есть другое — идет освобождение душевных сил, более не работающих на прежние цели и интересы, идет накопление в душах материала, частица за частицей, способного создать нравственный мир будущих людей». Именно в этом сказался глубокий реализм Чехова, его оптимизм беспощадно правдивого и одновременно до милосердия гуманного художника.

Применительно к «Чайке» можно сказать так: человек будущего еще не созрел, но в творческой неудовлетворенности Тригорина и Треплева, в Нине Заречной, нашедшей духовную опору, уже слышны отзвуки нового мира. Чехов не торопит события, не подсказывает исход; он рисует реальность с таким проникновением в нее, что становится ясно: пришла пора иной жизни, ибо с точки зрения будущего мир чеховских пьес уже нереален, настолько порваны в нем естественные человеческие связи.

Но обратимся к спектаклю Ливанова. Он захвачен в нашей печати. Это обидно, потому что Ливанов — крупный характер, нуждающийся не в гуле трафаретных поощрений, а в строгом зеркале критики. Он идет к Шекспиру через Достоевского и Чехова; признать новую «Чайку» полной художественной удачей — значит отобрать у режиссера часть сил, вложенных в будущего «Лири».

Лучшая на театре роль Ливанова не Ноздрев, не Булычев — Соленый. В режиссуре Ливанова рано или поздно должна проявиться ярость, которая раскрепостит стиснутую натуру, словно приговоренную к вторичности.

Второй Чацкий после Качалова.
Второй Ноздрев после Москвина.

Дмитрий Карамазов после Леонидова.

Булычев после Щукина.

И вдруг — Соленый, тоже второй, даже третий, десятый. Соленый... после Печорина, мещанин с романтическими претензиями, тип, который в ливановском исполнении стал едва ли не главной актерской победой в замечательном спектакле Вл. И. Немировича-Данченко.

Драма Соленого не в том, что его никто не принимает за романтического героя. Душа Соленого хочет выражения, которое не принимает его блеклый, стандартный ум.

Убить Тузенбаха ничего не стоит, тем более умереть самому. Любовь к Ирине стоит того.

Соленый — жертва любви. Точнее, жертва натуры, в которой сознание недостойно мечты.

Ливанов гениально играл эту роль. Он создавал исторический характер, обнадеживая дистанцию между позой и сущностью романтического героя.

Получался водевиль, комедия, мелодраматический гротеск. Как раз то, что писал Чехов. Плакать хотелось, глядя на согбенную, опоздавшую спину провинциального Печорина.

Не то в ливановской «Чайке». Здесь опять привычный спектакль, без новой глубины смыслового диапазона чеховской пьесы. Безупречно профессиональная постановка как бы бережно воссоздает уже найденное за семьдесят лет сценической жизни «Чайки».

Такая реставрация тоже может быть целью искусства, но это не может быть главной его целью.

Играется знакомая пьеса, кажется даже, что в знакомых мизансценах, в знакомых декорациях, повторяющих во многом старинную работу знаменитого мхатовского художника В. А. Симова. Идет процесс узнавания, который приятен, но который не сулит больших эмоциональных переживаний. Правда, все вокруг несколько освежено, промыто, будто прошлись по старому новой кистью, и стало светлее, просторней.

Вряд ли это было целью постановщика, но на первый план вышли Аркадина и неглавная в пьесе Маша Шамраева (отличная работа молодой И. Мирошниченко). И такое случалось раньше, вспомним хотя бы восторженные отзывы современников о М. Лиловой, сыгравшей Машу в первой московской «Чайке».

С появлением А. Степановой по сцене разливается аромат неувыдаемого мхатовского искусства. Ее Аркадина удивительно жизнелюбивая, даже в пошлости своей талантливая натура. Рядом с ней беллетрист Тригорин в исполнении Л. Губанова кажется тусклым и заурядным человеком. Между тем Чехов писал, как бы это помягче сказать, не совсем то.

Лучшая сцена Степановой — в третьем акте, разговор с Тригориним. Он увлечен Ниной, хочет остаться, но не тут-то было. Все силы, исторгнутые из стареющего женского сердца, призывает Аркадина себе на помощь. С изяществом и одновременно с какой-то усталой развязностью произносит актриса победную лукавую реплику: «Впрочем, если хочешь, можешь остаться». Тригорин вновь принадлежит ей, и она может поиграть теперь, чего бояться!

Что же такое Тригорин? В спектакле Ливанова это известный наигранный характер. Посредственный, хотя и модный писатель, вялая тень своей энергичной любовницы. Но Чехов не писал второстепенность, в Тригорина он вложил некоторые автобиографические черты, мысли, которые остро волновали его самого. «Я никогда не нравился себе», — признается Тригорин

1 См. об этом в умной статье Д. Урнова «О правах прошлого». «Москва» № 4, 1969 год.



Нина Заречная (Светлана Коркошко).

Нине, и это не кокетство, а искреннее чувство творческой неудовлетворенности, заслуживающее уважения. Он трудится, как каторжный, писательство — единственный смысл его жизни. Перечитайте непредубежденно пьесу, и вы увидите, что Тригорин не менее, чем Треплев, драматическая фигура. Оба в тупике, оба без цели, только один по-студенчески заблудился в эмпиреях возвышенного и идеального, а второй, с положением и славой, погряз внизу — в подробностях, в «пейзажах», в натурализме. Бросить все к черту и начать сначала нет уже сил, да и не знаешь как. Жизнь засосала.

Театр сочувственно всматривается в Треплева (арт. О. Стриженов) и явно осуждает Тригорина. Но они оба заслуживают более сложной и трезвой, чеховской оценки.

Безволие Тригорина обычно подчеркивается почти всеми исполнителями этой роли. (Некоторое исключение у меня на памяти составляет А. Ширвиндт в спектакле Московского театра имени Ленинского комсомола, поставленном А. Эфросом). При этом почему-то не учитывается, что Тригорин одержим в главном своем деле — в литературе. Остальное для него и не жизнь вовсе, а так, рыбная ловля... Тут Аркадина командует.

Приведу хрестоматийный отзыв Чехова о Станиславском в роли Тригорина: «Тригорин (беллетрист) ходил по сцене и говорил, как паралитик; у него «нет своей воли», и исполнитель повял это так, что мне было тошно смотреть».

Третий человек творчества — Нина Заречная, Чайка. «Роль Нины для меня в сё в пьесе», — повторял Чехов.

Нина любит Тригорина. Любит даже тогда, когда он расстается с ней, бросает ее. Нина не жертва, не чайка, подстреленная ради прихоти, не «сюжет для небольшого рассказа», это единственный человек в че-

ховской комедии, высвобождающийся для истинной жизни. С. Коркошко хорошо, верно, без каких-либо романтических преувеличений произносит свой последний монолог: «Я — чайка... Не то. Я — актриса... Я теперь знаю, понимаю, Костя, что в нашем деле — все равно, играем мы на сцене или пишем — главное не слава, не блеск, не то, о чем я мечтала, а умение терпеть. Умей нести свой крест и веруй. Я верую, и мне не так больно, и когда я думаю о своем призвании, то не боюсь жизни».

Человек жив, ибо имеет точку духовной опоры. Слова Заречной переключаются с будущим, с блоковским: «Но ты, художник, твердо веруй...»

В спектакле Ливанова Нине повезло больше, чем Тригорину и Треплеву. Но в том-то и дело, что чеховские образы нельзя играть и рассматривать изолированно друг от друга. Чехов симфоничен — эта фраза стала общим местом, но в ней правда. Его герои освещают один другого, все связаны круговой порукой ансамбля. Если фальшивит гобой, разве достанет нам утешения от верно взятой скрипичной ноты?.. Вот управляющий именем Шамраев пристаёт к Тригорину: «Как-то Константин Гаврилыч застрелил чайку, и вы поручили мне заказать из нее чучело». «Не помню, — отвечает Тригорин, подумав. — Не помню!» Через некоторое время управляющий вновь заводит разговор о чучеле, и Тригорин опять твердит: «Не помню! Не помню!» Все-то он помнит, но не хочет помнить, не хочет показать, что помнит, гонит от себя воспоминания, а может быть, и «Славянский Базар», гостиница, где встречались они с Ниной, как герои «Дамы с собачкой», промелькнул в это мгновение перед его мысленным взором. ...Что же Л. Губанов? «Не помню», — отвечает он таким лениво-равнодушным, таким искренним тоном, что и впрямь понимаешь: этот действительно не помнит, просто забыл: и все, как не было...



Треплев (Олег Стриженов).

К финалу, к роковому треплевскому выстрелу, что-то случается в спектакле, создавая вдруг тревожную, музыкальную атмосферу. Сцена игры в лото настраивается на голос Маши, называющей цифры вытянутых фишек. И. Мирошниченко читает бесстрастно и монотонно и только после выстрела, одна раньше всех догадываясь о том, что произошло, меняет интонацию, и этот странный изболевшийся человеческий голос мы уносим с собой из театра, как знак, как символ того, чем бы мог стать для нас этот спектакль.

Самоубийство Треплева отзовется потом смертью Актера. Но это будет уже в совсем другой пьесе.

На сцене «Современника» — ночлежка, построенная художником П. Кирилловым. Занавеса нет, поэтому еще до начала спектакля мы можем внимательно рассмотреть кровати, нары, печь, тряпье. Подробная декорация откровенно символична. Все дело в двери, отворенной вверху слева, и лестницах с двух сторон, сползающих на сцену. Окон нет. Физическое ощущение духоты. Солнечный луч, проникающий из-за двери, диагонально разрезает пространство и усиливает это ощущение. Серые тени устало шевелятся в полутьме рассвета. Здесь камера, подвал; отсюда по своей воле не выходят.

У Горького в третьем акте пьеса вырывается во двор, в весну. В спектакле, поставленном Галиной Волчек, такое случится просто не могло бы. «Мне и хочется на волю... Цепь порвать я не могу», — поют в спектакле.

Лестницы долго ведут на волю. Чаше по ним спускаются. А если и поднимаются, то в кабак, или в тюрьму, или на пустырь, как однажды удалось Актеру. Основное движение — вниз, так привычнее, спокойней. Здесь свое общежитие, свои законы. Подметать — очередь Актера.

«Современник» ставит «На дне» в традиционной, классической манере. Я бы назвал спектакль «мхатовским», имея в виду высокий, незатуманенный смысл этого слова. Хороший актерский ансамбль, культура сценического поведения — таковы первые приметы новой постановки.

Но спектакль «Современника» лишь внешне традиционен. Театр отчетливо сознает, что Горький написал пьесу не о босяках. Мир ночлежки при всей кажущейся натуральности быта все-таки очень условен. Физиологией там не пахнет.

Герои «На дне» говорят ненатурально и неправдоподобно много. Это отмечал А. Толстой: «Разговоры их неверны, преувеличены». В сущности, они все резонеры, кого ни возьми. Не только Лука, Сатин, но и Бубнов, Клещ, даже сравнительно молчаливый Татарин словно соревнуются в сентенциях и спорах относительно того, как и зачем жить. Дело здесь не столько в безысходности судьбы персонажей, их социальном и человеческом разложении, сколько в художественном приеме: пьеса Максима Горького отражала действительность в форме философской, а не бытовой драмы.

Вот, кстати, главная причина ее столь долгой жизни на театре в разных странах мира.

Проклятые вопросы: зачем жив человек? что есть правда? что есть совесть? — яростным криком срываются с уст обитателей ночлежки. Ярость в спектакле «Современника» порой достигает такой силы, что кажется, будто это не Лука, а Алеша Карамазов тихо и твердо отвечает Пеплу на вопрос о существовании бога: «Коли веришь — есть; не веришь — нет... Во что веришь, то и есть...»

О полемике Горького с Достоевским сказано и на-



Сатин (Евгений Евстигнеев)
и Актер (Валентин Никуллин).

писано немало. Горький повторял без устали, что ему ненавистно страдание, как философская и нравственная идея. В заочном споре с творцом «Карамазовых» Горький доходил до крайностей: «Акакий Акакиевич, «станционный смотритель», Муму и все другие «униженные и оскорбленные» — застарелая болезнь русской литературы, о которой можно сказать, что в огромном большинстве она обучала людей прежде всего искусству быть несчастными».

Можно понять эти слова, если вспомнить, что написаны они в 30-е годы, когда перед советской литературой стояла первостепенной важности задача — воссоздать героический образ новой, социалистической жизни, нового, свободного человека. Именно в те годы Горький назвал пьесу «На дне» вредной, а ее главного героя Луку — «холодной душой», «утешителем-профессионалом».

Между тем чувство сострадания «униженным и оскорбленным» никогда не покидало книги Горького. Нравственная традиция русской литературы нашла в нем одного из своих преемников.

Другое дело, что Горькому была чужда пассивная ая гуманность. Писатель проповедовал деятельную любовь к людям. Гуманизм Горького, вбирая в себя общечеловеческие требования совести, доброты, сострадания, был проникнут социалистическим, революционным сознанием, и оно решительно определяло направление и перспективу нравственных поисков художника.



Пепел (Олег Даль) и Сатин (Евгений Евстигнеев).

Я напоминаю давно известные вещи. Они прямо связаны со спектаклем. Вслед за другими советскими театрами¹ «Современник» разрушает сложившуюся в 30-х годах школьную концепцию «утешительства» Луки и противопоставления его Сатину.

Странник Лука в исполнении Игоря Кваши — идейный и нравственный центр спектакля. От него исходят прямые нити в нашу современность, в наши споры о народности искусства, о сущности социалистического гуманизма. Герой И. Кваши воплощает традицию народной нравственности, закреплённую в устойчивых идеалах и обычаях поведения перед лицом человеческого несчастья, подлости, разложения. Можно без преувеличения сказать, что за Лукой — Россия, он ее кровная, неотторжимая часть.

Те, кто «на дне», из России выпали. В этом духовный смысл драмы.

Кваша играет неровно. У него есть отличные сцены, есть неудачные. Но рисунок образа ясен и строг. Его Лука — человек деятельного и естественного добра.

Для Луки существуют не только непреложные истины, но и спорные. Важно подчеркнуть, что это размышляющий и потому нередко ошибающийся человек. Но он живой, ибо верит — «человек рождается для лучшего». Старик имеет точку опоры и со спокойной твердостью всматривается в жизнь, до которой все еще жаден и любопытен.

Социальное положение Луки и, скажем, Бубнова мало чем отличается: оба нищи. Степень духовности разная. Сохранить в себе человеческое, несмотря ни на что, выстоять в жестоких обстоятельствах — вот чему, в сущности, учит Лука не столько

словами, сколько самим фактом своего существования.

Все это написано Горьким и поставлено «Современником». Герои «На дне» раздавлены не только жизнью, но и собственным устоявшимся безверием. Из одного не с обязательной последовательностью вытекает другое. Конечно, условия жизни необходимо изменить, чтобы дать людям новую возможность приблизиться к самим себе — здесь высший смысл революции. Однако далеко не каждый воспользуется и этой новой возможностью.

Быть человеком — самое трудное дело на свете. Его успех в равной мере зависит и от внешней жизни и от нас самих.

Центральные образы спектакля, каждый по-своему, несут эту простую и вечную мысль.

Евстигнеевский Сатин — актер больше Актера. В нем подчеркнут элемент рисовки, которая часто мешает пьесе, но выручает спектакль.

Без пьяного или непохмелившегося Сатина, без почти мейерхольдовского аттракциона карточной игры спектакль «Современника», наверное, был бы скучнее.

Как и без Актера — Валентина Никулина, всплывшего наконец своего Беранжера:

Господа! Если к правде святой
Мир дорогу найти не сумеет —
Честь безумцу, который навел
Человечеству сон золотой!

В первых двух случаях выручает «педаль», эксцентрика. Последний более сложный и эстетически более значительный.

«Золотой сон», навеянный Лукой, помог Актеру ощутить точку духовной опоры, ощутить не вовне, а внутри, в самом себе. Он не Беранже, он себя, человека, вспомнил и уже не в состоянии жить так, как жил раньше.

Это очень важное обстоятельство, именно оно при-

¹ Назову три спектакля последних лет — в Ленинградском театре драмы имени А. С. Пушкина, в Кировском областном драматическом театре имени С. М. Кирова, в Горьковском театре драмы имени А. М. Горького.

водит Актера к физической гибели. На поиски «правды святой» не хватает ни сил, ни воли. Остается уйти совсем.

Никулин замечательно проводит четвертый акт. У Актера почти нет текста, но вся его в черном бархате худая, изношенная фигура, бледное, светящееся лицо передают свершающуюся духовную работу... Он уходит умирать почти спокойно, с достоинством, никого не простив, ни с кем не простившись..

Мне и хочется на волю... Эх!
Цепь порвать я не могу.

Актер умирает человеком. Его самоубийство не жест отчаяния, а сознательный выбор. Он первым порвал цепь, первым испортил песню.

Кажется, очередь за Сатиным.

Сатин — симпатичная фигура. Герой Евстигнеева даже пьет талантливее и умнее остальных. Совершенно непостижимы для зрителя его хронические неудачи на карточном поприще. Такой шулер часто бит не будет.

Но он шулер, и это факт. Его рассуждения не подкреплены реальным обеспечением. Он перебрасывается словами, как картами. Если бы не «старик», мы бы так и не узнали, что он мог быть другим.

Лука подействовал на Сатина, «как кислота на старую и грязную монету». Проповедь пьяного шулера неожиданно посвящена человечности.

Галина Волчек чисто театральными жестами подчеркивает эту преемственность. Мизансцены строятся так, что место отсутствующего Луки то и дело занимает Сатин.

В финале спектакля он сидит на кровати, где умирала Анна и где ее провожал Лука. Барон склоняется на плечо Сатину, совершенно как Актер к Луке.

Наверное, в эти минуты зрители вдруг замечают на голой груди Сатина непропитый серебряный крест.

Сатин понимает, что «старик прав», прав в изначальном. Сатин уточняет акценты. Он корректирует теорию, а в моменты сильного опьянения еще и страдает ближнему.

Трезвый Сатин гуманизму неподвластен. «Ты всегда добрый, когда выпьешь...» — замечает Барон (арт. А. Мягков).

Сатин и хочет быть человеческим, но уже не может. Он многое забыл и утратил. Он не может любить отдельного человека, поэтому обречен любить все человечество в целом, а значит, не любить вовсе.

Нравственная трагедия Сатина — в понимании этого жестокого парадокса.

В пьесе Горького, в спектакле «Современника» две истинно трагические фигуры. Петля, захлестнувшая Актера, приближается к Сатину. Руки Евстигнеева в

финале спектакля чувствуют веревку на собственной шее.

Как жаль, что Евстигнеев только намечает, но не играет судьбу своего персонажа! Вместе с режиссером он больше озабочен полемическим «снижением» образа. Ключевые фразы сатинского монолога Евстигнеев готовит особенно тщательно, и эта тщательная «антихрестоматийность» нередко выводит роль за рамки искусства, в разряд журнализма.

Смоктунувский в «Гамлете» произносит «Быть или не быть?» так, что зритель может и не запомнить специально этого момента. Евстигнеев произносит: «Человек! Это звучит гордо!» — нарочито, почти как эстрадную репризу!

Мейерхольд вспоминал: Станиславский драпировался в живописные лохмотья Сатина, «как Сезар де Базан в плащ». Мейерхольду нравилась романтическая трактовка роли. На фоне натуральных, художественно-общедоступных босюков Сатин выделялся своей театральностью. Его монолог звучал как призыв, как надежда, как грядущее возмездие. В исполнении Станиславского жил театр, осознающий себя не жизнью, а поэзией, не Хитровым рынком, а большой дорогой, по которой еще бродят шиллеровские разбойники.

Евстигнеев бежит пафоса, драпируясь в живописные лохмотья иронии. Лишь в очень редкие минуты с души его героя вдруг спадают покровы, и мы видим, что на дне ее брезжит все та же, горьковская мечта о свободном и прекрасном человеке.

Время не в силах изменить характеры пьесы. Меняется их наполнение. Евстигнеевский Сатин зовет нас ценить человеческое в поступках и не доверяться одним словам, как бы красиво они ни звучали.

Вспоминая Герцена и Эйхенбаума, скажем так: это хочет видеть партер, но это заложено и в пьесе. Время от времени в спектакле наступает момент гармонии, когда сцена становится современной зрителю, ничего не утрачивая в объективном содержании исторической драмы.

Есть редкие постановки, которые в этом смысле законченны и гармоничны. Например, «Три сестры» Немировича-Данченко, «Мещане» Г. Товстоногова.

«Современник» не добился чистоты и ясности стиля, но он попытался раскрыть многозначность и новую глубину классических образов. Воскресив «Чайку», МХАТ напомнил о неисчерпаемости чеховской драматургии, но не воспользовался возможностью ее нового постижения.

¹ Последующие после премьеры спектакли актер проводит строже. Грубо говоря, Сатин в четвертом акте выпивает сейчас водки меньше, чем раньше. Это идет на пользу и ему и нам.



Д. Милютин

ОДИН ИЗ ЛЕНИНСКОЙ ГВАРДИИ

В наши дни уже немногие помнят имя Н. А. Милютин, еще меньше осталось людей, которые знали его лично. Между тем в свое время Николай Александрович Милютин был широко известен — и по своему революционному прошлому и как государственный деятель, формировавшийся под руководством Ленина.

Я попытаюсь перечислить некоторые страницы из жизни Николая Александровича, обрисовать главные штрихи его личности, и, если мне это удастся, — надеюсь, это поможет юному читателю глубже проникнуть в суть того высокого и светлого, что мы связываем с понятием «ленинская гвардия», «ленинец»...

Впервые я увидела Н. А. Милютин в начале 30-х годов на заседании Совнаркома РСФСР, где мне приходилось в те годы бывать довольно часто. Останавливало на себе внимание это несколько сухощавое, сосредоточенное и энергичное, волевое лицо, на котором светились умные темно-голубые глаза с острым и зорким взглядом, какой бывает обычно у художников. Его выступления были предельно лаконичны и убедительны, но не сухи: речь свою он любил сдабривать шуткой — когда доброй, а когда и довольно ядовитой. Слушали его обычно с большим вниманием...

Несколько позднее мне вдруг неожиданно открылись какие-то новые грани, новые черты этого человека...

Осенью 1932 года мы встретились в крымском санатории «Форос». Зайдя как-то в центральный корпус (так называемый «Дворец»), я увидела там за столом Николая Александровича. Он лукаво улыбался, а вокруг него столпились человек десять отдыхающих. Все напряженно следили за его руками. «Милютин показывает фокусы», — сказали мне. Признаюсь, я была тогда несколько озадачена...

В тот же вечер в санаторий приехали гости из соседнего дома отдыха. Стихийно возник концерт, и Милютин, обладавший приятным тенором, много пел. Потом он танцевал, вообще веселился с искренностью и непосредственностью юноши. Таким он, собственно, и остался в моей памяти — живым, веселым, энергич-

ным, общительным, а главное, чрезвычайно простым в отношениях с людьми.

Это был человек больших и поразительно многосторонних интересов. И что характерно: почти ни один из милютинских интересов не оставался только «книжным» — Николай Александрович был человеком многих знаний и умений.

Он любил, например, живопись и не был в ней дилетантом. Еще в 1910 году, живя в Петрограде, он поступил в училище технического рисования Штиглица, где проучился около 4 лет; революционная деятельность вытеснила на время это любимое увлечение. Некоторые его живописные работы останавливают и сейчас внимание знатоков.

Николай Александрович любил молодежь. Его приезд в «Форос» становился подлинным праздником для местных комсомольцев: в то время, когда отдыхающие проводили время на пляже, он обычно «загорал» в форосском молодежном клубе, с увлечением рисуя декорации для самодеятельных комсомольских спектаклей. Комсомольцы отвечали ему трогательной любовью; по их инициативе форосскому клубу присвоили в свое время имя Н. А. Милютин.

Очень любил Милютин и маленьких детишек. Он постоянно сочинял для них чудесные сказки «с продолжением», которыми они заслушивались, вырезал из дерева занятные игрушки, зимой неумоимо строил снежные крепости, устраивал веселые маскарады. Фантазия его была поистине неистощима.

В юности Милютин был столяром и на всю жизнь сохранил любовь к работе с деревом. Своими руками он смастерил, например, искусно вделанный в стену своей квартиры секционный дубовый буфет красивых пропорций. Сделал пятиместную парусную яхту. В его архиве и поныне лежит несколько государственных авторских свидетельств на самые разнообразные технические изобретения. Он мечтал построить своими руками деревянный дом и наверняка построил бы его, если б не война, а потом и безвременная смерть...

А ведь все эти годы Милютин попеременно возглавлял различные народные комиссариаты (социального обеспечения, финансов), был председателем Малого Совнаркома, одним из руководителей народного образования, руководил кинофикацией нашей страны...

Глубочайшее влияние на Милютину оказали ленинские идеи и годы непосредственного общения с Владимиром Ильичем. Как и многие бойцы ленинской гвардии, Николай Александрович весь смысл, всю радость жизни видел в строительстве нового мира, понимал эту задачу широко и многосторонне и ее решению отдавал все способности, всю энергию души.

К революционному движению Николай Милютин примкнул, когда ему исполнилось 15 лет.

В 1905 году, во время знаменитых январских событий, Коля Милютин шагнул в рядах демонстрантов к Зимнему дворцу. Потом вместе с рабочими он громил полицейский участок, отбивал арестованных. Этот эпизод, пожалуй, и можно считать началом его партийной биографии, хотя формально в партию большевиков Милютин вступил спустя три года.

К этому времени он успел уже поработать столяром, учеником в рыбном ларе отца, затем учеником на кожевенном заводе, больше года плавал учеником матроса на шхуне «Мария». Все это, конечно, обогатило его жизненными впечатлениями, но он хотел учиться, мечтал стать архитектором, а для этого не хватало образования. Николай решил поступить в Вольный политехникум — учебное заведение для рабочих и разночинной интеллигенции. В 1908 году он был принят туда на архитектурный факультет.

Связь с Вольным политехникумом стала как бы рубежом в жизни Милютину. Здесь в 1908 году он вступил в партию большевиков, участвуя в создании социал-демократического кружка, а вскоре стал одним из его руководителей — членом исполнительной тройки.

В конце 1909 года Вольный политехникум («рассадник вольнодумства») был закрыт. Николай Александрович поступил на службу в Российское транспортное страховое общество и долгие годы проработал в области страхования — это была целая полоса в его жизни и до и после революции. Но главной для него оставалась деятельность в большевистском подполье.

В мае 1915 года Милютин стал секретарем больницы кассы крупнейшей фабрики «Скороход», а заодно и партийным организатором Московского райкома; ему было поручено воссоздать на фабрике большевистскую организацию, которая развалилась в результате провалов и арестов.

Это была первая серьезная проба сил молодого подпольщика; здесь по-настоящему проявились его организаторские способности. Больничная касса фабрики «Скороход» вскоре стала одним из блестяще организованных конспиративных центров большевиков Питера. К концу 1915 года на «Скороходе» было уже около 200 членов партии — и ни одного провала!

Стоит привести отрывок из воспоминаний Милютину, чтобы показать, с какой находчивостью и остроумием использовали тогда большевики легальные возможности для дела революции:

«Помещение больницы кассы при фабрике «Скороход» фактически стало штабом организации, где было сосредоточено все основное ядро работников района. Но как это достигалось? Помещение больницы кассы было нами перестроено таким образом, что ни один человек не мог пройти в кассу, не будучи замеченным нами. Все сотрудники были прилично одеты — мужчины в «галстучках», дамы завиты. Словом, вполне «порядочное» учреждение.



Николай Александрович Милютин.

Очень следили мы за чистотой и порядком, за тем, чтобы не было лишних бумаг. Ни одна прокламация не задерживалась в кассе больше пяти минут. Заседания бюро райкома происходили, как правило, в трактире против Сенного рынка — за приличной закуской и подобающей «выпивкой», что тоже отводило всякие подозрения.

Строжайше соблюдалось одно правило: ни один человек, работающий в кассе, не вправе держать при себе или в помещении какую-нибудь нелегальщину. Поэтому частые обыски ничего не давали полиции.

Внешне отношения работников кассы с администрацией завода были вполне вежливыми и лояльными. Дело дошло до того, что один из наиболее черносотенных и подозрительных директоров, Александр Карлович Гартвиц, как-то заявил: «Наконец-то больничная касса имеет приличный вид и настоящего бухгалтера, а не какую-то шантрапу».

Бухгалтером этим был не кто иной, как М. Н. Федоров, председатель бюро райкома большевиков. И не кто иной, как черносотенный Гартвиц прибавил ему жалованье за очень интеллигентный вид и знание дела... Кстати сказать, о бухгалтерии Федоров имел весьма смутное представление, и бухгалтерские отчеты за него составляли другие товарищи. Благодаря сложившимся отношениям все сотрудники кассы имели свободный проход через все ворота завода, чем, конечно, частенько пользовались!

Итак, касса всегда была «чистой». А все, что нужно было хранить конспиративно, хранилось либо в архиве кассы, в особом деле № 1234, либо в письменном столе председателя правления товарищества «Скороход», кабинет которого всегда пустовал и к которому у нас был запасной ключ. Знали об этом только два человека.

В конце 1915 года, в самый разгар первой мировой войны, Милютин был призван в царскую армию и направлен в 308-ю пешую дружину. Антивоенная работа в армии была тогда одной из главных задач партии, и Милютин прошел здесь отличную школу большевистского пропагандиста.

Революционные настроения в 308-й дружине нарастали очень быстро, и это, конечно, не ускользнуло



Хаджи Мурат Дзарахохов.

от «недремлющего ока» охраны. За несколько дней до Февральской революции по предписанию охранного отделения Милютин был арестован. Сочувствие большинства роты было на его стороне, но отстаивать его открыто было опасно. Тогда командир сводной роты П. И. Чупатов, сочувствовавший революции, якобы «для выяснения дела» сумел на несколько дней задержать Милютину в помещении Лесного арестного корпуса, откуда он 26 февраля благополучно бежал.

На другой же день Милютин при помощи Чупатова поднял восстание в сводной роте 308-й дружины. А еще через день Николай Александрович с группой товарищей захватили все артиллерийское имущество роты и вместе с большевистской организацией Политехнического института и восставшей 3-й ротой проникли в казармы и разоружили полк самокатчиков на Выборгской стороне, а отобранным оружием снабдили рабочих района.

Это была очень важная победа. Вскоре после взятия казарм был создан Революционный комитет.

Только теперь Милютин смог снова вернуться в Московский район. В это время больничная касса «Скорохода» была уже центром политической жизни района. Отсюда нити расходились к Советам и к Государственной думе; отсюда направлялось формирование Красной гвардии в районе.

Зрелость Н. А. Милютина как партийного работника и опытного революционера полностью проявилась в боях за революцию.

...Бурно развивались события от Февраля к Октябрю. Каждый месяц менял расстановку сил, требовал от большевистской партии гибких политических решений. Одним из крайне острых моментов в те дни был, как известно, корниловский мятеж. К Петрограду стягивались контрреволюционные части, среди которых важной ударной силой считалась так называемая Дикая дивизия. В ее переходе на сторону революции важную роль сыграл Николай Александрович Милютин.

Наиболее опасным участком борьбы была тогда Красная Рогатка, куда Корнилов и направил главный удар. Чтобы ослабить влияние меньшевиков и эсеров в Советах и укрепить этот участок, большевистская фракция Московско-Заставского района создала здесь революционный штаб. Председателем его был назначен шлиссельбуржец Яков Михайлович Штейн; Михаил Николаевич Федоров — начальником политического отдела, а Николай Александрович Милютин — командующим вооруженными силами района.

...Под Красной Рогаткой в те дни было чрезвычайно тревожно, казачьи налеты становились все чаще. Военно-революционный комитет бодрствовал день и ночь.

И вдруг... В наиболее напряженный момент со стороны Путиловской ветки послышался цокот копыт. В штабе все замерли: ведь у красных нет ни одного конного... Неужели казачий налет? Но предоставим слово самому Милютину, который подробно описал этот эпизод:

«Вот всадники подъехали к углу... Свернули в переулок к штабу... Кто-то тяжело поднимается по лестнице... Оборачиваюсь к дверям: вошедших трое — три офицера! Изображаю на лице спокойное равнодушие, а палец в кармане шинели — на гашетке кольта.

— Что скажете?

— А нам надо вашего главного начальника.

— Вот начальник штаба, а я командующий Красной гвардией района.

— Мы сдаемся, — говорит ближайший горец. — Меня зовут Хаджи Мурат Дзарахохов. Мы представители татарского горского полка. Нам сказали, что в Петрограде резня и надо установить порядок. А здесь делегаты Советов рассказали нам совсем другое. Мы не хотим больше идти с князьями и решили вернуться в свои аулы. Мы не будем убивать петроградских рабочих.

Высокий горец с седыми усами что-то говорит Хаджи Мурату. Тот переводит:

— Это командир сотни. Спрашивает: отпустите ли вы их всех на родину, если они перейдут к вам?

— Видите ли, друзья, — ответил я, — этот вопрос я один решить не могу. Прошу вас посидеть здесь, а мы обсудим ваше предложение. Но сперва — пара вопросов. Во-первых, как вы проникли сюда, где перешли линию фронта, по каким дорогам ехали? Затем, сколько у вас людей, что думает ваше командование о переходе к нам?

Хаджи Мурат на минуту задумался. Отвечал медленно, вода пальцем по столу.

— Ехали мы от Кронштадта¹. Дороги хорошо не знали. Я урядник, пожалуй, один говорю по-русски. Придем все. Те, что приехали со мной, — делегаты. Нам верят. Дайте пропуск через фронт, и мы приве-

¹ Надо полагать, от Ораниенбаума, Хаджи, видимо, ошибся (примеч. Н. А. Милютина).

дем всех людей, если обещаете нас не тронуть и отпустите домой.

— Ладно, подождите.

Забираю шапки и кинжалы. Идем в соседнюю комнату. С нами несколько красногвардейцев.

— Ну?!

— Плохо,— говорит Штейн.— Они видели, что у нас на фронте дело дрянно. Прорваться — пустяки. Надо их расстрелять и отходить на вторую линию. Провокация!»

Убедить Штейна Милютину не удалось. Создалось безвыходное положение. Третьего члена Ревкома, М. Н. Федорова, в штабе не было. И Милютину пришлось решать единолично.

«— Как командующий вооруженными силами района,— заявил я,— беру все на себя.

Яков согласен. Идем. Возвращаю Хаджи Мурату оружие и говорю:

— Мы вам верим, приведите всех несогласных выступить против народа. Кто захочет, может уезжать домой, а кто пожелает, останется с нами.

Быстро заговорили делегаты... спор... Ясно, я не ошибся. Хаджи убеждает в чем-то седого. Потом говорит:

— Верьте нам. Пусть, кто захочет, останется с нами. Я тоже не поеду домой. Я бедный человек и буду с рабочими. Мы благодарим вас за доверие и не обманем. Оставьте одного из нас заложником.

— Не надо. Поезжайте.

— А пропуск?

— Мы скажем, чтобы вас пропустили. Поезжайте.

Ушли. Снова пропикали подковы. Посылаю гонцов по заводам и на Бычью ветку — на всякий случай предупредить.

Проходит пара горячих часов.

— Ну, пора всем на баррикады. Теперь каждую минуту можно ждать...

Хмуро стоят красногвардейцы. Никто не трогается с места. Я начинаю кипятиться — результат тот же. Ясно: они решили не оставлять меня одного. Пробую ругаться — тоже не помогает. Люди сурово молчат, готовые на все.

— Что же это такое? — кричу я. — Я один пойду на баррикады, если у вас нет сознания ответственности за судьбу города...

Меня окружают плотным кольцом. Чувство какой-то безграничной близости к этим людям волной заливают грудь. Вместе с тем как-то особенно остро почувствовал огромную, свыше человеческих сил, ответственность за их жизнь.

— Да там трамвайщики,— говорит кто-то.— А уж ежель и мы с тобой подоспеем...

Но доказывать что-либо уже поздно. Слышится громкий цокот сотен копыт. Вот они смолкли. Идут. Впереди Хаджи Мурат. Берет под козырек и рапортует: «Такие-то сотни татарского конного полка явились в распоряжение трудового народа...»

...Через полчаса на площади митинг, горят костры. Внимательно слушают горцы незнакомую речь. Но вот Хаджи Мурат берется переводить. Он багровеет, его череска в свете костра напоминает крылья гигантской огненной птицы.

Война войне!

Мир хижинам — война дворцам!

Землю и власть народу!

Долой князей!

Громкие гортанные крики кавалеристов заглушают колокольный звон, которым кто-то в азарте решил приветствовать горцев. От Путиловской ветки до Московских ворот все забито вооруженными. Высоко над ними реет алое знамя. В воздухе звенит радость: опора Корнилова — Дикая дивизия у нас!»

Трудно вместить в рамки журнальной статьи даже беглый обзор милютинской жизни. Был в ней и штурм Зимнего, в котором немалую роль сыграл отряд Красной гвардии Московско-Заставского района под командованием Милютина (кстати, этот отряд одним из первых ворвался в Зимний)... Были первые дни Советов, переполненные кипучей работой, требовавшие мобилизации все новых и новых сил...

В декабре 1917 года Николай Александрович был избран председателем Петроградской общегородской больницы кассы. С этого времени и начались его встречи с Владимиром Ильичем, которые продолжались на протяжении всех лет, пока состояние здоровья позволяло Владимиру Ильичу руководить государством.

Все эти годы Николай Александрович пользовался большим доверием Ильича, часто получал непосредственно от него поручения, имел счастье учиться у него, наблюдать неповторимый ленинский стиль работы, его отношение к людям. Он постоянно видел перед собой пример необычайной нравственной силы и красоты, изо дня в день соприкасаясь с великим Человеком эпохи...

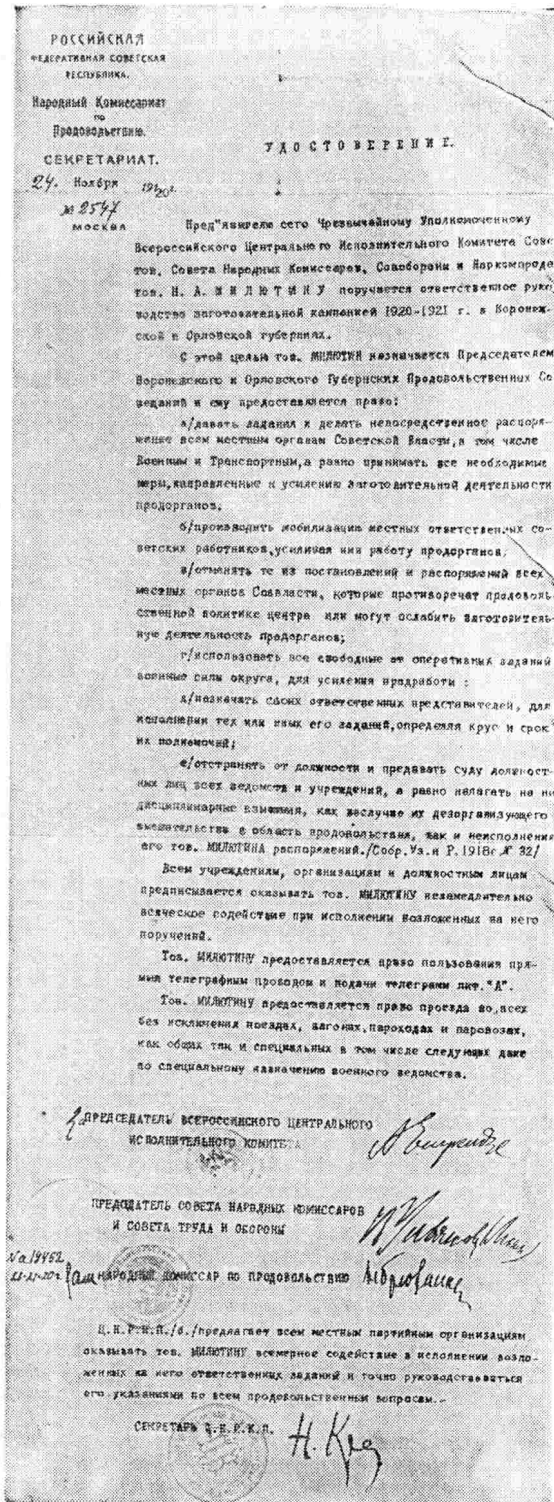
Стоило бы, наверное, рассказать об усманской истории на Тамбовщине (1918 г.), когда Милютин раскрыл контрреволюционный офицерский заговор и сорвал его. Об этом с ним потом более двух часов беседовал Ленин...

Или о 1919-м, когда Милютин был назначен членом коллегии Народного Комиссариата труда и членом Малого Совнаркома и начал свои первые шаги как государственный деятель. В то время он виделся с Владимиром Ильичем почти ежедневно, постоянно испытывая на себе его влияние. Ему приходилось часто сталкиваться и с ближайшими соратниками Ленина. Все, что он наблюдал, жадно впитывалось, откладывалось в душе. Воспоминания об этом светлом, хотя и очень трудном времени навсегда вошли в сердце Милютина как ощущение огромного счастья.

«Чудесные, почти нереальные по внутренней красоте и одухотворенности товарищи по работе,— вспоминал потом Милютин,— заставляли просто не замечать очень тяжелой материальной обстановки работы. Помещался Малый Совнарком в маленькой комнатке, где печь была разобрана «для ремонта», где ожидавшие очереди докладчики сидели в соседней комнате в абсолютной темноте. Тогда по месяцам не приходилось раздеваться, в моей спальне (она же и кабинет и столовая) было по Реомюру 12° холода, и погреться удавалось лишь в нашей милой столовке Совнаркома. Но светлым воспоминанием радости и счастья навсегда останется совместная работа с Владимиром Ильичем, Феликсом Дзержинским, Михаилом Фрунзе и другими товарищами».

Или о 1920-м — годе напряженнейшей борьбы за хлеб.

В сентябре 1920 года Н. А. Милютин назначается ответственным руководителем заготовительной кампании в Орловской губернии, где дела с заготовками обстояли неважно: план заготовок был выполнен на 11%... Благодаря энергии Милютина и его организаторскому опыту, а главное, его умению привлечь к этому делу местных работников и воодушевить крестьянскую бедноту, миллионы пудов хлеба, картофеля, овса пошли из Орловской губернии в столицу. В начале ноября, когда Николай Александрович при-



Ленину. Его мучили сомнения: правильно ли он действовал на Орловщине, опираясь на расхождение деревни, оказывая помощь семьям красноармейцев, бедноте,— ведь все это он делал на свою ответственность... Владимир Ильич не только одобрил его инициативу, но тут же позвонил в Наркомпрод и дал указание, чтобы там разрешили действовать так впредь и не только одному Милютину...

Приободренный Лениным, Милютин рассказал ему, что он на свой риск послал кое-что и в наиболее голодные районы Орловщины, чтобы подкормить голодающих ребят. Владимир Ильич одобрил и это и тут же вторично позвонил в Наркомпрод и поручил организовать общественные столовые в голодных районах Орловской губернии.

Потом Владимир Ильич пылливо расспрашивал Милютину о настроениях крестьян, о том, как они относятся к Советской власти, как провели озимый сев и т. п. В конце беседы он сказал:

— Это хорошо, что вы расшевелили губернию и дали продовольствие городу. Сейчас это самое главное. Но если хватит времени, загляните и вперед. Будете в Москве, расскажете.

«Ушел я от Владимира Ильича,— заключил Милютин,— как никогда уверенный в том, что надо делать».

Когда план разверстки по Орловской губернии был выполнен больше чем на 80%, Николаю Александровичу предложили поехать для налаживания продовольственной работы в Воронежскую губернию, где обстановка была еще сложнее. На севере губернии орудовал Антонов, на юге — Колесников. Непокойно было и в ряде других районов. Продразверстка была выполнена на... два процента.

Учитывая эти обстоятельства, Николай Александрович попросил у Ленина полномочий на безоговорочное подчинение ему всех советских, партийных, военных сил, транспорта и т. д. После длительных переговоров между различными ведомствами такое удостоверение было подписано Лениным.

...Напутствуя Милютину перед отъездом в Воронеж, Владимир Ильич подчеркивал, что в любой обстановке главное — сделать максимум возможного для укрепления Советской власти на местах, обучить низовых работников самостоятельным действиям.

— Ведь вы уедете,— говорил ему Ленин,— а они останутся. Надо преодолевать местнические тенденции и настроения, надо действовать быстро и решительно, но вместе с тем вести дело так, чтобы население чувствовало местную власть и училось ее слушаться. Говорят, что в Орловской губернии в результате продовольственной кампании Советы укрепились. Вот если удастся сделать это и в Воронеже, то будет решена большая задача.

Следуя этим ленинским указаниям, Милютин сплотил партийные силы и пролетариат губернии, и это позволило одержать победу: были разбиты все контрреволюционные силы, подавлены открытые восстания эсеров, ликвидирован саботаж. Что же касается продразверстки, то она была выполнена на 92 процента.

За время работы в Воронежской губернии (с декабря 1920 по март 1921 года) Милютин успел довольно близко познакомиться с деревней и при первой же встрече с Владимиром Ильичем поделился с ним своими сомнениями в правильности нашей политики перераспределения урожая между крестьянами. «До продналога,— чистосердечно признавался потом Милютин,— я, правда, тогда не додумался, но говорил

ехал в Москву, ему на другой же день сообщили, что его хочет видеть Владимир Ильич. Милютин не раз вспоминал о том чувстве внутренней неуверенности, с каким он на этот раз шел к

Владимиру Ильичу, что мы делаем что-то не то, убивая у крестьян стимул к поднятию урожая».

Владимир Ильич, внимательно слушавший Милютину, предложил ему продумать, что, с его точки зрения, можно сделать для бедноты, если мы откажемся от перераспределения урожая и будем брать у крестьян не все излишки.

— Вы крестьянство теперь знаете. Подумайте над этим хорошенько. Если что придумаете, скажите.

Вернулся Николай Александрович в Москву в начале марта 1921 года. Он успел продумать предложение Ленина и при встрече с ним выдвинул целую систему мероприятий, сводившихся к созданию крестьянских комитетов взаимопомощи. Заодно Милютин признался, что в одном из уездов Орловской губернии, а именно Мценском, он такой опыт уже проделал, и результаты получились положительные.

Владимир Ильич очень заинтересовался этой «запечкой» (по его выражению), но сразу никакого решения не принял, а лишь посоветовал Милютину в Наркомтруд не возвращаться, а поехать в одну из «запущенных» губерний для налаживания работы.

После разговора в ЦК остановились на Перми. «В Пермь, так в Пермь», — решил Милютин. Но предварительно он заехал в Петроград, на свою старую квартиру, он не был там с 1919 года. Неожиданно пришла телеграмма — немедленно выехать в Москву. В Москву значило к Ленину. На другой день Милютин был в Кремле.

— Вот какое дело, — сказал ему Владимир Ильич. — Сейчас же садитесь и напишите коротенькие тезисы о ваших крестьянских комитетах. Только строго деловые, конкретные, не больше полутора-двух страниц... без всяких мотивировок, вступлений, что именно, по-вашему, надо сделать.

Когда Милютин сформулировал свои предложения и принес их, Владимир Ильич, по словам Николая Александровича, дважды прочел записку. Однако сразу никакого решения опять не принял, а предложил Милютину подобрать несколько человек и послать их в разные деревни, чтобы на сходах рассказать крестьянам «своими словами» о смысле этих комитетов.

— Все, что скажут сходы, пусть запишут. Важно мнение крестьян. Сами вы не ездите. Ведь на местах придется проводить все рядовым работникам, а вы хоть кого уговорите. Вот и меня почти уговорили. Через недельку соберите их всех, разузнайте хорошенько, что скажут мужики. Потом зайдете ко мне и расскажете.

Только после того, как Милютин представил решения нескольких сходов о создании кресткомов, Владимир Ильич поручил ему написать проект декрета о кресткомах — «только коротенький».

Во время этой встречи между Лениным и Милотиным произошел разговор, который Милютин запомнил на всю жизнь. Посоветовав проконсультировать проект декрета с различными организациями, Владимир Ильич невзначай спросил у Николая Александровича, есть ли у него телефон.

— Нет, Владимир Ильич. Я живу в вагоне. Какой же там телефон!

— Вам придется остаться в Москве. Устраивайтесь как следует, а то у вас вид что-то неважный.

— Да, нездоровится немного. Простудился в Воронеже.

— Надо себя беречь, а то ведь у вас легкие, кажутся, больные. Покажитесь обязательно врачам.

Владимир Ильич сам коснулся этой темы, хотя разговор о плохом здоровье Милютину (у него начинался туберкулезный процесс в легких) происходил, да и то между прочим, за три года до этого. Николай Александрович был поражен. Ничто не ускользало из памяти и внимания Ленина.

Декрет о крестьянских комитетах был подписан В. И. Лениным 15 мая 1921 года.

В 1921 году по предложению Владимира Ильича Николай Александрович был назначен заместителем, а затем исполняющим обязанности наркома социального обеспечения. Здесь его встречи и беседы с Лениным касались проблем очень тонких, очень «непривычных» для тех, кто отождествлял революцию только с суровостью, только с железной диктатурой. Ленин чутко относился к делам Наркомсобеса, называя его в широком плане: «Наркоматом будущего».

Начав работать в Наркомсобесе, Милютин вскоре выдвинул идею об организации специальной кооперации инвалидов; после двух войн осталось множество людей, не приспособленных к труду в обычных условиях, — надо было им помочь.

Владимир Ильич очень живо откликнулся и горячо поддержал эту инициативу Милютину.

Ленина всегда беспокоила мысль о судьбе престарелых, беспомощных людей. В памяти Милютину остался один характерный случай. Когда он докладывал Владимиру Ильичу результаты работ продовольственной комиссии, Ленин очень беспокоился, не забыты ли одинокие старики. «Ведь за них никто не заступится, если мы их забудем», — говорил Ленин. Несмотря на то, что в первых законодательных актах Советской власти вопрос о помощи престарелым был предусмотрен, Владимир Ильич возвращался к этому вопросу несколько раз.

Надо ли удивляться, что Владимир Ильич горячо поддержал милютинскую идею создания кооперации инвалидов!

Как всегда, его помощь носила не общий, а весьма конкретный, практический характер. Ленин предложил дать инвалидам сокращенный рабочий день, светлые, чистые мастерские, лучшие помещения для жилья, полностью освободить их от налогов, создать для инвалидов особые общежития, где бы они имели уход и медицинскую помощь. «Сейчас мы нищие, — говорил Владимир Ильич, — но будем богачами. Для инвалидов, раньше чем для всех, труд должен стать радостью. Вот чего вы должны добиваться».

Когда речь зашла об облегчении инвалидам доступа в учебные заведения, Владимир Ильич позвонил в Наркомпрос А. В. Луначарскому и настоял, чтобы инвалидам предоставлялись преимущества при приеме в учебные заведения и в обеспечении стипендиями.

Опираясь на поддержку Владимира Ильича, Милютин горячо взялся за дело. Повсеместно возникали артели, где люди, потерявшие из-за увечий специальность, обретали новую профессию, возвращались к труду, к жизни. Не преувеличивая, можно сказать, что дело кооперирования инвалидов, сыгравшее огромную роль в судьбах тысяч людей, было детищем Милютину. Когда он ушел из Наркомсобеса в связи с назначением его наркомом финансов РСФСР, буквально сотни писем, телеграмм стали поступать к нему от инвалидов с выражением сожаления и благодарности.

...Вспоминаются похороны Н. А. Милютин. Это было холодным осенним днем 1942 года — в наиболее трудную пору войны. Многие москвичи еще были в эвакуации, и трудно было ожидать, что на похороны соберется много народу. Неожиданно на Новодевичьем кладбище появилась большая группа людей с цветами и венками. Это были представители кооперации инвалидов; они пришли по собственной инициативе — отдать последний долг своему наркомму...

Милютин умер, не прожив и 53 лет. В конце этого года ему исполнилось бы 80.

За долгие годы партийной и государственной деятельности много было в жизни Милютина и тяжелого и светлого. «Но самое светлое, что было в жизни,— это радость работы с Лениным, его теплое внимание, какая-то особая, только ему одному присущая мягкость, какая-то особая человечность».

Н. А. Милютин был профессиональным революционером, солдатом партии и на протяжении всей сознательной жизни выполнял работу, которую ему поручала партия. Но в его душе всегда жила неугаемая страсть к архитектуре, которой он увлекался с юных лет. Он много читал, жил в мире архитектурных идей, следил за всем новым. Лишь после перехода страны на мирные рельсы, став уже известным государственным деятелем, Николай Александрович смог уделять внимание творческой работе в этой области. В течение нескольких лет он был главным редактором теоретического органа Союза архитекторов — журнала «Советская архитектура», создал курс теории архитектуры, который читал студентам Академии художеств в Ленинграде, написал книгу по истории искусства и составил фототеку по искусству и архитектуре, начиная от древних времен до наших дней. Его очень увлекала проблема будущих городов. Не случайно он стал председателем Государственного комитета по строительству новых городов, возглавил в Коммунистической академии секцию социалистического расселения и написал на эту тему книгу, получившую широкую известность у нас в стране и за рубежом.

На творческое «кредо» Милютина-архитектора сильное влияние оказала ленинская мысль, к которой Милютин часто возвращался. В своих воспоминаниях он пишет, что для Ленина человек всегда был целью движения.

Эта мысль глубоко взволновала Милютина. Она направила и определила его архитектурные поиски. Теоретические концепции Милютина-архитектора, талантливые и оригинальные, отмеченные подлинным новаторством, были одухотворены гуманистическими идеями, мечтой о создании таких условий жизни, которые были бы и в культурном и в эстетическом отношении достойны человека социалистического общества.

Наиболее ярко его взгляды отразились в книге «Соцгород», увидевшей свет в 1930 году.

...После появления этой книги о ней много спорили, много писали, были сторонники и противники милютинской теории строительства новых городов.

Но вот что интересно: идеи градостроительства, высказанные Милютиным более 35 лет назад, не только не умерли, а обрели, как говорят, «вторую жизнь» в практике современного градостроительства.

Уже в наши дни вышла книга «Теория города» известного чешского архитектора Иржи Груза, в которой сказано, что «...выдающимся вкладом совет-

ского градостроительства является теория поточно-функциональной планировки, сформулированная в 1929 году знаменитым советским политическим деятелем и архитектором Николаем Александровичем Милютиным, который в те годы был председателем Государственного комитета по строительству новых городов...» Стоит отметить такую деталь: имя Милютина указано на обложке этой книги среди крупнейших градостроителей мира. Оно названо вторым после Корбюзье...

Совсем недавно, выступая в дни выставки архитектуры ФРГ (организованной у нас в Москве), немецкий архитектор профессор Рудольф Хиллибрехт подчеркнул, что «...родоначальником идеи поясного города является советский архитектор Н. А. Милютин, и вклад его в развитие современного градостроительства признан теперь архитекторами всего мира».

Содержание созданной Милютиным теории градостроительства — предмет специальной статьи. Хотелось бы только подчеркнуть, что в самой общей форме в основе этой теории лежит стремление, отклавившись от всякого рода архитектурных и иных «излишеств», — создать наиболее разумные и целесообразные условия для жизни и быта людей. «Как можно больше света, воздуха, зелени, радости, простоты» — вот чего хотел достичь Милютин в строительстве новых городов. Люди, говорил он, должны жить в таких городах удобно, легко и приятно.

Мне хочется отметить здесь еще одну любопытную деталь. Уже выпустив книгу «Соцгород», создав курс теории советской архитектуры, имея за плечами большой опыт главного редактора журнала «Советская архитектура», Милютин формально не имел законченного высшего архитектурного образования. Только в 1935 году он поступил в Архитектурный институт (заочно) и в течение пяти лет прилежно проходил там «курс наук». В 1940 году, за два года до смерти, он получил диплом архитектора.



Глеб Максимилианович Крижановский, наш «штатный фотограф».



В Архангельском. Слева направо: Н. А. Милютин, Д. М. Милютин, Н. К. Крупская, В. Р. Менжинская, Э. Я. Цеткин, М. О. Цеткин.

Заканчивая эти беглые записки, я хочу привести еще несколько штрихов из своих личных воспоминаний. Пусть они не о главном, но мне кажется, что и они нужны для правильного понимания личности Милютина, для понимания той атмосферы, в которой он жил.

...Вспоминается санаторий в Архангельском, куда мы часто с ним ездили.

Царившая там атмосфера дружбы и тепла, высоких духовных интересов, какой-то особой человечности запомнилась на всю жизнь. Постоянными обитателями этого санатория в те годы были: Надежда Константиновна Крупская, Глеб Максимилианович Кржижановский и его жена Зинаида Павловна Невзорова, большой друг Надежды Константиновны, старейший большевик Петр Ананьевич Красиков, сын Клары Цеткин — Максим Осипович Цеткин с женой, Вера Рудольфовна Менжинская. Изредка наезжали Ф. Я. Кон, С. А. Лозовский и другие.

Это были старые большевики, люди крепкой ленинской закалки. Никакие трудности и сложности жизни никогда не могли сломить или поколебать их волю, их высокую идейную убежденность. Такими они оставались и на отдыхе. Здесь во взаимном постоянном общении еще более сказывалась их сложившаяся в десятилетиях классовых боев и испытаний большевистская дружба.

Негласно, но единодушно признанным главой «архангельцев» был Г. М. Кржижановский. Он же был и нашим «штатным фотографом». Его место всегда было во главе стола. Он задавал тон в разговорах, блистая своим неистощимым остроумием и широчайшей эрудицией, подкупая всех исключительно мягким, добрым отношением к окружающим; не поддаваясь обаянию этого человека было просто невозможно. Он любил и подшутить и «поддеть», предвкушая какое-то особое, озорное удовольствие от того, как это воспримут окружающие, и в первую очередь Надежда Константиновна. Стоило ему сказать что-нибудь «этакое», как Надежда Константиновна клала руки на стол, мило улыбалась и, делая вид, что собирается встать, говорила: «Ну, я пошла». Тут Глеб Максимилианович вскакивал и, удерживая ее за руки, клятвенно заверял, что он «больше не будет».

В искусстве шутки с ним успешно соперничал

Петр Ананьевич Красиков, но шутки его были посракастичнее, позлее. Недаром в годы подполья он носил выразительную кличку «Шпилька».

После завтрака засиживались иной раз до обеда, беседуя и споря о чем угодно: о событиях дня, о литературе, искусстве, о научных новостях. Когда спор затягивался, Глеб Максимилианович, как бы подводя итог, говорил, обращаясь к Милютину: «Ну, как Николай скажет, так тому и быть», — подчеркивая этим уважение к его обширным познаниям. Вообще Милютин он очень любил, относясь к нему всегда с какой-то трогательной нежностью.

Эти «посиделки» за столом иной раз затягивались. И только когда Марья Борисовна, наша хозяйка, приоткрывала дверь и молча, но с укоришной кивала нам головой, все спохватывались и отправлялись гулять.

Исключение составляла Надежда Константиновна, которая обычно после завтрака удалялась к себе — работать. Ее комната была рядом с нашей, и, судя по царившей там тишине и по тому, что навещала ее только Вера Соломоновна Дриздо (ее секретарь), Надежда Константиновна работала дни напролет, включая воскресенья. Иногда после обеда она, правда, спускалась на часок в сад.

...Летом все делились на «грибников» и «просто гуляющих». Первых неизменно возглавлял самый яростный из грибников — Петр Ананьевич, вторые гуляли «стихийно». Но за ужином, когда грибы, уже в жареном виде, появлялись на столе, наполняя комнату неповторимым ароматом, «грибниками» становились все.

По вечерам собирались в той же столовой — она же и гостиная — и часто музицировали. За рояль обычно садилась Эмилия Яковлевна Цеткин — профессиональная пианистка. Играла она отлично, слушать ее любили. Обычно по молчаливому уговору она исполняла вещи Бетховена, Моцарта, Шопена. (Не знаю, какими судьбами попал в Архангельское рояль: ходили слухи, что в свое время на нем играл известный пианист Романовский, тот самый, который нередко играл для Владимира Ильича.)

Как видите, ничего необычного на отдыхе в Архангельском, собственно, и не происходило. Но там была та неповторимая моральная атмосфера, тот «воздух», дышать которым и для Милютина и для всех остальных было огромным счастьем.

Надежда Чертова

БЕССМЕРТНЫЙ

Мне посчастливилось довольно близко узнать Николая Островского, правда, уже незадолго до его кончины. Тогда я записала дословно только одну его беседу с моряками-дальневосточниками, она предназначалась для печати, остальные же разговоры, в которых участниками были только мы двое,



Н. Островский.

как-то не записались сразу, но память сохранила их с удивительной полнотой и в мельчайших подробностях. И когда мне пришлось в юбилейные для комсомола дни побывать в музее Островского на собрании седых «комсомольцев», то оказалось, что до этого часа не могу я спокойно войти в его комнату,— так вдруг замерло сердце от зрелища знакомых книжных шкафов, старенького телефона, теперь уже никуда не звонившего, мягких кресел и батарейки, доводившей, бывало, температуру до банной жары, какой требовало распростертое на кровати измоленное тело Островского...

За стенами сейчас гремел оркестр, молодые парни в военных гимнастерках старательно играли песни комсомольского поколения двадцатых годов, поколения Островского, множество веселых, радостно-возбужденных голосов его старых друзей шумело там, в остальных помещениях музея, и все-таки вот эта тихая, полная неясных теней, по-особому одинокая комната более всего хранила следы его жизни и работы. Может быть, поэтому, когда преодолелось первое, острое волнение, мне и вспомнились наши давние беседы с Николаем Алексеевичем о его романе «Рожденные бурей». Заботы и раздумья о совершенно новой для него работе так поглощали Островского, что «вопрос» о «Рожденных бурей» в той или иной форме непременно возникал почти при каждой нашей встрече.

Теперь-то я отчетливо понимаю, насколько остро Николай Алексеевич сознавал в то время, что пишет уже не «книгу жизни», какой для него была «Как закалялась сталь», с неодолимой силой рвавшаяся из-под его пера, а роман, тоже, конечно, идущий по следам действительной жизни, но и в значительной мере построенный на вымысле. Тут перед Островским вставали сложные проблемы синтеза реальности и вымысла, к решению которых всякий настоящий мастер приходит лишь в результате долгих поисков. Не менее отчетливо Николай Алексеевич знал и то, что ему не отпущено времени, сколь-нибудь достаточного, и поэтому торопился постигнуть тайну писательского дела, был жаден до расспросов и обращался, наверно, ко всем товарищам по новой своей профессии. Даже ко мне обращался, несмотря на литературную неопытность мою в те годы. Может быть, Островского даже и привлекала моя писательская невооруженность. Словом, всякий раз, когда я к нему являлась, он непременно расспрашивал о моей работе. Расспрашивал с большим тактом и подкупающим дружелюбием. В конце концов я «при-

ЛЕТОПИСЕЦ



зналась», что сравнительно недавно написала не то рассказ, не то очерк, а скорее всего очерковую повестушку о подвиге молодых строителей первого сибирского гиганта металлургии, Кузнецкстроя. Я хотела добавить, что рукопись эта не «отболела», не отошла от меня, но Николай Алексеевич, сразу ожившись, спросил:

— Ты была на Кузнецкстрое?

Я ответила, что — да, прожила там всю осень и начало зимы 1931 года, а в самый разгар строительства целыми днями торчала в том комсомольском кау-пере, о котором идет речь в повести.

— Замечательные, наверно, ребята? — спросил Островский.

Еще бы не замечательные!.. Я не удержалась и принялась с упоением рассказывать о великом начале сибирской металлургии.

Кузнецкстроевцам пришлось прежде всего выравнять свою площадку, и они срыли, опрокинули макушку ближней горы и тем самым расширили, увеличили размер площадки. Осень пришла снежно-дождливая, и рыхлый наст сразу превратился в настоящее «черное море» жидкой грязи, укывшей под собою все дорожки, тропки, кое-какие строительные материалы, а иногда даже кабели, наскоро и без должной изоляции проложенные по земле. Через громадные котлованы перекинуты были — еще по сухой земле — мостки в две зыбких дощечки без перил. Легко представить, в какую ловушку превратились эти мосточки, улепленные черноземной, скользкой грязью!

В свой первый день на площадке я, забывая только о том, чтобы грязь не залилась за голенища сапог, добралась до котлована с мосточком и долго глядела, как люди, по-циркачески ловко балансируя, перебегают на ту сторону.

— Почему сразу повесело тебя на мосток? Поплавала бы пока по ровному месту... — посмеиваясь, сказал Островский.

— На партийный учет надо было встать. А горком на той стороне помещался.

— А-а. Это — надо. И как же?

— Перебежала. Только дышать перестала. Несколько дней не могла себя заставить дышать, пока дощечки под ногами прогибаются и скользят. А потом привыкла и носилась, как все.

— И стала ходить в кау-пер? Мешала, наверное?

— Мешала, — сокрушенно призналась я. — Путалась под ногами, приставала с расспросами, записывала, сидя на кирпичках, мерзла, еда вместе с огне-

упорщиками пирожные (считалось особым шиком добыть из столовой иностранных спецов пирожные, горяченькие, прямо с листа). У меня потом целые конспекты составились по технике огнеупорной кладки. И чертеж каупера в разрезе сделала... Но все равно это было не то, — неуверенно произнесла я. — Не то в смысле литературском. Ребята привыкли ко мне, как, скажем, к ящику с шамотом, и я могла видеть и наблюдать их. И все равно не то... Очень это плохая роль — наблюдателя, не занятого тем же делом.

— Наверное, так, — задумчиво заметил Николай Алексеевич. — Мне не приходилось.

— Любишь всякую деталь и тащишь в записную книжку, как соломинку в гнездо, — продолжала я «жаловаться». — И словечки всякие, даже обмолвки любишь. А начнешь писать, и деталей не хватает, воздуха не хватает. Как рыбе на берегу.

— Как рыбе на берегу, — повторил Островский. — Мне это понятно. Я, знаешь, тоже вот замахнулся написать о панах польских... Тут уж никакие чертежи не помогут. Долго думал: могу иль не могу? Хотя зацепка-то у меня есть: мама моя кухарила у панов, а я бегал к ней и немного повидал, как они, паны-то, живут. Пишу... Додумывать много приходится. И вот волнуюсь: как оно выйдет? А у тебя, считаешь, вышло?

— Кажется, вышло, — не очень уверенно ответила я.

Нужно было, чтобы прошло тридцать с лишним лет, и вот я вернулась к давней рукописи. Медленно казня себя, перечитала строчку за строчкой, испытывая неопишное изумление и стыд: увы, это была лишь схематичная заявка, и мне пришлось еще несколько лет потратить, чтобы как-то реализовать ее. От старого текста камня на камне не осталось... Конечно, я опять-таки не знаю, каково качество моей нынешней работы. Но по крайней мере стало ясно: тогда, говоря с Островским, я по молодой наивности исходила лишь из одного — из действительно огромной отдачи душевных сил, из моего энтузиазма, из моей влюбленности в эту тему. Теперь твердо знаю: это еще не мера. Мало того, затрата душевных сил иногда входит в прямое противоречие с объективным результатом труда, с самой книгой, отделавшейся от автора и отданной на суд читателя.

— Ну и как: здорово ты написала? — осторожно спросил Островский.

Ответить ему не прямо было немислимо, и я стесненно промямлила:

— Я-то уверена, да толку что... Ребята-огнеупорщики, наверно, будут недовольны повестушкой. Еще разнесут меня, скажут, буднично их написала.

— Буднично! — Николай Алексеевич тихонько засмеялся и добавил: — А вдруг и меня разнесут?

— Кто? Пань?

— Руки коротки! — отвергнув шутку, с неожиданной жесткостью ответил Островский. Слишком хорошо довелось ему узнать — не из школьных или вузовских программ, а на деле, ценою собственной жизни, — что такое враг.

— Нет, — опять заговорил Островский. — Трудно писать, очень трудно. Иногда выльется целая глава, прямо одним дыханием. А остынешь, переберешь в памяти — и оказывается, не то. Понимаешь, не то.

«Он все варианты должен в памяти держать», — подумала я и ужаснулась огромности той работы, которую непрерывно должен был совершать Островский.

— А ведь я люблю их, моих парней, девушек, партийцев, — с тихой улыбкой признался Николай Алексеевич. — Есть у меня такой парень, Андрий Птаха. Понимаешь, он будто рядом сидит, дышит, так я его чувствую. А ты любишь своих?

— Очень, — ответила я, слегка поколебавшись.

Только при следующей встрече с Островским мне стало понятно, чего он ждал и опасался: в середине ноября 1936 года у его постели собрался президиум Союза писателей СССР. Событие это для Николая Алексеевича было знаменательным в смысле особом и самом для него желанном, в творческом смысле. Едва слышав мой шаг, он радостно сказал:

— А ты знаешь, кто у меня был? Садись, расскажу.

Но это не рассказ был, а скорее, размышления вслух обо всем, что услышал он от «старших товарищей». Заметно было, что более всего взволновали его отеческие советы А. С. Серафимовича и слово А. А. Фадеева. И, помню, меня удивило, насколько, в общем, схожими оказались мысли и заботы «старших товарищей» и наши беседы о «Рожденных бурей». Расспрашивать же о подробностях обсуждения я тогда не решилась: боялась помешать Островскому в его трудных раздумьях.

Только теперь, много лет спустя, мне удалось увидеть стенограмму ноябрьского обсуждения «Рожденных бурей», и трудно описать волнение, признательность, грусть, в какие я погрузилась, читая давние записи, наверно, оставшиеся направленными. Как живые, зазвучали для меня голоса самого Николая Алексеевича и авторитетных читателей его романа, А. С. Серафимовича, А. А. Фадеева, Е. Ф. Усиевич...

Критика в адрес молодого автора не была «жесткой», как он того просил, а скорее дружеской и чуткой. С трогательной заботливостью Е. Ф. Усиевич, хорошо знавшая Польшу разных времен, советовала Островскому больше описывать не панов, а белобандитов-гайдамаков, которых довелось увидеть и узнать самому автору. «Это вам легче будет», — уверяла она.

Об «аристократах» или панах, которые так озабочивали и смущали Николая Алексеевича, говорили почти все выступавшие. А. С. Серафимович признался, что страницы, где действовали пань, читал с некоторым напряжением, а когда «попал к рабочим», «к своим», дело пошло на лад. Марк Колосов назвал обе книги Островского — то есть «Как закалялась сталь» и «Рожденные бурей» — «сокровищницами моральных ценностей большевизма». Это было, конечно, верно, но все-таки не отвечало основной проблеме обсуждения, проблеме мастерства.

И вот выступил долго молчавший А. А. Фадеев. Наверное, он говорил в обычной своей манере, несколько запинаясь, раздумывая по ходу речи, мало заботясь о внешней ее стройности.

«Я хочу заступиться за профессиональную кухню, — сказал он, с самого начала выдвигая на первый план вопросы трудного ремесла, так остро занимавшие Островского. И, как бы прямо отвечая ему, продолжал: — Писать «Как закалялась сталь» было гораздо легче, потому что эта вещь хроникальная и вся освещенная глазами автора. А «Рожденные бурей» — не автобиографическая вещь...»

И, прервав ход рассуждения, он вдруг сказал:

«Вот у меня... Говорят, что «Последний из удэге» лучше, а другие говорят — лучше «Разгром». Ну что же — «Разгром» для меня, как первая любовь...»

Об «аристократах» Александр Александрович коротко и осторожно заметил:

«Книжновато они у тебя говорят, не своим языком. — И тут же добавил: — А вообще ты много приобрел. Ты приобрел глубину выпуклого, конкретного изображения».

И опять неожиданно признался: «В «Разгрома» у меня штампов много...»

В коротенькой, заключающей совещание деловой речи друга Островского, старого коммуниста И. П. Феденева прозвучала суровая нотка предупреждения и, может быть, упрека в адрес писателей: он предложил не повторять печального опыта с выпуском книги «Как закалялась сталь», сравнительно долго ждавшей выхода в свет, а немедленно собрать воедино все появившиеся в печати отрывки из «Рожденных бурей» и поспешить с опубликованием романа. Поспешить! Иннокентий Павлович, как никто знавший Николая Алексеевича, видел, конечно, что у Островского, горевшего желанием работать над романом, совсем мало времени впереди...

С сожалением перевернув последнюю страницу стенограммы, я вернулась к первой странице, к ступительному слову Николая Алексеевича. Он коротко и — это угадывалось — с суровой сдержанностью сказал:

«Я ждал этого разговора с большим чувством доверия. Пусть особенности моей жизни не будут препятствием для жесткой критики...»

2

«Особенности жизни», — тихо повторяю я для себя одной слова Островского. Эти особенности известны ныне миллионам читателей. Но только тот, кто близко знал Николая Алексеевича, кто видел его живым и действующим, — главное, действующим наперекор смерти, — тот хоть в малой мере способен оценить подвиг его жизни. Необыкновенность, я решаюсь сказать, величие этого подвига потрясли меня, когда я впервые увидела Островского. Было это зимой 1935 года. Его книга «Как закалялась сталь» переиздавалась «Советским писателем», и мы, группа работников издательства, были приглашены на квартиру к Островским. С волнением вступили мы в высокую, затененную шторами комнату Николая Алексеевича.

На постели под толстым шерстяным одеялом полулежал изможденный человек в военной гимнастерке, он напряженно — это было видно — прислушивался к звуку наших шагов и вдруг произнес звонким и ясным голосом:

— Здравствуйте, здравствуйте!

В рукопожатии Островского даже сила почудилась, но когда по привычке здорового человека я чуть

тряхнула его руку, все легкое, иссохшее тело его вдруг как-то утрашающе безжизненно сотряслось.

Первые минуты были необыкновенно трудны. Но зрелище страданий, отражавшихся на остром, исхудалом лице, в скорбных складках лба, рассеченного глубоким шрамом, в незрячих глазах, решительно и быстро перечеркнулось неподдельной приветливостью молодого, сочного голоса, белозубой улыбкой, свежей смуглостью лица, словно бы опаленного южным солнцем. Перед нами лежал юноша, да, юноша, и не прошло нескольких минут, как он вовлек нас в захватывающе живой разговор.

— Над книгой еще надо работать и работать, — сказал Николай Алексеевич. — Мне бы редактора надо построже, побезжалостнее. А ведь что получается: на днях прочитал в одной украинской газете... вернее, мне прочитали (это я про привычку говорю: «читаю», «вижу»), так вот прочитали мне статью... Представьте себе, «великий пролетарский писатель». Это я, видите ли, великий писатель!

Николай Алексеевич заразительно рассмеялся и прибавил уже серьезно, с оттенком досады:

— Мне учиться надо. А вместо того, чтобы помочь, захваливают. А ведь я свою книгу наизусть знаю, почти всю, — сказал он, чуть помолчав.

Мы только переглянулись и не произнесли ни слова.

— Здесь нет ничего сверхъестественного, — объяснил Николай Алексеевич, угадав наше удивление. — Я не вижу текста рукописи, поэтому помню его. Могу прочесть целую главу.

Разговор стал общим, несколько шумноватым. Издательские товарищи напомнили о моей просьбе к Николаю Алексеевичу: можно ли надеяться на его выступление — конечно, по радио — перед молодыми автозаводцами?

— Нет, — сразу же мягко, но очень решительно ответил он. — Не могу выступить. Страшно занят новым романом. По восемь—десять часов работаю.

Он, конечно же, говорил о романе «Рожденные бурей». Эту книгу Островский писал с напряжением, непосильным даже для здорового, находящегося в расцвете сил литератора. Я имела случай видеть это воочию. Однажды — это было ранней весной 1936 года — мне передали его приглашение. Я пришла под вечер, как было условлено в телефонном разговоре, и нашла Островского в радостном волнении. Оказывается, он весь день особенно удачно работал над новой главой романа.

— Загнал двух девушек, а сам, как видишь, ничего, — с торжествующим смешком сказал он и попросил, чтобы я села поближе.

Было видно: он очень устал, — впалые виски были влажны, лицо предельно обострилось, и губы пересохла.

— Хочу тебя спросить, — тихо заговорил Николай Алексеевич, — но только заклинаю тебя, говори правду. Дашь честное слово? Где твоя рука? Слово большевика?

— Даю.

— Как я выгляжу? Какое у тебя впечатление? Вызываю жалость? Только правду говори!

Я ответила не сразу:

— Знаете, с каким впечатлением от вас уходите? Радость жизни, энергии, несмотря ни на что. И это правда.

Николай Алексеевич благодарно пожал мне руку. В спокойной тишине комнаты слышались или, скорее, чувствовались глубокие толчки. Они шли откуда-то из-под земли.

— Метростроевцы тоннель роют, — объяснил Николай Алексеевич. — Ночами подолгу слушаю, как

они прямо подо мной буравят землю. Молодцы ребята! Вот бы поговорить с ними...

— Отдыхайте, — попросила я его. — А мне, наверное, домой пора.

— Ну, нынче я тебя не отпущу! Я и Кате так сказал: не отпущу, пока не расскажет что-нибудь.

Николай Алексеевич аккуратно вытер губы салфеткой, навязанной на палочку, специально для того приспособленную: рука имела ограниченную подвижность.

— Давай-ка, дружок, тряхнем стариной: вспомним наш милый, «старый» комсомол. Парней наших, девушек. Какая чистота отношений... помнишь?

— Да, конечно.

— А раз помнишь — рассказывай.

— Боюсь вас утомить, — нерешительно начала я.

— Ничего, наоборот. Давай, дружок, давай раскошелывайся!

— Можно про ЧОН рассказать... про наш ЧОН: это в нашем городке было, в Бузулуке.

— Ну, конечно, про ЧОН, — оживился Николай Алексеевич. — Кто из нас не помнит ЧОН? А название у городка татарское.

— Говорят, след Орды. Городок старинный... А в наши времена три раза переходил от красных к белым.

ЧОН, части особого назначения! Вот уж правда, — кто из нас не помнит чоновских казарм, однозарядных винтовок и самих чоновцев, в строю которых рядом с курносой девчонкой мог стоять бородатый солдат царских времен. Страна еще дралась на многочисленных фронтах гражданской войны, Николай Островский на горячем коне кидался в отчаянные схватки, а чоновцы тыловых городов и сел сражались с бандитами, армейскими дезертирами, атаманами и атаманчиками всех мастей. Здесь шла малая, но коварная война: враг прятался по лесам, подкармливался на кулацких хуторах, старался бить нас в спину, из-за угла.

В каждом городке изобретен был свой сигнал тревоги, известный только чоновцам, коммунистам и комсомольцам. У нас это были гудки водокачки. Мы знали: когда водокачка гудит четыре раза, это означает, что скоро выключат воду. Хозяйки хватали ведра, коромысла и мчались к колонкам. Мы, чоновцы, двадцать комсомольцев, живших в общежитии, начинали считать только с пятого гудка: всех гудков было одиннадцать, одиннадцатый как раз и означал тревогу, немедленный сбор. Уже с шестым или с седьмым гудком наша ватага, одеваясь на ходу, придерживая на боку наганы — предмет нашей особой гордости! — мчалась к серому особняку укомов, «большого», то есть укома партии, и нашего, мало-го, комсомольского.

Тревога, о которой я рассказывала Островскому, случилась очень ранней весной, еще по снегу, посреди светлого, солнечного, но еще холодноватого дня. Как всегда, мы дружно выбежали на улицу. «Шесть... семь...» — машинально отсчитывала я гудки, с трудом догоняя товарищей: на обеих ногах — от больших сапог — у меня были мозоли «по кулаку».

Возле колонок, как всегда, выстроились очереди, но вода лилась безотказно. «Девять... десять... одиннадцать». Хозяйки провожали нас косыми взглядами, ворчали: «Гудит и гудит, спяну, что ли...»

Нас построили в коридоре «большого» укома, коротко объяснили, что верстах в двадцати от города бандиты напали на железнодорожную станцию.

Телефонный разговор оттуда был сразу же прерван,— не то у человека трубку выхватили из рук, не то провод обрезали. Но человек успел сказать, какая там беда: на пятнадцать коммунистов навалилось бандитов «до шестидесяти сабель», как выразился наш строгий командир. Нельзя было медлить ни минуты, на станции нас ждал паровоз. «Бегом и не отставать!» — скомандовал командир. И тут — еще в длинном укомовском коридоре — меня постигла неудача. Остроглазый командир приметил мою хромоту и за руку выдернул из строя. Жалкая, в своих сапожищах, с тяжелой винтовкой в руках, я стояла, прижавшись к стенке, а мимо бежали, грохоча по каменной лестнице, чоновцы. Я видела их словно сквозь туманную пленку, на глазах у меня — позор, позор! — стояли слезы.

Николай Алексеевич понимающе улыбнулся:
— Я бы тоже, пожалуй, взревел, ведь экая незадача! Ну и как?

— Бежали до самой станции, это больше трех верст, погрузились, паровоз летел на всех парах... опоздали, Николай Алексеевич.

С разбегу, инстинктивно я смолкла.
— Та-ак,— трудно произнес Островский. Тонкие брови его вскинулись, на высоком юношеском лбу залегли складки. О ком ему вспомнилось?

Я остановилась вовремя. Поняла, что договаривать нельзя, невозможно. Среди станционных коммунистов была одна женщина, я ее хорошо знала,— рябенькая, суровая, с пальцами, желтыми от махорки, она в своих красноармейских галифе и гимнастерке была все-таки необыкновенно и тонко женственной. Бандиты зарубили ее с особой жестокостью: развалили шашкой почти что пополам... Вот как оно было.

Мы оба долго молчали, горькая тишина притаилась в комнате. Я виновато опустила голову: рассказы мои отнюдь не утешили и не развлекали усталого Островского...

— ...Пойду,— сказала я и поднялась.
— Нет,— тихо откликнулся он.— Посиди немного. Пожалуйста.

С улицы доносился резкий шелест шин — мостовая была по-весеннему мокра,— залиристо разносились трамвайные звонки, звучал говор и смех. Николай Алексеевич вслушивался в эти звуки, с усилием поднимая тонкие брови, большие, запавшие глаза его казались зрячими. Я боялась пошевелиться.

— Друг мой,— вдруг произнес Островский, чуть растягивая слова.— Если я тебе скажу, что вот сейчас у меня болят глаза... нечеловечески болят. Ты поверишь?

Не удержавшись, я невольно вздрогнула.
— Нет, не поверю.

— Болят слепые глаза.— Николай Алексеевич грустно усмехнулся.— Под веками словно крупный песок насыпан, жжет, неловко, больно. Мне предлагают вынуть глаза. Говорят, будет легче. Ненадолго. Все во мне протестует. Не отдам свои глаза.

Передохнув, он продолжал так же тихо и медленно:

— Не дамся больше врачам... Всего меня искромсали, а толку что? Один раз тампон в зашитой ране оставили. Я очнулся, а около меня белые халаты. «Не волнуйтесь, больной, вы только не волнуйтесь!» Я вижу, их самих дрожь бьет. Говорю: «А вы спокойнее. В чем дело?» Выслушал, говорю: «Что ж, везите опять в операционную».

Мне казалось: я сижу вовсе бесшумно. Но Николай Алексеевич угадал все-таки, что волнуюсь, по каким-то признакам, только ему известным.

— Ничего, дружок,— сказал он как бы в утешение.— Я научился преодолевать боль. Рая! — неожиданно позвал он жену, видимо, не доверяя слуху.

— Ее здесь нет.
— Ага, хорошо. Сядь ближе, вот так.
— Хорошо, что около вас родные,— сказала я.— В трудную минуту они, наверное...

— Ты еще маму не видела,— прервал меня Островский.— Удивительную мою. Она бесценный часовой у меня. Я весь в долгу... не знаю, успею ли ей отдать,— закончил он опасливым шепотом.

Я наклонилась к нему, сказала тоже шепотом:
— Мы одни.

— Я знаю,— тихо откликнулся он и после небольшой паузы раздумчиво произнес:— А жить еще хочется. И дела так много несделанного. Тороплюсь.

— Понимаю,— сказала я с трудом, губы у меня словно замерзли и не слушались.

— Одного боюсь: не подобрались бы мои болячки к главному штабу, к мозгу. Вот это уж будет беда. Но ты, дружок, не верь, если тебе скажут, что Николай Островский умер. Пока сама не убедишься! Я буду жить и сопротивляться, пока будет жить хоть одна-единственная клетка моего тела. И никто не посмеет сказать: «Он мог бы еще жить!»

Николай Алексеевич опять помолчал, серьезный, истомленный.

— Не боюсь я смерти... правда! Я еще покажу ей, старой ведьме, как большевики умирают! Рая?

— Нет ее.
— Почудилось. Пусть не слышит.

Но слух и на этот раз не обманул его. Ранса Порфирьевна появилась из-за шевельнувшейся портьеры. Она прошла через комнату, закрыла форточку, потом «раскутала» Николая Алексеевича, с осторожностью, нежной и ловкой, опять вытерла ему лицо, что-то тихо сказала, наверное,— «теперь, Коля, постарайся заснуть», — и мы обе вышли из комнаты.

3

В самом начале тридцатых годов журнал «Молодая гвардия» опубликовал первую часть книги «Как закалялась сталь». В 1934 году та же «Молодая гвардия» напечатала вторую часть — книга пошла в массы широким потоком. Но для многих из нас, для миллионов советских людей, Островский по-настоящему открылся в прекрасном очерке Михайла Кольцова «Мужество», опубликованном в «Правде». Этот очерк — одно из самых благородных деяний, совершенных Кольцовым.

Образ Николая Островского с особой полнотой встает и в его письмах к друзьям. Письма эти, ныне опубликованные в третьем томе собрания сочинений,— документ потрясающей силы, запечатлевший титанические усилия Островского в единоборстве с болезнью. Они переполнены неиссякаемыми надеждами и планами на будущее, от них веет глубокой застенчивостью и нежной любовью к людям.

В 1925 году он пишет М. Родкиной:
«Важно, кто останется победителем, болезнь или я. Я думаю, что я... Муся, я борюсь молча, слышишь?»

А вот строки из письма к А. П. Давыдовой (1926):
«...Живешь вечно новой надеждой, что хоть как-нибудь, но буду работать. Жизнь пока бьет, а ей сдачи дать — нет сил».

Из письма А. А. Жигиревой (1929):
«...врачи не разрешают мне говорить ни слова...

И я целыми днями один с моими безумно смелыми мыслями о великом всемирном восстании».

Ей же (1929):

«...Я слепну, Шура, я уже почти ничего не вижу... Подумай, дружок мой родной, когда ты приедешь к нам с сынишкой, я не буду тебя видеть. Точка».

Ей же (1929):

«Только крепким русским словом, татарски зверским, но иногда просто необходимым, можно выявить мою ненависть к этой шарманке, из которой я не найду выхода... 1929 год... проходит у меня под знаком минус к 1928 году. Этот минус... может зачеркнуть жизнь. Для большевиков это означает, что из 100% осталось 10%, если их зачеркнуть, получится нуль».

В августе 1935 года он пишет А. А. Караваевой, тогда редактировавшей журнал «Молодая гвардия» и принявшей в судьбе Островского редкостное по деловитости участие:

«...Жизнь за мое упорство вернула мне счастье безмерное, изумительное, прекрасное, и я забыл... о том, что у меня так мало физических сил».

В следующем, то есть в 1936 году он сообщает своему секретарю А. П. Лазаревой, что врачи настойчиво предлагают вынуть правый глаз. Об этом Островский пишет с обычным для него самообладанием:

«...как видите, я еще не все мытарства испытал, и жизнь угостит меня еще не одной горькой пилюлей. Такова уж, видимо, моя профессия — терять беспрерывно физически что-нибудь. Хорошо, что эти поражения возмещаются во сто крат духовными приобретениями, которые дает мне творческая жизнь... Жизнь бессильна меня ограбить».

Мужество Островского, духовные его силы были безграничны. Лежачий, недвижимый, скованный мучительными болями, он умел создавать вокруг себя, и прежде всего в доме своем, в семье добрую деятельную атмосферу.

— Думаешь, к кому бегут мои домашние со своими бедами? — сказал он мне однажды. — Представь, ко мне бегут. И я должен все распутывать, всех уговаривать, подбадривать...

...В доме Островского действительно установилась прочная тишина, особенно нерушимая в часы его работы. Тогда помехой был даже легкий скрип стула или шелест переворачиваемой страницы: это отвлекало от текста, еще не продиктованного и существующего лишь в памяти автора. Ранше Порфирьевне или секретарям — Антонине Зыбиной и Александре

Лазаревой — приходилось сидеть совершенно неподвижно. Во время пауз, иногда долгих, они видели, что Николай Алексеевич, забывая обо всем окружающем, «живет в книге» — то хмурится, нервно постукивая пальцами, то улыбается доброй улыбкой: он думает о своих героях...

Он работал над «Рожденными бурей» почти до последнего своего часа и закончил первую часть романа. Болезнь, оказавшаяся смертельной, подступила к нему через несколько дней после того, как была поставлена точка на последней странице романа. И он действительно показал «старой ведьме», как умирают большевики. Медсестра, дежурившая возле Островского в предсмертные его дни, опытная медсестра, много повидавшая на своем веку, была глубоко потрясена мужеством больного. У Николая Алексеевича резко повысилась температура, страдания перешли всякие мыслимые пределы.

— Меня, кажется, громят, — пробует шутить он. Сон, похожий на обморок, сменяется полным бессонным.

— А жить еще хочется, — шепчет он, приходя в себя. — Один бы только год... У меня столько незавершенной работы.

Он просит пить, ему дают воды, подкисленной лимоном. На мгновение это освежает.

— Как там Мадрид? — тихо спрашивает он.

— Держится.

— Ну и я должен держаться.

Днем 22 декабря Островского не стало.

Врачи, вскрывавшие его тело, были потрясены картиной полного физического распада, здоровым остался только мозг, «главный штаб», по определению покойного Островского. Этот штаб покорялся железной воле человека вопреки многим «нельзя»: он умер, действительно исчерпав все силы в борьбе с безжалостно-неотвратимой смертью.

А книга его победила смерть. Величаво живет она и всегда будет жить, как летопись юного поколения революции, поколения первых комсомольцев.

Мы имеем право сказать: живет не только его книга, живет он сам, незабываемый, близкий сердцам миллионов Николай Островский — Павка Корчагин. И если б можно было собрать воедино всех людей, на судьбы которых повлияла книга «Как закалялась сталь», возник бы огромный людской поток, бесконечный в смене поколений. А если б крикнуть: «Отзовитесь, люди!» — в ответ хлынуло бы целое море писем, полных светлой благодарности и потаенных признаний. И неизбежной стала бы гордая мысль, что вот это и есть живой, удивительный памятник, воздвигнутый бессмертному летописцу деяний первых комсомольцев.



Александр Мильчаков



РОЖДЕННЫЙ В ГРОЗЕ И БУРЕ

(К 50-летию I конгресса Коммунистического
Интернационала молодежи)

История Коммунистического Интернационала молодежи является богатейшим источником познания революционного опыта борьбы коммунистов за молодежь, за ее умы и сердца, за ее классовую сплоченность в атаках на капитализм и империализм.

Незабвенный Карл Либкнехт так называл передовую пролетарскую молодежь: «Она будет самым жарким, самым святым пламенем новой революции, которая должна наступить и наступит...»

Выступая на собрании молодежи в Цюрихе 9 января 1917 года с докладом о революции 1905 года, начав с обращения: «Юные друзья и товарищи!», — В. И. Ленин вдохновенно предсказал: «...я могу, думаю, мне, высказать с большой уверенностью надежду, что молодежь, которая работает так прекрасно в социалистическом движении Швейцарии и всего мира, что она будет иметь счастье не только бороться, но и победить в грядущей пролетарской революции».

Подготовку молодежи к этой грядущей пролетарской революции Ленин и большевики вели неустанно.

Карл Либкнехт свидетельствует, что пролетарская молодежь оказывала самоотверженную помощь взрослым рабочим, поддерживая в среде пролетариата революционный дух решительных действий своим пылким энтузиазмом:

«Их ряды редели. Их передовые борцы посылались в окопы, в предварительное заключение, в исправительные дома; классовая юстиция бушевала среди них более немилосердно, чем среди взрослых. Свободная молодежь, однако, осталась неустранимой и мужественно смотрела в глаза врагу».

Под руководством Ленина большевики принимали самое активное участие в создании социалистических юношеских организаций, направляли их деятельность по революционному руслу: Н. К. Крупская — в Швейцарии, Инесса Арманд — во Франции и Швейцарии, Г. В. Чичерин — во Франции, А. М. Коллонтай — в Швеции, Норвегии и Дании...

Следует напомнить один из фактов участия большевиков в работе конференций Социалисти-

ческого Интернационала молодежи: в апреле 1915 года мандатом, подписанным Лениным, Инесса Арманд и Егоров «уполномочены быть на Бернской Международной Конференции представителей организаций молодежи, примыкающих к ЦК РСДРП».

Возникновению подлинно революционных юношеских организаций способствовали многие выдающиеся деятели международного коммунистического движения: Карл Либкнехт и Роза Люксембург, Клара Цеткин и Франц Меринг, Эрнст Тельман и Бела Кун, Марсель Кашен и Морис Торез, Пальмиро Тольятти и Уильям Фостер, Вильгельм Пик и Георгий Димитров, Хо Ши Мин и Сен Катаяма, Отто Куусинен и Долорес Ибаррури...

В сентябре 1915 года вышел первый номер журнала Международного союза социалистических юношеских организаций «Интернационал молодежи». Ленин принимал живейшее участие в журнале. В связи с работой журнала он написал статью «Интернационал молодежи», ставшую программной для коммунистов в их деятельности среди молодежи.



Большинство официальных социал-демократических партий Европы стояло на позициях самого низменного и подлого социал-шовинизма и оппортунизма. При таком положении социалистическим организациям молодежи выпала нелегкая задача борьбы за истинный социализм и революционный интернационализм.

В журнале, по оценке Ленина, печатался ряд хороших статей в защиту революционного интернационализма, «...и все издание проникнуто превосходным духом горячей ненависти к изменникам социализма...».

Ленин объявлял беспощадную борьбу взрослым лжепророкам, сбивающим с толку юных пролетариев. Но по отношению к «кипящей, бурлящей, ищущей молодежи» он рекомендовал язык терпеливого убеждения, а не борьбы. Он стоял за самостоятельность союзов молодежи, которой так боялись оппортунисты, стремившиеся опекать молодых. Но он стоял также за полную товарищескую критику ошибок молодых. «Льстить молодежи мы не должны!» Подходить к молодежи надо умеючи, всячески ей помогая.

Юношеское движение в России, направляемое Лениным, с самых первых своих шагов стояло на позициях интернационализма.

VI съезд РСДРП (большевиков), проходивший в июле — августе 1917 года, призвал все организации партии обратить самое серьезное внимание на сплочение молодежи, стремясь к тому, чтобы рабочая молодежь создавала самостоятельные организации, идейно связанные с партией, и чтобы будущей социалистической союз рабочей молодежи России при самом своем возникновении примкнул к Интернационалу молодежи...

И Первый Всероссийский съезд союзов рабочей и крестьянской молодежи (в 1918 году), назвавший свою организацию коммунистической, декларировал полную солидарность комсомола с ленинской партией и в приветствии Карлу Либкнехту выразил уверенность, что уже недалек тот момент, когда трудящаяся молодежь всех стран соединится в одном Коммунистическом Интернационале молодежи.

Вспоминаю, как на Втором Всероссийском съезде комсомола (в 1919 году), в обстановке наступления белогвардейцев и интервентов, мы с воодушевлением принимали обращение к пролетарской молодежи мира: «В решительную минуту нашей революции мы ждем помощи от пролетарской молодежи всего мира... Помните, что наше дело — общее, помните, что удушение нашей революции означает разгром коммунистического движения во всем мире, повлечет за собой реакцию в мировом масштабе...»

Делегаты съезда приветствовали инициативу своего Центрального Комитета в деле созыва Международного конгресса молодежи и создания Коммунистического юношеского Интернационала.

Центральный Комитет партии и лично Владимир Ильич направляли эти шаги Цекамола. Когда выяснилось, что такой съезд не удастся провести в Москве, было принято предложение созвать его в столице Советской Венгрии — Будапеште. От Центрального Комитета РКСМ поехали за границу секретарь ЦК Лазарь Шацкий и немецкий товарищ Альфред Курелла с полотяными мандатами (удобнее спрятать от ищеек), подписанными председателем ЦК Оскаром Рывкиным и секретарем ЦК Николаем Пеньковым. Шацкий делегировался членом оргкомитета и представителем РКСМ на конгресс, Курелла — его заместителем.

Перед отъездом делегатов принял В. И. Ленин, одоббивший проект программы КИМа и линию РКСМ в основных вопросах движения.

Конгресс в Будапеште не мог собраться: Советская Венгерская республика перестала существовать. Конгресс состоялся нелегально в Берлине 20—26 ноября 1919 года. На нем присутствовали посланцы четырнадцати юношеских организаций. Представленный Центральным Комитетом РКСМ проект программы КИМа был принят. Международное объединение молодых коммунистов заявило о безусловной поддержке компартий, о строгой централизации своих рядов, о боевом революционно-политическом воспитании масс пролетарской молодежи, о борьбе с милитаризмом, о защите Советской России. Конгресс выбрал Исполкома КИМа. В него вошли, в частности, секретарь Исполкома Вилли Мюнценберг и представитель РКСМ Лазарь Шацкий. Открылась новая страница истории международного коммунистического юношеского движения.

К середине 1921 года ряды КИМа выросли и окрепли, закаляясь в борьбе с прислужниками буржуазии, социал-соглашателями. Коммунистические организации молодежи действовали уже в 43 странах Запада и колониального Востока, объединяя 800 тысяч членов.

С возникновением Коминтерна и коммунистических партий роль революционных организаций молодежи менялась. Третий конгресс Коминтерна подчеркнул в особой резолюции, что эта роль — роль авангарда, в смысле самостоятельных выступлений и политического руководства, переходит к компартиям. «Дальнейшее существование организаций молодежи в качестве политически самостоятельных и руководящих организаций привело бы к возникновению двух соперничающих между собой компартий, отличающихся друг от друга только возрастом своих членов».

Наиболее яркое выражение теории авангардной роли союзов молодежи дал тогда в своей брошюре германский коммунист, член ЦК партии Эрнст Гернле, выступавший потом организатором детского коммунистического движения. По его мнению, молодежь исполняет совершенно определенную, особую задачу в рабочем движении. Старшее поколение «вовсе не обладает способностью быть воспитателем и вождем молодежи, молодежь скорее через головы старших должна прийти к высшей ступени».

Ошибочность и вред этой запальчивой постановки вопроса очевидны. Такая «авангардная идеология» завела бы движение молодежи в тупик, изолировала бы его от масс, отделила бы от партии пролетариата.

В нашей стране теория авангардизма молодежи не могла получить сколько-нибудь широкого распространения: наш комсомол вырос под руководством последовательно революционной большевистской партии, чутко направлялся Лениным, неизменно следовал его идейным установкам. Наш комсомол не позволил оторвать молодежь от партии антиленинцу Троцкому, льстиво называвшему молодежь «авангардом авангарда» и «вернейшим барометром» жизни партии. Ленинский комсомол был неизменно верен воспитавшей его партии.

Роль молодежных союзов после возникновения и укрепления компартий стала ролью массовых организаций коммунистического воспитания молодежи и защиты ее интересов в области труда, образования и гражданских прав. Установив принцип политического подчинения комсомолов компартиям, конгресс

подтвердил организационную самостоятельность союзов, необходимость всемерного развития инициативы и самостоятельности молодежи.

Память сохранила обсуждение на ряде конференций и съездов нашего союза, начиная со второго, вопросов международного коммунистического движения. Докладчиками выступали руководители делегации нашего союза в Исполкоме КИМа — Лазарь Шацкий, Оскар Тарханов, Виссарион Ломинадзе, Рафаэль Хитаров, Василий Чемоданов. Помнятся также конгрессы КИМа — третий, четвертый, пятый, на которых я был делегатом. Третьему конгрессу КИМа Владимир Ильич Ленин направил письмо (4 декабря 1922 года). Это — последнее ленинское послание, обращенное прямо к молодежи и выражающее заботу Ильича о воспитании смены: «Сожалеею, что не могу приветствовать вас лично. Шлю вам самые лучшие пожелания успеха в вашей работе. Надеюсь, что несмотря на высокое звание, вы не забудете самого главного — необходимости деловым образом двинуть вперед подготовку молодежи и учење.

С самым лучшим коммунистическим приветом В. Ульянов (Ленин)».

На третьем и четвертом конгрессах КИМа в связи с задачами экономической борьбы молодежи возникла дискуссия вокруг предложений о создании массовых юношеских организаций в виде секций молодежи в профсоюзах (Франция) и особых организаций беспартийной молодежи на фабриках и заводах (Австрия).

Представители РКСМ Рывкин и Тарханов, полемизируя с французскими и австрийскими товарищами, ссылались на опыт преодоления подобных взглядов «юношеского синдикализма» в союзе.

КИМ и его секции, имевшиеся уже в 60 странах мира, вели огромную и героическую антивоенную работу в массах. Ширилась сеть фабрично-заводских ячеек, проводивших экономическую и идейно-воспитательную борьбу по классовому сплочению рабочей молодежи. Развертывалась деятельность союзов в деревне, среди молодежи угнетенных народов Востока.

Буржуазия отлично понимала значение подрастающих поколений в обществе и не скупилась на затраты, чтобы отвлечь молодежь от политики и классовой борьбы.

С середины двадцатых годов половина комсомольских организаций перешла на нелегальное положение. Только в Германии тысячи коммунистов и комсомольцев были брошены в тюрьмы. Коммунисты и комсомольцы шли в массы с лозунгом единого фронта трудящихся против империализма, реакции, фашизма.

На пятом конгрессе КИМа (в 1929 году) мне поручили выступить с докладом об участии ВЛКСМ в строительстве социализма в Советском Союзе.

Исключительно единодушной и впечатляющей была демонстрация международной солидарности коммунистической молодежи.

Конгресс принял резолюцию, предложенную китайской, французской, английской, польской, итальянской, шведской и чешской делегациями, в которой отметил большую работу ВЛКСМ по оказанию моральной и материальной поддержки коммунистическим союзам молодежи капиталистических и колониальных стран, в особенности большую помощь китайской революции и комсомолу Китая.

Торжественно прозвучала клятва молодой коммунистической гвардии планеты:

«Коммунистический Интернационал молодежи клянется призвать трудящуюся молодежь всех стран на защиту Советского Союза и в этой борьбе не знать передышки, пока не восторжествует мировой Октябрь».

Последующие годы были насыщены острой классовой борьбой и самоотверженной работой коммунистов и комсомольцев всех континентов.

В связи с ростом и укреплением коммунистических и рабочих партий по-новому встал вопрос о взаимоотношениях между ними. Каждая партия могла с успехом решать стоящие перед ней задачи. В мае 1943 года Президиум Исполкома Коминтерна принял одобренное всеми компартиями решение о роспуске Коминтерна. Вслед за этим произошел и роспуск КИМа.

С тех пор международные связи коммунистических и рабочих партий и юношеских организаций неизмеримо расширились и углубились. После Великой Отечественной войны, в 1945 и 1946 годах, были созданы новые международные объединения молодежи — Всемирная федерация демократической молодежи и вошедший в нее Международный союз студентов.

Всемирная федерация демократической молодежи охватывает свыше 100 миллионов юношей и девушек более чем в 115 странах. В рядах этой широкой демократической организации, занявшей достойное место во всемирном антиимпериалистическом лагере, работают более 65 миллионов молодых людей, состоящих в коммунистических союзах молодежи 70 стран. Коммунистическое молодежное движение неизменно выступает помощником и резервом коммунистических партий.

Опыт КИМа и сейчас может многому научить деятелей юношеского движения. Революционные традиции КИМа остаются в арсенале идейного оружия молодых коммунистов всех стран. По примеру книг о деятельности Коминтерна пришла пора создать книги по истории КИМа, в которых будут представлены герои и мученики КИМа, отдавшие свои молодые жизни за торжество идеи коммунизма, будет показан славный путь борьбы молодых коммунистов, воодушевленных идеями Маркса, Энгельса, Ленина и историческим примером Великого Октября.

Такую книгу помогли бы создать молодым историкам-международникам представители старой партийной гвардии, в юные годы работавшие в КИМе: Луиджи Лонго, Джузеппе Берти и Энрико Берлингуэр (Италия), Альфред Курелла и Рихард Гиптнер (ГДР), Франсуа Бийю и Раймон Гюйо (Франция), Джон Голлан (Англия), Фридрих Фюрнберг (Австрия), Велко Влахович (Югославия) и другие ветераны КИМа, в их числе и советские товарищи.

Меняется обстановка, возникают новые задачи перед революционными силами мира. Но неизблемыми остаются основы подлинно революционного движения — ленинское единство боевых сил трудящихся, пролетарский интернационализм не на словах, а на деле, защита Советского Союза и мирового социалистического содружества от вражьей силы империалистов, фашистов и антисоветчиков, всемирная борьба за торжество бессмертных идей марксизма-ленинизма, за победу коммунизма во всем мире.



Вяч. Иващенко



ДЕТИ РЕВОЛЮЦИИ

Самое страшное в мире —
Это быть успокоенным.

Славлю солдат революции,
Мечтающих над строфою,
Распиливающих деревья,
Падающих на пулемет!

Эти строки Михаила Кульчицкого как нельзя лучше подходят к людям его поколения, самоотверженно встретившим удар фашистских полчищ в июне 41-го, и к их предшественникам — молодым рабочим Красного Питера, бойцам Первой Конной, строителям Магнитки и Комсомольска. И именно это святое беспокойство революционеров, стремление самим, своими руками строить будущее и отстаивать его — главная черта характера людей, рассказ о которых идет в сборнике «Прометей. 6» (изд-во «Молодая гвардия», редактор-составитель Е. Любушкина).

Сборник не случайно открывается большим очерком о Петре Смородине, одном из организаторов Петроградского Социалистического союза рабочей молодежи, комиссаре красного полка, вожаке ленинградского комсомола. Его биография типична для молодого ленинца тех лет, комсомольского активиста: голодное детство в деревне, ученичество на фабрике в Петербурге, нелегальные марксистские кружки, забастовки. И когда режиссеры Козинцев и Трауберг создавали свою знаменитую кинотрилогию о Максиме, прототипом главного героя стал Петр Смородин. Они, пожалуй, даже внешне

очень похожи — Петр Смородин и Максим, образ, созданный Борисом Чирковым. Конечно, Максим, как говорится, образ собирательный, вобравший в себя черты лучших представителей рабочей революционной молодежи, но ведь и Смородин был таким вот — лучшим, типичным. Сергей Миронович Киров говорил создателям трилогии:

— Присмотритесь к Смородину, очень подходящий для вас человек.

И Борис Чирков многое для своего героя взял от вожак ленинградского комсомола...

Подростком ушел из семьи в дом-коммуну, детский городок имени III Интернационала, Володя Векслер, будущий знаменитый ученый, отец советских атомных гигантов-ускорителей. Пионер, электромонтер, секретарь фабричного комсомола, студент, ученый-коммунист — характерный путь для советской интеллигенции. (И не только для представителей славного племени физиков... Я помню, с какой гордостью показывал мне отец французский журнал, где под его статьей было крохотное примечание: бывший шахтер, доктор филологических наук. Да, он этим гордился: сын шахтера, ученик горнопромышленного училища стал автором книги о Флобере, исследователем творчества Стендаля и Бальзака. А ведь его мать, моя бабушка, так и не научилась грамоте.)

Со всем молодыми уходили они

в революцию и не мыслили своей жизни без революции. С винтовкой в руках устанавливали Советскую власть, учились в первых советских вузах, строили, изобретали...

«Жить просто — нельзя! Жить надо с увлечением!» — этот девиз юного Сергея Королева, конструктора советских космических кораблей, был девизом всего его поколения. Не просто работать, «включать» от сих до сих — нет, работать так, чтоб от твоей работы было весело на душе, светлее и тебе и людям.

Требовательность, беспощадная требовательность к себе — непременное условие такой работы, такой жизни.

Прочтите в «Прометее» отрывки из дневника Джека Алтаузена, комсомольского поэта, погибшего в сорок втором под Харьковом.

Год 1928-й, он уже известен, он уже читаем.

«Как горько сознавать, что ты еще ничего не сделал! Как больно думать, что, может быть, и не сделаешь. Самоусовершенствование — вот что мне нужно. Неужели я простой графоман, которых так много развелось в «подлунном мире»? Боюсь этому верить...

То, что в культурной среде усваивается сызмальства, входит в плоть и в кровь, то нам, после, дается с большим трудом. Надо переварить очень многое сразу. Мне скоро 22, а что я знаю — ничего. Я невежествен убийст-

венно. «А невежество — никогда не торжествовало» (Маркс)...

Как я счастлив, что наконец понял, какая огромная радость — стихи, как надо беречь себя от всякой пошлости. Пошлость и поэзия несовместимы (это я говорю без уездной высокопарности)...

И снова: «Ах, как не хватает культуры! Иногда чувствуешь себя рыбой, выброшенной на песок, которая тщетно хочет вздохнуть полными жабрами».

Да, во всем этом нет «уездной высокопарности». Это тоска по совершенству, которая отличает каждого уважающего себя человека. Без этой тоски нет и радости труда, радости жизни.

Стремление «во всем дойти до самой сути» отличает настоящего Мастера, настоящего Человека, кем бы он ни был: ученым, рабочим или солдатом. Делать свое дело так, чтобы не стыдно было за свою работу, — необходимейшее условие человеческого существования...

В «Прометее» я вновь встретил имя своего любимого писателя — Виктора Кина. Он успел завершить очень мало из начатого: жизнь его оборвалась рано, в самом начале творческого пути. Единственное его большое произведение, дошедшее до нас, состоящее на вооружении комсомола и сегодня, — роман «По ту сторону». Как писалась эта книга?

«Он безжалостно исключал целые эпизоды, отлично написанные, если, по его мнению, они хоть чем-нибудь нарушали архитектурный замысел, ритм книги, — пишет Ц. Кин, вдова писателя. — Бывало, я прямо-таки умоляла Кина не выкидывать какую-нибудь сцену, которая мне особенно нравилась, но Кин был совершенно непреклонен: «Не лезет», — и спорить было бесполезно...»

Бескомпромиссная безжалостность к себе, стремление достичь «потолка», высоты создают вокруг настоящего человека своеобразное поле высокой нравственности. И это сказывается на окружающих, на всех, кто соприкасается с таким человеком.

Читатель «Прометей» не обойдет, я уверен, своим вниманием непривычную для такого рода сборников документов, воспоминаний, очерков и рецензий главку — записки Алексея Константиновича Столярова, молодого коммуниста 20-х годов.

«В этих записках Столярова, — говорится в небольшом к ним вступлении, — много сокровенного, интимного. Часть такого рода страниц приводится с купюрами. Однако нам кажется, что было бы неверным совсем скрыть то, что уже принадлежит истории, а следовательно, людям будущего. И современному молодому читателю полезно знать не только то, как работали и боролись люди, сражавшиеся за победу Советской власти, но и как они любили, как решали те моральные, этические вопросы, которые волнуют молодежь каждого поколения. Ведь многие борцы революции, имена которых мы читаем в названиях улиц, черты которых узнаем в скульптурных портретах, тоже любили и страдали, волновались и трепетали, потому что ничто человеческое не было им чуждо».

Я не могу и не берусь пересказывать или цитировать сами записки А. Столярова. Их необходимо читать самому: это человеческий документ необыкновенный, трагический.

Может, прочитав эти записки, эту повесть о советских Ромео и Джульетте, Люсе Лисиновой и Алексее Столярове, поэты напишут поэмы, прозаики — романы, ибо такая любовь, светлая, возвышенная, самоотверженная, достойная и поэм и романов. Но, может, молодой человек, читатель «Прометей», найдет здесь ответ на свои вопросы, вечные вопросы о любви и дружбе... Может, он ощутит в этих сбивчивых, нервных строчках то настоящее, непреходящее, что необходимо и ему, сегодняшнему, юному...

Совсем маленькой девочкой приехала в Москву Лиля Кара-Стойнова, дочь болгарских революционеров. Ей было шесть лет, когда погиб отец, один из руководителей

Сентябрьского восстания 1923 года, когда ее с сестрой, с маленьким, только что родившимся братом бросили в тюремную камеру, к матери.

Судьба навсегда разлучила мать и детей. Мать погибла перед самым освобождением Софии от фашистов, дочь Лиля — в 1943 году, в советском партизанском отряде.

У Лили Кара-Стойновой было нелегкое детство. И на фронт она ушла, потеряв любимого человека, оставив маленького сына.

«Где ты, сынок? Думаешь ли о матери? Когда вспомнишь, всегда щемит. Неужели я виновата? Разве я когда-нибудь обвиняла маму?»

Нет, не обвиняла, но много раз в отчаянии звала и еще беспомощно страдала.

А если погибну я?..

Я знаю, что, идя в операцию, рискуя жизнью, я ни о чем не буду думать — только о том, чтобы в случае моей смерти сын не очень осуждал меня. Чтобы я не заслужила его упреков.

Он — я. Он вырастет и будет думать, как думаю я. У меня не будет трагедии матери и сына. О, только бы кончилась страшная опустошающая война!

Пусть не мне — другим будет очень светло и очень хорошо!»

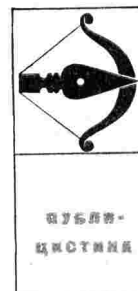
Они не могли жить иначе, дети нашей революции, ибо революция дала им жизнь. Один из авторов «Прометей», Вл. Дмитриевский, пишет:

«Я очень рано, явно в нарушение Устава, был принят в комсомол. Двенадцатилетним мальчиком, в марте 1920 года... Принят, так как до этого я уже состоял в детской коммунистической организации, созданной, если не ошибаюсь, еще в 1919 году... была у нас в Туле такая».

С интересом прочтет читатель и библиографический отдел сборника, в котором говорится о книгах, посвященных комсомолу на войне, зачинателям комсомола, его знатым людям, увидит редкие фотографии, познакомится с уникальными документами — свидетельствами героической истории первых комсомольских поколений.

Э. Костяшкин

Педагогическая романтика



Рисунки
В. Терещенко.

Демобилизовался я в 1948 году и по какой-то духовной тяге оказался учителем физкультуры. А может быть, и случайность привела студента юридического факультета в поисках заработка к мальчишкам одной из столичных школ. Так или иначе, но стал я классным руководителем 7-го «Б».

В нашей школе не было ничего, кроме пустых классных комнат с партами, беденького физико-химико-биологического кабинета да ободранного «коня» в длинном школьном коридоре, где проходили уроки физкультуры. Чем же было занять мне, молодому классному руководителю, 40 шустрых мальчишек? Съездили несколько раз за город — дорого, да и бесцельно как-то. Ночевать негде, палаток и спальных мешков не было. Попечем картошку на костре, погоняем самодельный, из тряпки, мяч — и обратно. Не гербарии же собирать! А в будние дни и того хуже. Разбрелись мои соколы по дворам, и словно липла к ним всякая брань и нечисть.

Потихоньку начались ссоры, обычные глупые проказы и шкоды. Нужна была цель, перспектива, пионерская романтика, а ее не было.

Однажды подрались двое ребят, и один из них, убегая, юркнул в угольный люк школьного подвала. Сунулся я за ним, а там темно, вода хлопает, хлам на голову сыплется. И тут какой-то внутренний педагогический демон шепнул мне, что подвал — это вещь, нечто таинственное и загадочное, на чем можно поупражнять мышцы и интерес моих пацанов.

— У кого есть фонари, свечи? Пять минут — и мы отправляемся на разведку будущего! — кричу, вылезая из люка и сам распаясь на ходу.

Принесли фонарики, огарки свечей, даже керосиновую лампу, и мы, тихо сломав замок главной подвальной двери (бывший в ту пору директор ни за что не подпустил бы нас к ней), начали спуск в эту черную бездну.

Чего только не увидели мы при свете наших огарков!



Столетнюю историю московской гимназии — а потом трудовой школы — со всеми ее взлетами и падениями! Разбрелись по закоулкам. Крутили сломанные глобусы, лазали по колено в воде среди

старых классных досок, шкафов со скелетами бывших чучел, пока кто-то из ребят не натолкнулся на какие-то ржавые станины допотопных механизмов. И тут вырвался наружу вечно живущий в душах мальчишек Железный Бог — интерес к технике.

— Ребята! Машины! Ура!
— Во! Можно завод...
— Что завод?
— Запустить завод. Чтоб работал и...
— И? Что и?..

— И что-то делать. Деньги зарабатываем, оружия наделаем, колбасы купим... (а ребята тогда еще слишком много думали об оружии и колбасе).

С потолка капало. Одна за одной гасли свечи. А мы все говорили и спорили около этих археологических памятников трудового обучения 20-х годов. И все мы словно чувствовали, что вот в ту минуту стоим не у могилы труда, а у новой его колыбели.

Цель сформировалась просто и четко: вычистить все в подвале, провести электричество и организовать мастерскую. Глаза ребят загорелись огнем завтрашних побед: будем делать мебель, pedalные автомобили, лодки и даже парусники...

Что было дальше? Опять-таки тайно, по вечерам, прячась от директора, мы очистили подвал, побелили его, провели свет, натаскали досок и сделали столы. Единственным нашим помощником был старый дворник дядя Саша, сам в давние времена преподававший то ли столярное, то ли слесарное дело — «ремесла», как заявлял он с гордостью.

Через пару недель наша мечта стала выдыхаться. Завод не задумал. Колбасы не было. А слухи

поползли, и, как всегда, запахло гарью. В учительской стали поговаривать о каких-то темных делах 7-го «Б», о двойках (которых, кстати, раньше было больше), об ухудшении внешнего вида учеников. А это было так: ребята стали еще грязнее и оборваннее. Но главное, упрекали в отрыве целого отряда от пионерской жизни, суть которой я за несколько месяцев так и не уловил.

Разговоры эти вызывали у меня гнетущее состояние под ложечкой. В общем, «отрываться» никак нельзя было. Дело готово было рухнуть в самом зародыше. Но когда, казалось, сил больше не было ни у ребят (возиться с хламом), ни у меня (отбиваться от директора, взгляд которого становился все прищуреннее и загадочнее), пришла помощь.

Пришли обыкновенные отцы двух самых отъявленных моих удалцов и повели до тех пор неведомый для меня педагогический разговор.

— Дело вы, Эдуард Георгиевич, затеяли хорошее!

— Мой-то совсем другим стал. Слово мозги ему новые вставили. За инструмент взялся, и не то чтобы спер из моего ящика, а попросил. Говорит, для школы, а глаза у самого горят. Ну, значит, за душу взяло.

Я молчал, но внутри у меня засветилась, затрепыхалась какая-то маленькая гордость, крохотное педагогическое счастье.

— Так помогите же! Отцы! Что мне дальше-то делать?

— Так затем и пришли мы с Сергеем Ивановичем. Пошли на ваш завод!

Это было второе рождение мечты. Хотя нет, это была новая мечта, еще ярче первой. Руки отцов, а их через несколько дней стало уже около 10 пар (а всего у меня в классе тогда было... 14 отцов), оказались как раз тем подспорьем, с которым мечта превратилась в красивое реальное дело.

Кто-то где-то на кого-то нажал, и директор при всех, в учительской, похлопал меня покровительственно по плечу.

— Ничего! Давай! Труд создает человека. Только смотри...— Директор в какой-то мудрой задумчивости пошел по своим делам.

А класс кипел страстями. Жизнь его приобрела глубокий земной смысл. Завхоз чуть ли не стол свой со счетами поставил у дверей нашего класса. Еще бы, все сломанные стулья и столы школы стали громоздиться около 7-го «Б». Их принимал «Юра

Свист», как его звали не так давно между собой ребята, а теперь приемщик заказов «Трудовому отряду».

Но грубые скамейки и обшарпанные столы, которые мы ремонтировали, были только началом. За ними пошли сломанные приборы, бесконечные полочки, изготовление ящиков для биологического кабинета, тачек для соседнего детского садика...

Мальчишки ходили гордые, буквально купаясь в лучах трудовой славы. И чтобы ничто не омрачало ее, даже учиться стали с каким-то рвением и азартом.



Родители приволокли с заводских тиски, дрели, сверальные станки. Возник «совет мастерских», «главный инженер», склады сырья... Постепенно ремонтные дела отошли на второй план. К весне мы построили восемь неуклюжих лодок и три огромные неразборные байдарки, ветряной электродвигатель, отремонтировали два старых бензиновых движка.

Из домов, что шли на слом, ребята натаскали старых проводов, гвоздей, досок, кровельного железа, Евгений Иванович Афанасенко, наш зав. рона, добыл нам триста штук кирпича и целых десять листов фанеры, а главное, благословил нас на нечто вообще невиданное — на строительство летнего туристского, своего собственного школьного лагеря.

Профиль нашего лагеря определил старый, ржавый, списанный еще до революции катер, вросший в землю около одного из затонов. Химкинского порта. Мы думали восстановить его и сделать своим флагманским кораблем. Короче, к концу мая создана была мощная материальная база будущего, первого в Москве водного туристского лагеря.

Наконец настал день, когда делегация из придирчиво отобранных всем отрядом трех мальчишек направилась в соседнюю женскую школу с предложением делать этот лагерь вместе.

Это было неслыханно, почти как сватовство в пятнадцать лет. Так нас в женской школе и поняли... Пришлось набирать девчат «по знакомству», минуя официальную педагогику. И ведь нашлись! Пятнадцать отчаянно смелых девчушек, готовых ударить с нашими ребятами на край света, видимо, от еще более тоскливой, чем в мальчишеских школах, жизни.

Интересные дела в большой школе быстро привлекают все новых и новых ребят, пока не становятся каким-то общешкольным увлечением, закладывающим основу большого коллектива.

Я давно заметил, что в мастерской вдруг стало как-то уж оченьлюдно и тесно. Появились долговязые фигуры стартерклассников, а с ними и радиомастерская, фотоцех, какие-то чертежи. Стали в наш подвал заглядывать и учителя. Первым пришел маститый историк Федор Петрович с небольшим чемоданчиком отличного столярного инструмента. И, ко всеобщему удивлению, за два вечера сделал стойку для карт в кабинет истории, не проронив при этом ни одного слова. Сделал и ушел. А затем спустился сам знаменитый физик Роман Николаевич — любимец и гордость школы. Наконец, словно случайно впорхнула старшая пионервожатая и... горячо одобрила «настоящее пионерское дело», тут же внеся в план своей работы отчет «главного инженера» на совете дружины...

Но подлинный переворот в жизнь школы внесла как раз стайка застенчивых девчушек, в аккуратных черных фартуках, с черными ленточками на концах удивительно одинаковых косичек.

Девочки, как волшебницы-феи, одним своим появлением моментально совершили серию невероятных чудес: исчезло скверносло-

вие, ребята стали в два-три раза медленнее передвигаться, прекратились и возня прямо на полу. Более того, появились белые рубашки и даже галстуки.

Однако делать еще что-либо «материально» полезное милые девчухи, увы, совершенно не умели. Но мы надеялись на их кулинарные и швейные способности и не сердились, когда они к стуку и грохоту мастерской добавляли лишь непрерывное щебетание, сдержанный смех, переходящий в таинственный шепот. Может, и в этом крылись какие-то таинственные витамины, которых так не хватало мальчишкам?..

Я убежден, из всех наук самая богатая идеями — педагогика.

Но нигде так далеко не оторвалась практика от целей и задач, изложенных в различных «теориях» воспитания, нигде так не отстала конкретная организационная сторона от разговоров и раздумий. И нигде так не нужна, как в работе с детьми, деловитость, самостоятельность педагогов и самих детей.

Тогда я еще не был педагогом, не умел часами говорить о добре и зле, разбирая по косточкам понятие нравственного облика строителя коммунизма. Я донашивал свою офицерскую форму и, естественно, жил еще привычками военной службы. И, скажу по секрету, совершенно не умел «тактично помогать детям, не вмешиваясь», или воспитывать пионеров без педагогического руководства отрядом.

Я банально командовал.

Была цель — вывезти на пару месяцев сотню пацанов на берег какого-нибудь большого озера или реки, наладить их питание, спортивную и краеведческую работу, походы... И организовать работу в совхозе или колхозе, чтобы хоть на картошку и молоко заработать.

По требованиям вековой армейской логики сперва был составлен оперативный, то есть деловой, план всей кампании, затем поднято знамя лагеря, под которое встал наш «Трудовой отряд» и 15 девочек, а затем пришли с письменными заявлениями ребята чуть ли не всей школы с 5-го по 10-й класс. Отбирала специально назначенная тройка моих мальчишек по двум принципам: главному — здоров ли и что умеет делать, и негласному — действительно ли на лето остается во дворе и деться ему некуда или и без нас может отдохнуть с родителями на даче.

Затем будущих робинзонов я разделал на несколько отрядов: строители, флотская команда, до-

бытки (эти ходили по разным учреждениям и выпрашивали все, что можно было выпросить, — от гвоздей и старых досок на стройке до денежной дотации от общества собаководов на кормление двух лагерных псов), провиантская группа, краеведы... Над всем возвышался совет лагеря, наш боевой штаб, в который официально вошли все командиры групп, а на вечерних заседаниях мог сидеть вообще каждый желающий.

Сперва методика управления этой армией была самой простой: я говорил, что надо сделать, как и в какой срок. И непременно указывал время докладов о ходе дела. Затем эти функции перешли к совету лагеря, с докладом уже не мне, а командиру соответствующей группы. Вопрос о возможности иметь дело с нерадивыми и плутами решался тут же, публично. Затем он оформился «документально» лаконичным параграфом в уставе водно-туристского лагеря: «Болтунам и врунам в лагере места нет».

Наконец настал день, когда колонна грузовиков, выделенная нам после месячной осады военных, выехала со школьного двора. На первой машине гордо развевалось бело-голубое знамя лагеря, символизируя нашу солидарность с военно-морским флотом. И чего только не везли эти моторизованные возы! Черные доски, бревна от древних московских особняков, кучи старого кровельного железа, остовы лодок, сгнивших еще до войны около прудов Центрального парка культуры и отдыха... Юными, свежими, сияющими были лишь ребята — моя первая коммуна.

В последние годы трудно найти статью на темы воспитания без обильного цитирования А. С. Макаренко. Это понятно. Авторитет великого педагога придает силы одним, мудрости другим, выводит «на уровень» третьих. Теперь и я в лекциях и статьях частенько ссылаюсь на него, скрупулезно вписываю его мысли и «подпираю» им многие рассуждения о коллективе, о труде, о «голом требовании»...

А тогда я ничего не писал. И Макаренко прочитал всего один раз, как все: «Педагогическую поэму» да «Флаги на башнях». Скажу больше, я вообще тогда ничего больше не читал педагогического. Не потому ли «Педагогическая поэма» произвела такое на меня действие? А педагогический институт я окончил лишь десять

лет спустя, будучи уже директором большой столичной школы.

И если первое, что взял я тогда стихийно у А. С. Макаренко, был труд, то второе — коммуна. Это еще более широкое понятие, в которое вмещается хозяйственная деятельность, питание, строительство, самоуправление, несение многих обязанностей, уклад сложной совместной жизни большого развивающегося коллектива. Только школьную учебу не сразу «втиснешь» в жизнь коммуны, тем более обычную школу, без всяких продленных часов, без интерната: пришли ребята, разошлись по классам, отсидели уроки и пошли по домам в разные стороны, размахивая портфелями. Разве что кто на кружок раз в две недели остался... Какие уж здесь коллективистские ответственные взаимосвязи?!

А у Макаренко была коммуна, полная реальных трудностей, больших забот, напряжений, успехов и неудач. Гоня ребят в нашем коридоре через «козла», я с болью чувствовал, что этим молодым, гибким парням нужно упругое сопротивление жизни и что не воспитать в них мужества, выносливости, жизненной хватки да и просто любви к лесу и полю, к ветру и стуже, если так пройдет их детство в городском ватном коконе, в перебежках от школы до дома и обратно...

Поляна на берегу большого Пестовского водохранилища встретила нас первозданной тишиной, мелким кустарничком и тихой рябью холодной, серой воды.

— Природа... тишина...

— Рыбы, небось, здесь! — полупшепотом перебрасывались ребята, окружив меня притихшей толпой.

— А жить-то как тут? — раздался первый трезвый голос нашего шеф-повара, огромного Юры Кулишенко.

Его голос вызвал естественный рефлекс: все вдруг вспомнили, что завтракали рано утром, что голод уж давно грызет изнутри, что действительно надо жить, то есть прежде всего что-то пожевать.

— Хлебушка? Так он на самом дне второго грузовика в ящике. Вон под тем железом... За работу, отряды! — Это я уже рывкнул, как перед боем.

И как не было тишины. Загрозотали ящики, доски, побежали в лес костровые, забегали с охапками дров девчата, застучали топоры...

Все это движение было заранее распределено, размечено, расчи-

таво до мельчайших нюансов, с учетом сложных взаимоотношений коммунаров. Например, можно было просто сказать: «Девочки носят сучья для костров и еловые ветви в шалаши и под палатки», — и все. Но я отлично знал, что работа будет в три раза лучше, если рубить эти ветви будет красавец и весельчак Юра Змиевский, а укладывать еще более веселый и ладный Юра Фомичев. Девчата, как газели, носились между ними, излучая и видимые и невидимые невооруженным глазом лучи счастья.

Вот так Макаренко всегда видел весь спектр детских эмоций от открытой радости до глубоко затаенной зависти, до нежной печали и горя давно пережитого, но не забытого.

Как часто педагоги, затюканные совещаниями, поработанные составлением конспектов и бесконечными дополнительными занятиями с двоечниками, ограниченные «борьбой за полную успеваемость», не видят в учениках ярких личностей, бесконечного многообразия их характеров. А поэтому и не властвуют эти учителя над развитием духовного облика своих питомцев. Учеба и становление личности идут как бы двумя, не связанными между собою процессами, как не связаны между собой уроки и внеурочная жизнь ребят. Нередко отличник Валерий уходит из школы в большую жизнь отъявленным эгоистом, приспособленцем и двурушником, а затертый на задней парте, туповатый Коля, вырвавшись из плена двоек и окриков, преображается даже внешне: через год-другой встретишь его и поразишься гордой осанке, открытому взгляду, глубоким суждениям о жизни, о своей работе... Учеба обращает к нам ребят одной гранью, на которой мы строим все свои характеристики. Иное дело — участие педагога во внеурочной жизни ребят, и особенно в организации такой летней коммуны.

Это другая жизнь, со своими педагогическими законами и концепциями, подчас более глубокими, чем в учебном процессе по твердым программам и одинаковым для всех учебникам...

За хлебом в сельский магазин как-то поехали на шлюпке четверо ребят. Хлеб в магазин привезли только под вечер. Пока мальчишки таскали вниз к лодкам огромные мешки с хлебом, стемнело, стал накрапывать дождь. На водохранилище поднялась крутая волна. Ребята скинули с себя куртки, брюки, рубашки и накры-

ли ими мешки, чтобы хлеб не подмок. Двое гребли и разогревались на веслах, а двое других подгребали досками. Сперва сломалось весло. До лагеря оставалось не менее километра, когда лодку стало заливать. Старшим группы был Игорь Савельев. Он приказал всем прыгать в воду и вплавь толкать лодку вперед. Сергей и Костя прыгнули, а наш сказочник, волейболист и общий любимец Лерочка отказался. Так он и ехал



пассажиром до самого лагеря. Промерзших ребят оттирала, зажарила им специальную яичницу, что было в ту пору неслыханной роскошью и вершиной благодарности. А на утренней линейке физиономия Лерочки светилась огромным фонарем явно ночной выпечки... В этой сложной ситуации мне ничего не оставалось, как не замечать этого фонаря и всего того, что он ярко осветил, — педагогика уже свершилась.

Коммуна напряженно строила лагерь. Не только и не столько для себя, сколько для тех сотен ребят младших классов, которые стаями носились по летним московским дворам, гоняли вместо мячей консервные банки и били из роготок стекла. Для них-то и вколачивали ребята, стоя по грудь в холодной воде, огромной деревянной кувалдой сваи под пристань, крыли железом навес сто-

ловой, оплетали прутьями стены туалетов, корчевали пни на будущей баскетбольной площадке.

Не труд — работа, а труд — забота и притом забота не о себе и своих ближних, а о чужих, о далеких, о слабых возвышает человека, делает из него настоящего борца — вот кредо макаренковской системы трудового воспитания.

Смысл коммуны не в улучшении своего отдыха и благополучия, а в той огромной прибавке физической мощи и нравственной силы коллектива, которая растет в заботе о других. В этих и только в этих случаях происходит становление коммунистического характера у ребят. Не об этом ли так четко сто лет назад сказал Маркс: «Только в коллективе индивид получит средства, дающие ему возможность всестороннего развития?»

В первое же лето наш лагерь принял более пятисот ребят с улицы. Их собирали по дворам, комплектовали в группы и привозили к нам на пять—десять дней. К каждой группе совет лагеря прикреплял двух старших ребят, которые и возились с ними, как заправские взрослые педагоги. И здесь вопрос ставился с жизненной простотой и неотвратимостью: вот вам на двоих десять пацанов: отмыть, накормить, организовать пять дней жизни: спорт, работа, один поход пеший, один водный, в конце отчетный костер... Получите деньги: по пять рублей на нос в день (пятьдесят копеек), остальные заработайте в колхозе «1 Мая»; отвечаете за каждого! Идите строить шалаши. Успеха!

И все же самые убедительные результаты коммунарской жизни не ограничились физической закалкой и сравнительно быстрой выработкой организаторских способностей.

Они сказались позднее. Когда далеко позади остались костры, походы по Уралу, Кавказу, Украине, когда старшие ребята начали штурм экзаменов на аттестат зрелости, мы были поражены признаниями старейшего педагога, работавшего еще в дореволюционной гимназии, — директора 29-й школы, депутата Верховного Совета СССР двух созывов Екатерины Васильевны Мартыановой, единственной директрисы женской школы, активно и открыто поддержавшей меня в создании турлагеря для старшеклассников:

— Дорогой мой Эдуард Георгиевич! То, что в вашей коммуны мои девицы научились стирать себе штаны и рубахи (так и сказала

эта мудрая женщина), ничего нет удивительного. И их самоотверженная возня с уличными оборванцами лишь открывает простор для чистой женской души. А вот то, что они поумнели и стали с интересом учиться, поистине чудо. Да-с, голубчик, это и есть совершенно неожиданный для меня результат всей лагерной жизни и подготовки.

Кинолентой понеслись мои первые учительские годы. То мощная симфония, то тоскливая мелодия, а то и резкие удары тяжелого барабана административных колотушек аккомпанировали созданию моей «педагогической поэмы» — организации большого школьного коллектива «по-макаренковски».

В середине пятидесятых годов я познакомился с женой великого педагога — Галиной Стахиевной Макаренко. У нее дома, в Лаврушинском, и на даче часто собирались друзья Антона Семеновича, его ученики, приезжая иногда очень издалека: Семен Афанасьевич Калабалин, Василий Илларионович Кношник. Я жадно слушал их воспоминания, особенно удивляясь большой культуре и эрудиции воспитанников Антона Семеновича. Были на этих встречах друзья и последователи Макаренко В. Г. Финк и В. Н. Терский. И вот однажды я спросил Галину Стахиевну: как же ребята успевают в коммуне Дзержинского учиться, если они по четыре часа в день работали на производстве? Не в последующие ли годы набрали они свой багаж знаний?

И Галина Стахиевна повторила то, что когда-то сказала Мартынова: Антон Семенович не раз утверждал, что одна учеба не развивает ум, но лишь обогащает его книжными знаниями, и тем более она не формирует характер человека — оправу ума. Только соединение учебы с серьезным трудом и общественной деятельностью по-настоящему обеспечивает становление действенного человеческого разума.

За окном 1969 год. Романтика освоения космоса, всех покорившая физика, бородастые геологи у костра, гордые строители сибирских ГЭС... Все это вихрем несет вперед, увлекает сердца и разум молодежи. Глядя на это, нам кажется, что школа стоит на запасных путях этакой вереницей теплушек, обвешанных веревками с бельем, с приставными лестничками... А мимо несутся

вдаль экспрессы, сверкая яркими надписями: «Биохимия», «Кибернетика», «Квантовые генераторы», «Исследование морских глубин». И люди, едущие в этих экспрессах, невольно пожимают плечами, глядя на мирные дымки из труб школьных теплушек, на играющих вокруг них ребятишек: «Ну и школа! И чему там только учат?! Средневековый лепет... Слабые знания».

Да. Все эти острия науки vonatются далеко вперед, в завтрашний день. Но если вдуматься, то...

Школа, какая она есть, — это фундамент всей человеческой жизни. И не будь ее устойчивости, степенной величавости и скромности, кувыркались бы все науки, как стрелы без оперения. В медленном, поступательном развитии школы есть свой закон, не менее тесно связанный с жизнью людей, чем быстрое развитие электроники и радиоастрономии.

И романтика в школе величественна, нежна и трепетна, так же значима в педагогической работе, как любовь в жизни людей. Педагогика — старшая сестра любви. Она из человека «в возможности» дает его «в сущности», творит личность.

Последнее — творчество, пожалуй, и есть главное в работе школы. Здесь как бы сливается воедино работа двух великих создателей — природы и педагога.

Антон Семенович Макаренко — рыцарь педагогической романтики и в то же время крупнейший, творчески работавший ученый, заложивший основы теории и методики коммунистического воспитания в коллективе и для коллектива.

Но Макаренко неповторим. Пытаться его копировать — все равно, что пытаться петь чужим голосом, играть на фортепьяно чужими руками. Однако, как и в любом творчестве, в педагогике есть свои приемы: прежде всего это стиль работы, отношение педагога к задаче, направление, как говорил К. С. Станиславский, «внутреннего видения».

Идти по пути Макаренко — это значит, опираясь на его теоретические положения, ориентируясь на имеющиеся возможности и условия, создавать такую школу, которая бы воспитывала ребят с прицелом даже не на сегодняшний, а на завтрашний день, гарантируя соответствие уровня их знаний и воспитания требованиям завтра. На одной урочной системе такой школы создать нельзя.

Это архисложная задача, для которой еще нет кибернетических методов и быстродействующих счетно-решающих машин. Поэтому очень многое, если не все, решает творческое горение и энтузиазм, не только макаренковская логика, но и его стиль работы.

Вот почему быстро усиливается новое звучание макаренковской педагогики, ее новый взлет. Талантливый частный опыт 20—30-х годов становится важнейшей государственной социально-экономической и философской задачей.

Жизнь предъявляет к выпускникам школы с каждым днем все более строгие, сложные и разнообразные требования, что и рождает новые формы работы со школьниками, новые виды деятельности: это и общественно полезный труд, пионерская работа, спортивные дела, музыкальное образование, туризм и экскурсия — то, чем так успешно и занимался Макаренко. И это нужно не для немногих, а для всей нашей 50-миллионной армии школьников.

Вот почему так быстро растут группы продленного дня, расширяется работа с ребятами во дворах, в клубах, в домах пионеров, не говоря уже о бурном скачке кружковой, спортивной, туристской и иной внеурочной работы во всех обычных школах.

Новая школа — школа всестороннего развития, воспитания гармоничной личности каждого ученика — складывается медленно, но процесс этот неумолим, его нельзя повернуть вспять.

Главные трудности в том, что разовые мероприятия, стихийно возникающие и распадающиеся кружки, достижения отдельных классов не решают проблемы. Нужна новая школа, точнее, иное сочетание учебной и неучебной работы в общешкольном масштабе, иной регламент и педагогический уклад всей школьной жизни.

И такие школы начали появляться. Они рождаются прежде всего на базе школ-интернатов и школ с продленным днем, где рамки времени более способствуют созданию системы всестороннего воспитания.

Московская 544-я... Одна из первых школ продленного дня в стране, начавшая еще в 1955 году смелое наступление на вековые традиции голый урочной системы да и всего школьного уклада.

Конечно, уроки и здесь главное, самое важное и самое трудное. Но они здесь не тянутся сплошным забором до двух часов дня, разделяя мир детей на две несоединимые половины: школу и все, что вне ее стен.

Позади четыре урока, и всей гурьбой ребята какого-нибудь 6-го «Б» 544-й школы спешат в столовую, где «заготовщики» из их же класса накрыли на столы второй завтрак. А потом во двор, на пришкольный стадион, и далее — в свои дворы. Времени — целый час!

А затем шестиклассники идут в мастерские: мальчики — в столярные, а девочки — в швейные. Здесь не делают фотоаппараты «ФЭД», как в коммуне имени Дзержинского, но в этой школе вот уже пятнадцать лет на сотни тысяч рублей в год выпускают хорошей мебели для детских садов Москвы, халаты для больницы, белье для яслей, спецодежду для заводов, макеты и модели для проектных институтов.

Полтора часа в цехе пролетают незаметно. Обед. И снова — уроки, но теперь уже самостоятельные занятия в кабинетах фи-



зики, черчения, географии, где вместо прежних «домашних заданий» с тетрадкой и учебником ребята выполняют небольшие лабо-

раторные работы, могут взять из шкафа прибор, пойти в читальный зал библиотеки и заглянуть в детскую энциклопедию, походить по коридору, бормоча заучиваемое стихотворение.

И везде им на помощь придет учитель. Не просто воспитатель, а именно учитель, выступающий в эти часы как консультант. Многие ребята тут же будут и проверены, опрошены. А на последующем уроке на опросы по этим темам не расходуется драгоценное время, и новые темы изучаются глубже, тщательнее закрепляются.

И вот наступает вечер. Открыт спортзал, мастерские, все кабинеты; начинают работу десятки кружков, оркестры, вечерняя музыкальная школа.

Это уже не школа уроков и перемен, а большой ребячий клуб, где можно найти каждому дело по душе.

Кто же обеспечивает все эти занятия? Прежде всего педагоги, руководители кружков, секций и оркестров. Это школа, за счет доходов от мастерских имеющая достаточно денег для организации разнообразной деятельности учеников, вплоть до больших летних лагерей!

Не одни педагоги организуют ребят. Комсомольцы-старшеклассники ведут кружки математики для пионеров, пионеры мастерят с октябрятами кукол для кукольного театра, а в мастерских родители Пети и Сережи, собрав вокруг себя их приятелей, строят для летнего лагеря разборные байдарки...

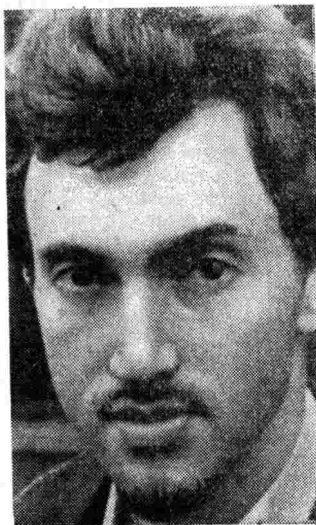
Пройдите по коридорам, классам и увидите, что многие сами организуют здесь свой послеурочный досуг. Так сказать, в одиночку упрямо штурмуют так и не решенную задачку или, побегав во дворе, снова возвращаются в школу проявить пленку в фотолаборатории, погонять мяч в спортзале или починить сломанный днем стул. Наконец, побыть с собою, со своими мыслями наедине.

Вся эта свободная деятельность, возможность выбора того или иного дела регулируются и тонко направляются опытной педагогической рукой. Это не хаос, а очень строгий и размеренный до мелочей макаренковский уклад жизни большого школьного коллектива во главе с директором — педагогическим центром, и его опорой — комитетом комсомола. А от них идут линии связи к совету дружины, к спортивным, хозяйственным, учебным, трудовым, шефским секторам, к родительским комитетам...

Школа. Когда-то, в давние времена, это слово рождало картину бегущих с портфелями и ранцами маленьких ребятшек, образ доброй учительницы в очках, старенький глобус и черные крышки вековых парт. А сегодня школа — это двадцать три миллиона пионеров и около семи миллионов комсомольцев, в сумме составляющих население такой страны, как Польша. Это лаборатории со сложными приборами, спортивные городки, это жаркие споры на научные и политические темы, это жизнь огромной социальной группы молодежи. Это — море страстей, характеров, индивидуальностей. Сейчас, пожалуй, в школе главная «сила» не малыши, а именно это море подростков, плещущееся между школьными уроками и семейной педагогикой, и концы с концами у этих педагогов часто не сходятся. Это самостоятельная и очень сложная социально-педагогическая тема. Здесь же мы отметим только еще одну мысль. По мере развития школы, роста числа в ней учеников средних и старших классов центр воспитательной работы перемещается от семьи к школе, главному педагогическому учреждению общества.

Это перемещение не может не перестраивать школу, ее отношения с семьей, педагогический уклад самой семьи. Перестройка школы с ее устойчивостью — дело медленное и трудное, а ребята растут быстро, их интеллектуальный и духовный облик меняется буквально не по дням, а по часам. Если педагогика не поспевает за ростом своих питомцев, то, естественно, возникает разрыв в требованиях, методах и даже задачах воспитания, возникают самые разнообразные (и массового характера) недостатки в подготовке подрастающего поколения к трудовой и общественной жизни.

Педагогика Макаренко позволяет избежать многих сложностей на пути развития школы. Она если не несет в себе готовые педагогические формулы, то показывает направление в создании системы коммунистического воспитания. Труд, коммуна с комсомольско-пионерским самоуправлением, объединение учебных занятий со всей неучебной жизнью ребят под руководством школы, творческое отношение педагогов к своей работе — вот главные, по нашему мнению, вехи макаренковской педагогики, доступные и необходимые для каждой школы, стремящейся к каждому коммунистическому воспитанию своих питомцев.



Владимир Леви



Я — для других

(Психологические заметки)

1. КОЕ-ЧТО О ЗАСТЕНЧИВОСТИ

У здорового человека почти не бывает моментов, когда он перестает смотреть на себя со стороны.

Это продолжается даже во сне. У японцев поза во сне считается важным показателем культурности и специально вырабатывается с детства, особенно у женщин. Супруг имеет право потребовать развода, если заметит, что супруга спит некрасиво. Японская женщина должна следить за собой в любую минуту, другими словами, всегда смотреть на себя глазами мужчины.

Но это частный случай, а я хотел бы доказать, что мы смотрим на себя глазами других всегда, в любое мгновение, даже не подозревая об этом. Что подсознание наше так же пронизано взглядами других, как и сознание. Что смотреть на себя глазами других — особый человеческий инстинкт.

Начинается все с момента, когда маленький человек впервые осознает — нет, только чувствует, — что на него смотрят. С учета внешнего присутствия. Кончается присутствием внутренним.

...В холле Ленинской библиотеки стоят, прохаживаются, разговаривают люди. Засиделись, хочется размяться. Но как посмотрят на человека, который позволит себе заняться сейчас гимнастикой? Здесь это не принято, да и в голову не придет, отмечается на пороге сознания. А почему, собственно? Кому это помешает? Никому. Но, знаете, «я не псих», а потому гимнастику здесь вы не увидите. Почти непреодолимое взаимное сковывание.

На улицах, в переулках, по утрам или вечером можно встретить молодых и пожилых людей, бегающих в спортивных костюмах. В последнее время это происходит все чаще. Но обывателя бегуны шокируют. Они это знают, и лица их замкнуты.

Владимир Леви — кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт, выступал на страницах «Юности» в 1967 году (№ 1) со статьей «Сотвори самого себя». В том же году вышла его книжка «Охота за мыслью». Издательство «Молодая гвардия» выпускает вторую книгу Владимира Леви «Я и мы», фрагменты из которой мы публикуем.

Им приходится преодолевать дополнительное психическое напряжение. (Я знаю, правда, одно место, где такой бег по улицам в обычае, — Новосибирский академгородок.)

Мужчина идет с женщиной. Она плохо себя чувствует. Центр города. Выход из подземного перехода, лестница. «Дай возьму тебя на руки, ты же легкая». «Пусти, ты с ума сошел!..»

Что-либо изменить здесь очень трудно, даже при полном осознании происходящего.

Вы пришли на пляж. Вам не жарко и купаться не хочется. Но если вы сидите в полном облачении среди голой массы, то чувствуете себя идиотом, что вполне совпадает с мнением окружающих. Вон кто-то смотрит и говорит: «Пижон!» Приходится раздеваться, а то еще, чего доброго, подумают, что вы скрываете какой-нибудь физический недостаток.

Вы разделитесь на пляже, как и все. Но вот почему-то вы отошли от массы людей, голых, как и вы. И вдруг чувствуете, что вам не по себе. Ах, вот в чем дело — вы перешли черту, хотя и никем не проведенную, незримую, но реальную. Здесь уже полагается ходить одетым. И хотя, быть может, вы еще не успели встретить ни одного одетого человека, здесь уже нет раздетых; этого достаточно, чтобы вы почувствовали себя неуютно.

Учет присутствия других людей — и не только присутствия, но и их ожиданий — поддерживает нас в равновесии с миром, неучет чреват серьезными последствиями. Эти ожидания ограничивают и направляют наше поведение. В обществе это называют нормами, рамками. Точнее, эти нормы — лишь главные колен, «скелеты» ожиданий, а живая их плоть никакими рамками не ухватывается... Не в силу ли действия этого механизма некоторые люди кажутся нам слегка эксцентричными, чудаковатыми?

У социологов есть рабочее понятие — «роль». Не роль в том смысле, какой вкладывают в это слово актеры, и не перечень исторических заслуг, хотя где-то эти значения могут пересечься. Этим емким словом выражают суть взаимоотношений человека с другими людьми в очень широких пределах — от мимолетных житейских контактов до высших духовных сфер. В любом общении обязательно, волей-неволей,

исполняются какие-то роли, и сама личность человеческая может с этой точки зрения рассматриваться, как набор ролей.

Для самого же человека, субъективно, его роль есть некий набор ожиданий со стороны других людей. Роль учителя — то, что ожидается от учителя в тех или иных ситуациях. Роль отца — то, что ожидается от отца. Рольевые ожидания и направляют поведение. А человек играет множество ролей. Ребенком он играет роль ребенка, стариком — старика, в какой-то момент — одновременно роли сына и отца. Есть роли профессиональные и ситуационные: на улице — роль пешехода, в поликлинике — роль больного... Наконец, всегда и всюду человек играет роль человека в той мере, в какой ею проникается.

Но вот что существенно: рольевые ожидания осознаются нами не полностью. Часть из них всплывает в сознании только в ходе исполнения роли, а часть, возможно, вообще не осознается.

Неосознаваемый пласт ожиданий, как скрытая пленка, проявляется при гипнотическом перевоплощении. Те удивительные рольевые возможности, которые вдруг обнаруживаются у человека в гипнозе, есть, очевидно, то, что он сам неосознанно ожидает от других в тех же ролях.

Взвешивая в наше подсознание, такие ожидания способны внушать нам определенное поведение. То, чего ожидают от человека, он начинает произвольно ожидать от себя сам, и именно поэтому, может быть, мы стремимся общаться с людьми, которые нас одобряют, высоко ставят. Достаточно впечатлительный и внушаемый человек, на которого смотрят как на негодяя, может действительно ощущать себя негодяем — и соответственно поступать... Из роли бывает трудно выйти, это знают не только артисты.

Мы мыслим и чувствуем своими образами в глазах других, моделями «я — для других».

Почему, кстати, так часто испытывают взаимную скованность люди, которым как будто бы нечего скрывать друг от друга? Не потому ли, что каждый из них подсознательно боится какого-то неодобрения со стороны другого? Они просто внушают друг другу скованность, и каждый через другого — себе. Так могут проходить мучительные часы, а иногда месяцы и годы. Это торможение порою может снимать алкоголь; под его влиянием человек начинает все в меньшей степени смотреть на себя глазами других. В начале — иллюзия освобождения: пьяным кажется, что они общаются проникновенно, как никогда. Но потом — похмелье неизбежного отчуждения.

Тем же «ожидательным торможением» можно объяснить и нередкое явление «третий лишний». У А. есть друг Б. и друг В. Собравшись вместе, эти люди испытывают смущение, неловкость и скованность. Дело, очевидно, в том, что между каждой парой образуются несовместимые ожидания. А. для Б. — один, для В. — другой, а быть сразу двумя невозможно.

«Уважаемый тов. В. Леви!

Я никак не мог решиться написать вам. Все брался писать, но откладывал (а может, все пройдет, прояснится). Но в последнее время положение мое стало нестерпимым, и я наконец решился написать... Мне уже все равно, и поэтому я вам все напишу откровенно.

...Я никак не могу жить с людьми. Всегда и повсюду, увидев людей, я испытываю непонятный страх перед ними. Я не могу с ними даже разговаривать, ибо есть у меня еще одна болезнь: я всегда краснею, да-да, краснею перед людьми. Может быть, вам это смешно, но мне не очень. На улице я чувствую себя

неуверенно, боюсь встречи со знакомыми... У меня возникает ощущение, как будто все на улице смотрят на меня, и я, сам того не понимая, краснею. Постоянная неуверенность в себе дошла до того, что я стал редко выходить из дому. Ни с кем не дружу, боюсь своих сверстников. На работе не лучше. Как только внимание обращается на меня, я сразу же краснею и ничего не могу с собой сделать. Готов бросить работу и уйти куда-нибудь, но куда?.. Из-за этого вся жизнь осточертела. Напишите, пожалуйста, встречали ли вы уже в своей практике такое. Ведь когда-то я был совсем другим. Я был первый «заходила» на своей улице. Я думаю, все началось с того часа, как мы переехали на другую квартиру. Не буду вам рассказывать всю историю. Я уверен, вас это не интересует. Правда, и тогда у меня был дурной характер, но такого со мной еще не было. Мне 17 лет. Мать давно заметила мою отчужденность, мое одиночество, тягу к «четырем стенам» и все бранит меня, все время гоняет «к людям», часто ссорится. Наперед боюсь воскресенья.

...Посоветуйте, пожалуйста, что мне делать, можно ли еще с помощью самовнушения (самогипноза) исправить положение или же обратиться к врачу (но я думаю, что к врачу не пойду ни за что). Если бы вы согласились написать мне специальные формулы самовнушения и сколько раз их делать на день, то я бы считал это единственной возможностью (приказом), и пусть там будет что будет. Я бы заставил себя заниматься ими даже по 5 часов в сутки, только бы был уверен в успехе...»

Не буду подробно пересказывать, что я ответил моему корреспонденту, письмо которого при всех личных особенностях чрезвычайно типично. Основную суть ответа составляло доказательство, что его состояние не болезнь, а обычное явление, только обостренное до чрезмерности, что его боязнь людей есть на самом деле боязнь самого себя.

У меня лежит папка писем от молодых людей под рубрикой «Застенчивость». Это, конечно, мучительная загадка — неуправляемое краснение, скованность, страх... Приходится удивляться, какую силу имеет взгляд других над нашими нервами и телом. Под чужим взглядом мы не только краснеем, мы еще и сутулимся (только из-за застенчивости у многих неправильная осанка), покрываемся потом, совершаем странные, нелепые движения, неестественные поступки, теряем память, соображение...

Застенчивому кажется, что и говорит он не так, и держать себя за столом не умеет, и походка у него не такая, как надо, — а какой-то коварный механизм превращает его опасения в явь. Но более всего страдает он оттого, что уверен: все замечают, как он мучается, всем видна его несостоятельность, и люди снисходительно жалеют его или посмеиваются — эти ироничные, все постигшие, уверенные в себе люди, которыми полон мир...

Дарвин писал: молодая девушка, которая страшно краснеет, признавалась ему, что в это время она положительно не знает, что говорит. Когда он заметил ей, что это, быть может, происходит от тягостного сознания, что люди видят ее смущение, она отвечала, что это не составляет главной причины, потому что она иногда точно так же теряется, краснея при какой-нибудь мысли наедине сама с собою.

Из всех видов эмоций только стыд и краснение Дарвин нашел специфичными для человека. Что же касается краснения наедине с собой, то дело тут, конечно, в том, что фактически наедине с собой человек не бывает. Глаз другого, какого-то

«обобщенного другого», присутствует в нас всегда.

Застенчивость не вырабатывается, она возникает, застывая врасплох. Часто по поводу какого-нибудь внешнего недостатка. Еще чаще — без всяких поводов: она сама ищет себе повод.

Она возникает у одних в детстве, у других в отрочестве или в юности; зарождение ее совпадает с периодом, когда человеку как бы открывается собственная открытость, доступность взглядам других. А выражаясь научнее, когда стратегия общения достигает некоего ранга рефлексии: «Я чувствую, что ты чувствуешь, что я...»

Это давно поняли: застенчивость поддерживает себя именно тем, что стремится себя уничтожить — страх страха, скованность от боязни скованности. Но в конце концов застенчивость все же себя изживает: часто ли вам приходится встречать застенчивых стариков? Если бы некая кинокамера могла воспроизводить нам юность зрелых мужей, исполненных снисходительного апломба, то мы чаще всего видели бы юношей, с головы до ног пронизанных смущением, с кровотокающим самолюбием...

В состоянии смущения произвольная самооценка глазами других резко и неудержимо падает на самую низкую точку: «Я плох, я ужасен», — как бы говорит нечто внутри нас, и это немедленно тормозит, страшно сковывает. Такое состояние у одних может распространяться едва ли не на все ситуации, связанные с общением, у других — только на узко определенные (выступление перед аудиторией, у заикающихся — речь вообще). Чрезмерная застенчивость может привести к сужению поля деятельности и общения; у других она начинает «обрастать» защитными механизмами. И вот напускная самоуверенность, и дерзость, и панибратство — беззастенчивость от застенчивости.

При неблагоприятных обстоятельствах у очень застенчивого человека может начаться то, что называют «бредом отношения», — состояние, при котором «я — для других» стойко оценивается в отрицательных баллах. Таких людей трудно бывает убедить в хорошем к ним отношении, здесь нужен особый подход. Иногда дело доходит до кабинета психиатра. Но в ранней юности такое возникает довольно часто. Этот период совпадает с напряженным интересом к своей внешности, с внезапно обостряющейся проблемой прически, одежды, роста, комплекции, прыщиков... За этим, конечно, стоит пробуждающийся сексуальный инстинкт, с его естественным следствием — желанием нравиться, а в то же время это неизбежная стадия социального самоутверждения.

Застенчивость — это, может быть, первое, произвольное проявление потребности человека в одобрении со стороны других людей. (Дарвин заметил, что застенчивость удивительным образом сочетается с гордостью.) От того, какие баллы преобладают в «я — для других» — положительные или отрицательные, — зависит, становится ли человек уверенным в себе, пожалуй, даже кокетливым («я — для других» с плюсом) или ущемленным («я — для других» с минусом). У некоторых молодых людей до настоящего бреда некрасивости, и психотерапевтическое переубеждение здесь гораздо менее действенно, чем хотелось бы...

Первое, что необходимо человеку, страдающему чрезмерной застенчивостью, — это выработать у себя более реалистичный взгляд на общение. Стоит почаще вспоминать, что мы, как правило, преувеличиваем внимание окружающих к нашей персо-

не, что каждый, как и мы, занят своими делами. Более того, многие пребывают в таком же заблуждении относительно нашего к ним внимания...

Говоря строго, мы никогда не знаем и не можем знать с абсолютной точностью отношение к нам окружающих: и потому, что это отношение переменчиво и противоречиво, и потому, что у нас просто нет средств проследить за ним со всей полнотой. Здесь постоянный дефицит информации. Но по глубоко свойственной человеку избыточной перестраховке он делает «накидку»; произвольная гипотеза о внимании ко мне со стороны других исходит из максимума, а не из минимума. В этом смысле можно даже говорить о некоем «нормальном» уровне бреда отношения. Вот ситуация, когда этот уровень резко подскакивает: поскользнулся на улице, упал, чихнул, икнул, нечаянно рыгнул за столом и пр. Даже в одиночестве при какой-нибудь неловкости человек смущенно озирается, с нервным смешком произносит никем не слышимые слова...

То же самое, в еще большей мере, у выступающего перед аудиторией. У Чехова: молодой адвокат произносит свою первую речь, страшно волнуется, заканчивает с полным убеждением в провале; после речи казалось, что все только об этом и говорят... А речь была очень хорошей.

В такие моменты нам кажется, что ни для кого уже ничего не существует, кроме нас и нашего смущения, что мы в центре внимания всей вселенной... Здесь есть некоторое реальное основание: внимание действительно повышается, но, конечно, не в той мере, в какой это нам представляется.

Второе — практика аутотренинга: добиться, чтобы всегда, при любом общении, дыхание было совершенно свободно, а мышцы пластично расслаблены, особенно мускулы лица. Непринужденно, слегка улыбайтесь себе — это будет улыбка и для других. Достичь этого не так трудно.

Регулярно тренируйте расслабление. (Методика тренировок описана мною в статье «Сотвори самого себя» и в книге «Охота за мыслью».) Когда импульсы от напряженных мышц перестают «давить» на мозг, мучительная скованность сменяется ощущением свободы, легкости (а улыбка в этом смысле как раз представляет собой оптимальное состояние мимической мускулатуры). Импульс к расслаблению старайтесь включать с опережением: не во время разговора или выступления, когда скованность уже возникла, а до начала.

И, наконец, ко всему этому, стоит помнить, что застенчивость — недостаток, самый приятный для других. Да, застенчивость приятна уже потому, что она антипод хамства. Что еще, если не некоторая доля смущения, дает нам понять, что собеседник не склонен злоупотреблять нашим благорасположением? Впрочем, человек — существо столь многосложное, что застенчивость, как и любая черта, может сочетаться с любой другой.

2. НАБРОСОК О РЕВНОСТИ

В психологии нет замкнутых проблем; что, казалось бы, общего между ревностью и застенчивостью? Ревность агрессивна, застенчивость астенична. Однако та и другая, стремясь себя изжить, сами себя поддерживают; та и другая лежат на грани социального и биологического...

А вот они почти встретились:

Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим...

Сегодня мы возлагаем надежды на социальную психологию, психофизиологию и математику; возможно, недалеко время, когда начнут выходить книги с названиями «Кибернетика ревности» или «К теории нелинейных систем самолюбия». Но пока неторопливая наука подбирается к корням нашей души, мы все-таки имеем право и, пожалуй, даже должны думать о них сами...

Итак, инстинктивна ли ревность?..

На первый взгляд, несомненно. Звери, птицы, насекомые — все умеют ревновать. Ревнуют и самцы и самки, но больше самцы: ревнует тот, кто активен. Типичный случай: самец отгоняет от самки всех, кого может, то есть самцов низшего ранга, и вынужденно уступает высшим. Ранг самца и определяется тем, кто кого может отогнать.

Ревность животного слепа и безумна. Самец рыбы, охраняя предмет своей страсти, нападает и на бревно. Самые ревнивые петухи атакуют людей. Но уже у животных мы видим начало утончения и преобразования ревности. Ревнуют не только половой объект, но и объект, вообще высоко ценимый, появляется ревность привязанности и дружбы. Как ревнует собака хозяина! Эта ревность по своим механизмам, видимо, уже близка к мучительной непроизвольной ревности ребенка.

Хорошо помню соперничество за маму, которое разыгралось между мною, четырехлетним, и маленькой собачонкой Норкой. Она считала меня соперником низшего ранга, несправедливо наделенным какими-то чрезвычайными правами, и ненавидела до глубины души. Я же, сознавая свои права, боялся ими пользоваться, чувствуя, что с соперницей шутки плохи. И в самом деле, однажды, якобы за то, что я нарушил порядок — двигал под столом табуретом, — она мне прокусила ботинок.

А у взрослых? Не является ли человек наряду со всеми своими превосходными степенями и самым ревнивым в мире животным?

Несомненно, это сидит где-то очень глубоко. Данные клиники говорят даже за то, что у нас есть чуть ли не специальный центр ревности — где-то в подкорковых узлах мозга, где с удивительным постоянством обнаруживаются поражения при некоторых заболеваниях, сопровождающихся ревнивым бредом. О биологичности человеческой ревности говорит и то, что именно в этом так легко теряется чувство реальности, и очень четкая связь приступов ревности с приемом алкоголя, и преобладание мужчин среди патологических ревнивцев.

Но, с другой стороны, при широком взгляде на человечество феномен ревности обнаруживает такую изменчивость, такую зависимость от социально-культурных влияний, что всякие поспешные биологические выводы останавливаются. В затерянных племенах, где сохранился матриархальный уклад, ревнуют главным образом женщины. Есть и такие племена, где ревность совсем неизвестна.

Женщины евразийской цивилизации, судя по всему, ревнуют не меньше, чем мужчины, только ревность их принимает иные формы. Вероятно, нет человека, который бы совсем не знал этого чувства. У Достоевского есть прекрасные строчки о психологии ревности, о том, что ревнивцы скорее других прощают, но никогда не успокаиваются, что люди с самыми «высокими сердцами» падают наиболее низко в грязь подозрительности и выслеживания. И о том, что Отелло, как заметил Пушкин, вовсе не ревнив — он доверчив, и трагедия его в том, что погиб его идеал.

Конечно, у человека и ревность, как и вся наша психическая жизнь, привязана к «я — для других».

Да не покажется это утверждение слишком категоричным, но ревность взрослого, зрелая ревность всегда обнаруживает связь с чувством неполноценности — физической, интеллектуальной, социальной или какой-либо другой. Возможна ли ревность к сопернику, который по всем, абсолютно по всем статьям ниже тебя? Мне еще не приходилось встречать ревнивцев среди людей с устойчиво высокой самооценкой. Будет ли приниматься всерьез соперник «низшего ранга», если только человек действительно его считает его таковым? Трудность в том, что основные движущие механизмы здесь стремятся уйти в подсознание. Человек редко признается себе, что боится превосходства, что чувствует себя в чем-то ниже, слабее соперника. Зато какой бальзам для его души — обнаружить у того унижающие недостатки!

Думаю, что человеческая ревность есть прежде всего страх сравнения. Не допустить, чтобы другой был оценен выше, дал больше удовлетворения, исключить предпочтение, не уступить именно «высшему рангу!» В этом любовная ревность, по существу, не отличается от других видов конкурентных стратегий, например, соперничества честолюбий. И удивительно ли, что подозрительность, эта мрачная спутница ревности, идет рука об руку с честолюбием? В ревнивой стратегии, конечно же, коренится животнo-эгоистическое начало, принуждение, диктат над свободным выбором. Ревность враждебна объективности: не допуская сравнения, она стремится сохранить у другого человека выгодную для себя картину соотношения, вернее, не допустить никакой: я — единственное, неповторимое божество, и все тут.

У Чернышевского высшая альтруистическая любовь отвергает ревность. Вернее, не отвергает (это не то слово, в нем лицемерие), а просто не знает, перестает знать. Она снова приходит к уступке высшему рангу — тому, кого предпочли, — но теперь уже добровольной. Такая уступка не только уравнивает ранги сторон, но ставит уступающего морально выше. Это изысканная победа над победившим.

Но можно ли рассчитывать, что моральный подвиг одиночки, выведенный в «Что делать?», станет всеобщей нормой?

Думается, если это и возможно, то не под влиянием моральных проповедей или административных постановлений. Нет ничего проще, чем объявить ревность «предрассудком», «пережитком прошлого».

Одним из ходячих обвинений, выдвигавшихся в свое время против социалистов и коммунистов, было, между прочим, то, что они якобы хотят ввести общность жен. Против этого энергично и не без иронии возражали творцы «Коммунистического Манифеста». Дело тут, конечно, не в следовании библейской морали («не пожелай жены ближнего своего, ни двора его, ни осла его...»), а в трезвом учете глубинной психологии. Ревность — враг, о котором легко рассуждать, но страшно встречаться; Пушкин, блистательно угадавший душу Отелло, сам был мучим жестокой ревностью. Не будем же брать на себя ответственность прогнозов и утверждать, что высокая сознательность вкупе с наукой изживут ревность у наших потомков: это их дело, и им будет видней. Но все-таки и мы не бессильны: человек несет в самом себе силу, способную противостоять заключенной в нем темной стихии и если не уничтожить, то обуздать ее; все-таки можно подняться выше себя, и, пожалуй, стоит это делать почаще...



Я СЛУШАЮ ЕЕ ПЕСНИ

22 декабря 1967 г. «...А вчера у нас по телевидению показывали фильм «Стюардесса». И мне очень понравилось, как вы играете. Мне захотелось написать песню о стюардессе. Кажется, она получилась. И я дарю ее Вам, Аллочка! Как хочется, чтобы она Вам так же понравилась, как понравился мне фильм «Стюардесса»...

22 декабря 1967 г. «...А недавно, впервые за пять лет, у меня состоялась полторачасовая встреча с родным городом. Уговорили устроить «вылазку»... Поехали мы вчетвером, и я увидела Курган во всей его красе. Как он вырос и помолодел! А ведь городу уже за 300 перевалило! Впечатлений у меня было от поездки! Улыбалась сама себе и воспоминаниям. Все люди в тот вечер мне казались добрыми, и мне очень хотелось крикнуть: «Это — я!»

12 мая 1968 г. «...Знаете, Аллочка, вот я сейчас подумала — Театр на Таганке. Тотчас у меня возникла такая картина: узкая московская улочка со старинными фонарями. Их тусклый свет освещает старое массивное здание театра. Конечно же, это плод моего воображения, но мне все же очень хочется увидеть театр, где Вы работаете...»

20 января 1969 г. «...А перед Новым годом у меня была премьера на телевидении. Правда, прошла она не совсем удачно. Все актеры — мальчишки 5—6-х классов. Они разволновались и многое из текста забыли. Я после передачи позвонила, чтобы как-то утешить ребят. Обидно, конечно, ведь это мой первый сценарий. Но главное — не терять чувство юмора и не падать духом. Правда?..»

16 апреля 1969 г. «...Я рада, что песни Вам понравились. Вы правы, Алла, у меня еще несколько песен. Мне с песней жить легче. У нас в семье все любят петь. Знаете, даже моя бабуся чудесно поет. Это хобби бабуся, так сказать... Я купила органолу. И теперь хочу всерьез учиться музыке...»

7 сентября 1969 г. «...Дорогая Аллочка! Получила Ваше доброе письмо уже давно, но ответить все не могла — заканчивала вторую часть сценария для телевидения. Я полагаю, что нужно, наконец, подробнее рассказать о себе. Сейчас мне 22 года. Сколько себя помню, я всегда мечтала стать актрисой. Из-за любви к театру я оставила школу, окончив девятый класс. Поступила в студию при Курганском областном театре драмы. Это было в 1962 году. Училась я год. Было интересно, я была счастлива. Потом мне посоветовали окончить школу и поступить в театральный институт. Я ушла из театральной студии и поступила работать на студию телевидения. Продолжила учебу в вечерней школе. Однажды зашла в театр. Каково же было мое состояние, когда я

прочла, что утверждена на роль Галки в спектакле «Машенька»! Первая роль! А перед моей фамилией стояли заветные три буквы «арт». Я стояла и плакала настоящими горькими слезами. Оказалось, меня зачислили в штат, когда театр гастролировал в Магнитогорске. Я ведь ушла работать на телевидение, не предупредив руководство театра. Я была очень огорчена, но с мечтой и не думала расставаться. Так было. А теперь мне остается только представлять себя в той или иной роли: со мной случилось несчастье. Я теперь никогда не смогу ходить. Никогда! Мечту, разумеется, пришлось переменить, вернее, мечту о театре пришлось совсем оставить. И думать о жизни. Я вновь учусь, только теперь в заочной средней школе. Так же люблю театр, кино и песню.

Желаю сыграть Вам много хороших ролей! Самые теплые пожелания от моих родных и друзей!

С уважением Людмила Туманова.

Между письмами проходили дни, иногда месяцы. Они врываются в мою повседневность всегда неожиданно и остро. И от письма к письму проступал, как бы «проявлялся» образ этой девушки. Пять лет назад на улице ей нанесли множество ножевых ран. Долго она лежала в больнице. Врачи чудом спасли ее.

Вот уже пять лет Люду связывают с внешним миром только телефон, только близкие и друзья, которые приходят и рассказывают обо всем, что творится в городе, только почта. А почта иногда приносит письма даже из Индии — ей пишет индийский юноша Анил, который «через год закончит школу и мечтает получить высшее образование в России». А пока Анил учит русский язык, а Люда — английский.

Когда-нибудь, быть может, я приеду в город, который она так любит. Войду в комнату, где она обречена лежать. Увижу ее клетку со снегирем, ее органолу — «просто аккордеон на тонких ножках», познакомлюсь с ее родными и друзьями...

Когда-нибудь... А пока я время от времени включаю магнитофон и слушаю ее песни о театре — в них нет тоски и отчаяния, нет в них надрыва и уж, конечно, жалобы. Говорят, в песне — суть человека.

Многие любят театр. И многие пишут письма актерам. Но ведь любовь бывает разная. И письма тоже разные — утилитарные и поучающие, добрые и насмешливые, письма, вызывающие раздражение и приносящие радость.

И вот я с волнением и благодарностью вскрываю конверты с обратным адресом: «г. Курган, абон. ящ. 62, Людмиле Тумановой».

Алла ДЕМИДОВА

ПОВЕСТЬ О МЕДНОМ ЛЕБЕДЕ

По мнению археологов, медный промысел на территории Азербайджана начал развиваться еще в начале III тысячелетия до нашей эры. Уже в средние века азербайджанские мастера по меди отливали около восьмидесяти разновидностей медных изделий. Среди оружия, посланного из Азербайджана в XVI веке в дар русскому царю Федору Иоанновичу, был и медный щит с нанесенным на него слоем позолоты. На Кавказе были знамениты медные шлемы, изготовленные шемахинскими мастерами.

Центром медного промысла в Азербайджане по праву считается Лагич, горное поселение на берегу реки Кирдманчай, неподалеку от Шемахи. Здесь, в Лагиче, издавна жили и поныне живут мастера-умельцы кожевенных дел, кузнецы, башмачники и медники, и поселок разбит на районы соответственно профессии мастеров, по цеховому принципу.

Медные изделия в Азербайджане никогда не были предметом украшения: медь входила составной частью в быт народа; обилие медной посуды говорило о зажиточности семьи, медь собиралась и передавалась от поколения к поколению, она долго и безотказно служила людям; невеста, уходя в дом мужа, забирала с собой в виде приданого и медную посуду; медь кочевала вместе с кочевым станом, кормила и поила своих владельцев.

Имея чисто хозяйственное значение, утилитарный характер, медное изделие, однако, было произведением искусства. Художественная фантазия медников придумала такое множество форм и видов медной утвари, проявила такую щедрость орнаментовки медной посуды, что изделия эти и поныне восхищают.

Самая крупная медная посуда — это казаны-котлы, вмещающие три пуда риса. И к ним — огромные, метра два в диаметре, подносы — «меджмеи». Плов такого казана мог прокормить солидное кочевье — плов высыпался в «меджмеи», высыясь на нем как рисовая гора, кочевники садились вокруг «скатерти» — медного подноса, наедавшийся отходил, уступая свое место другому у этого круглого

жаркого пиршественного блюда. У такого рода казанов в отличие от казанов поменьше были массивные ручки по бокам, чтоб удобно было их поднять.

Всевозможны и неповторимы, как произведения индивидуальных, чаще безымянных, мастеров, кувшины — от большого, в котором носят обычно девушки или женщины воду из родников, и до малого — для хранения молока, для воды, для простокваши или кислого молочного напитка — айрана... Кувшины с горлом узким или широким, с длинной шеей или вовсе без нее, похожие на девичью фигурку, с острым или тупым носом, с ручкой простой или замысловатой, с особым отгибом для большого пальца. Такие кувшины обязательно покрыты орнаментом — резцом нанесены узоры: очертания птиц, человеческого лица, даже небесных тел — полумесяца или солнца, лепестка или листочка, абстрактного или определенного дерева, скажем, тувоника или гранатового.

Пиалы большие — для «жидкого» обеда, а малые — для воды или молока; и особая разновидность пиал — «джамы», из которых пили воду паломники, направляющиеся в далекие «святыи» мусульманские города, где покоится прах имама, — в Мекку ли, где похоронен Мухаммед, в Кербела ли, где покоится имам Гусейн, в Басру ли, где покоится имам Аббас, в Наджаф ли, где лежит самый «главный» шиитский имам Али, зять Мухаммеда и отец Гусейна... И тогда этот «джам», как, впрочем, и другая медная посуда, «сопровождавшая» паломника, вплоть до сковородки и казана, становится «чудодейственным», особо ценным сосудом, семейной реликвией.

Есть специальная медная посуда для бани, главным образом для женщин, а в домах побогаче и для самых маленьких девочек — «банный таз» и так называемый «сатыл» — плоский кувшин с ручкой сверху, как у ведра, вернее, ведерка... Женщины собирались в баню долго, как на праздник, — там можно блеснуть нарядами, золотыми украшениями, вдоволь поболтать — выход, так сказать, «на люди». И богатые женщины несли в баню покрытый витиева-



той резьбой, национальным орнаментом «медный сундук» с крышкой, закрывающейся на замок, где прятали свою одежду и драгоценности.

Особое внимание мастеров-медников было приковано к «царице» медной посуды — своеобразному кувшину, похожему на лебедя. Таков, во всяком случае, кувшин, красящий мою коллекцию медной азербайджанской посуды... Попытаюсь хоть как-то описать его, хотя задача эта не из легких, потому что на нем нет ни одного свободного от орнамента места, и каждый раз, вглядываясь в рисунок, открываешь для себя новый узор, новый орнамент, непременно увидишь то, чего не видел прежде...

Итак: собственно кувшин, ручка, крышка, изогнутый, как шея лебедя, длинный носик.

Крышка в виде шлема, затем удлиненная горловина в несколько ярусов, срезанные бока-стенки с четырьмя, один в другом, кругами; круги отделены друг от друга ребристой насечкой; на первом, наружном, круге — кружевная резьба; на втором, более широком, — вытянутые к центру круга капли; затем — узкий круг, «цепочка», и в каждом кольце цепи — цветок; и в центре круга «четвертый круг», — это лицо, образ солнца с глазами, «ртом», «бровями» и расходящимися вокруг лучами... Специалисты утверждают, что такого рода орнамент относится к XVIII веку... На носике — лица, множественность человеческих лиц, обвитых

лилиями, а там, где носик соединяется с кувшином,— сидящая мифическая танцовщица с четырьмя изогнутыми руками; в одной руке — три граната, на плечах — птицы, внизу, у одной из ног, — волчица, убегающая от нее, оглядываясь... На всем кувшине — множество птиц, я насчитал их сорок штук ровно, хотя не могу поручиться, что не спрятаны они, новые птицы, в зарослях орнамента... А вообще-то вырезанные на медной посуде животные и птицы — джейраны, птицы, сидящие на ветке или над бутонами, просто бутоны, розы, лепестки — излюбленные темы мастеров-медников; причем, бывает, птицы вырезаны клюв к клюву, что означает «влюбленные милуются» (это же означают и бутоны, вырезанные головка к головке); если же птицы отвернулись (как и головки бутонов) в разные стороны, то это означает, что «милые в ссоре»... На кувшине есть и рыбы; немало — насчитал дюжину — арабских надписей, пока, к сожалению, не расшифрованных. Это, по-видимому, стихи-изречения о радостях или горестях жизни; судя по общему настрою рисунков-орнаментов кувшина (солнце, гранаты, птицы), стихи эти должны быть мажорные.

Рассказ о медном промысле — рассказ без начала и конца, потому что каждое изделие — отдельная повесть о линиях, орнаментах, резьбе... Можно рассказать о разнообразных медных светильниках и подсвечниках, о шлемообразной крышке, которой накрывают блюдо с пловом, о медных обручах-ободах, на которые натягивают кожу, рождая барабан, о медных мангалах — больших чашах, на которых жарится шашлык или которые служат для обогрева шатра, если в них насыпать горящие угли и закрыть сверху крышкой, тоже медной, обо всем том, что составляет гордость культуры моего народа, свидетельствует о высоком таланте его мастеров-медников.

Одно время искусство медников было почти забыто. Причина этого — утилитарный характер медных изделий и посуды, ныне почти полностью замененных металлами попроще, подешевле. Ныне искусство медников возрождается, хотя молодежь идет в «медники» туго. И зря! Кому, как не молодым мастерам, поднять на новую ступень искусство, в котором народ выражает свое постижение прекрасного?..

Чингиз ГУСЕЙНОВ

ВСТРЕЧА В КРАСНОЙ ПАХРЕ

Московский городской комитет комсомола провел шестидневный семинар творческой молодежи столицы, посвященный 100-летию со дня рождения В. И. Ленина. В Красной Пахре собрались молодые писатели, художники, актеры, архитекторы, кинематографисты, музыканты.

Рабочий день семинара был насыщен и уплотнен до предела. С утра — лекции по важнейшим проблемам общественной жизни, политики, искусства. После обеда — секционные занятия, семинары, дискуссии. Вечером — фильмы, импровизированные концерты, гитара и разговоры далеко за полночь.

Встретились единомышленники, молодые люди, мечтающие отдать все силы души и таланта народу, родному искусству. Многие из них уже неплохо поработали и добились признания. Имена кинорежиссеров Л. Шепитько, Э. Климова, А. Митты, Э. Кеосаяна, П. Любимова, художника И. Обросова, актеров А. Миронова, Р. Нахапетова, поэтов и прозаиков Б. Рахманина, И. Волгина, Г. Горина, Б. Ларина, Н. Злотникова, музыканта А. Козлова известны читателям «Юности». Об одних наш журнал писал, другие — его постоянные авторы.

В ходе семинара определилось несколько основных тем, по которым развернулись плодотворные, острые дискуссии. Ленинское понятие партийности и современная советская литература. Проблема классового, социалистического гуманизма и последние фильмы молодых московских кинематографистов. Современность и реализм в работах молодых художников, чьи картины, портреты, натюрморты и гравюры экспонировались в Пахре.

Вместе с участниками семинара эти проблемы активно обсуждали профессор МГУ А. И. Овчаренко, заместитель председателя Комитета по кинематографии при Совете Министров СССР, кинокритик В. Е. Баскаков, народные артисты СССР Н. С. Плотников и В. В. Санаев, известный художник В. Н. Горяев.

Советское искусство развивается сложными, иногда противоречивыми путями. Есть заблуждения, ошибки и у молодых его представителей. Вместе с тем на семинаре справедливо говорилось о трудностях, которые переживают молодые художники, кинематографисты, сталкиваясь еще до выхода произведений к зрителю с фактами равнодушия и непонимания их творчества. С тревогой отмечалось, что некогда популярный Московский театр имени Ленинского комсомола находится в неудовлетворительном творческом состоянии и за последние два года растерял свою аудиторию.

Общее, единое мнение участников семинара — связь творческой молодежи с комсомолом должна еще более окрепнуть, превратиться в постоянное тесное и целеустремленное сотрудничество. Встреча в Пахре, хорошо и продуманно организованная МГК ВЛКСМ, важный аргумент в пользу этого мнения.

В работе семинара приняли участие секретарь МГК КПСС А. П. Шапошникова, секретарь ЦК ВЛКСМ А. И. Камшалов, руководители творческих союзов, видные советские писатели, артисты и ученые.

Е. ЮРЬЕВ



«Высший пилотаж» Ирины и Алексея

Фото О. Неёлова.

В феврале этого года в Колорадо-Спрингсе впервые за семидесятилетнюю историю чемпионатов мира по фигурному катанию победили дебютанты мирового первенства. Это москвичи Ирина Роднина и Алексей Уланов.

В свое время мы печатали беседу с Людмилой Белоусовой и Олегом Протопоповым. Теперь по традиции в «Юность» пришли новые чемпионы мира. Беседу с Ириной Родниной и Алексеем Улановым ведет спортивный журналист ГЕРАРД ЕЛЕНСКИЙ.

— Прежде всего расскажите о ваших первых шагах на льду. С чего все началось?

ИРИНА. Когда мне было полтора годика, я заболела туберкулезом легких. Даже в больнице лежала. А когда выздоровела, родители подолгу прогуливали меня на морозном воздухе. И чтобы продлить эти надоедавшие прогулки, мне купили коньки и записали в группу фигуристов детского парка Ждановского района. Там мне очень понравилось, и я готова была кататься сколько угодно. Через две зимы мы переехали на другую квартиру, и я стала ходить на каток Дзержинского детского парка в группу Зинаиды Ивановны Подгорной. Если прежде я каталась просто так, развлечения ради и для здоровья, то в Марьиной Роще перед нами



— Мы скользили по льду в каком-то самозабвении...



— Фигурное катание — это не балет на льду...



— В тот памятный вечер я даже заснул в обнимку с коньками...

ставились определенные спортивные задачи. И три года спустя я получила спортивный разряд. Затем папа перевел меня в ЦСКА. Он кадровый офицер и решил, что лучше, если я буду в спортивной организации его ведомства.

— А как же с вашим недугом?

ИРИНА. В ту пору меня уже сняли с учета в туберкулезном диспансере. Я была абсолютно здорова. А вот спортивные дела оставляли желать лучшего. Только на третью зиму в паре с Олегом Власовым я удачно выступила на всесоюзных юношеских соревнованиях 1963 года: мы заняли третье место. Однако вскоре Олег перешел в «Динамо», и около года я каталась одна, даже без присмотра тренера, пока секцию не возглавил заслуженный тренер СССР Станислав Алексеевич Жук. Он тщательно подыскивал мне партнера и в мае 1966 года, наконец, представил мне Лешу Уланова.

— Как же вы отнеслись к предложению кататься с парнем, который на первый взгляд вам совсем не пара? Ведь он намного выше вас ростом...

ИРИНА. Спокойно. Я понимала, что в одиночном разряде больших успехов не добьюсь, а тренеру виднее, с кем мне лучше кататься в паре. К тому же Лешу я уже знала немного по соревнованиям. Словом, мы взялись за руки и поехали.

— Леша, а каков был ваш спортивный путь до встречи с Ирой?

АЛЕКСЕЙ. А я как-то сразу, с раннего детства потянулся к конькам. Наверное, потому, что на них катались все ребята в нашем дворе. И меня очень обрадовал папин подарок — «снегурочки». Я прикручивал их веревками к валенкам и гонял по двору целыми днями, стараясь повторять разные «штучки», что проделывали заправские фигуристы на соседнем катке. Вскоре мне очень захотелось иметь фигурные коньки, и я их получил от папы в день своего семилетия — 4 ноября 1954 года. В тот памятный вечер я даже заснул в обнимку с коньками. Поначалу я катался на разных катках самостоятельно, но вскоре мама определила меня в секцию фигуристов на стадион «Труд» на Красной Пресне. Затем я был переведен на стадион Юных пионеров. Это было осенью 1955 года. Моим первым тренером стала Светлана Владимировна Смирнова, ныне солистка Киевского балета на льду. Когда она уехала из Москвы, тренеры стали часто меняться, лишь неизменно со мной занималась хореограф Татьяна Петровна Матросова, которой я всегда буду благодарен за внимание ко мне.

— Как определилось ваше спортивное амплуа?

АЛЕКСЕЙ. Это долгая история с перипетиями. Примерно с десяти лет я ездил на стадион вместе с младшей сестренкой Леной. Мы занимались в одной группе, где я был единственным мальчиком. В ту пору, да и сейчас еще, как ни странно, многие ребята продолжают считать фигурное катание спортом для девочек.

— Вы хотите сказать, что никогда не считали хоккеем или футбол более мужским спортом, чем фигурное катание?

АЛЕКСЕЙ. Нет, никогда. Кто сказал, что фигурное катание не мужское дело? Поддержка, например, — очень трудное упражнение, не легче, чем многие гимнастические или атлетические упражнения. Но если бегуну, прыгуну или штангисту позволительно любая гримаса в момент напряжения, то фигуристу такого не простят. Поднимаю партнершу, он должен улыбаться, будто для него сущий пустяк взметнуть над головой пятьдесят — шестьдесят килограммов. Приходится же это проделывать по многу раз за пять минут выступления, что требует немалой силы и вы-

носливости. Так что фигуристу необходима отличная разносторонняя физическая подготовка, во всяком случае, не меньшая, чем футболисту. Я на себе испытал, что значит стать мастером-фигуристом. Я долго тренировался как в одиночном катании, так и в паре с сестрой, а на соревнованиях выступал ниже своих возможностей.

— Почему?

АЛЕКСЕЙ. Прежде всего раздвоенность. Я лет на пять запоздал с выбором между одиночным и парным катанием. А вторая причина — дефицит времени. Ведь я на протяжении десяти лет одновременно занимался в трех школах: в спортивной, общеобразовательной и музыкальной. У нас в семье все увлекаются музыкой, и я, окончив музыкальную школу, поступил в Училище имени Гнесиных. А музыка требует ежедневных и продолжительных упражнений, равно как большой спорт — регулярных и напряженных тренировок. Но я не сетую на судьбу. Напротив, доволен ею. Занятия музыкой и фигурным катанием взаимосвязанны. Мне стало легче, когда после седьмого класса родители перевели меня в вечернюю школу рабочей молодежи № 18, что на улице Чехова. Там учатся многие фигуристы, а также юные артисты моисеевского ансамбля.

— Почему именно в этой школе?

АЛЕКСЕЙ. Да потому, что и те и другие частенько разъезжают. А педагоги и директор школы Галина Ивановна Мишанова во всем идут навстречу своим «блуждающим звездам». Организуют для них консультации, а главное, позволяют в любое время сдавать пропущенные зачеты. Их можно даже сдавать раньше, экстерном. Я воспользовался этим, подналег и за два года окончил три класса, получив в шестнадцать лет аттестат зрелости. А в восемнадцать лет я окончил по классу баяна Училище имени Гнесиных. И наконец смог больше уделять времени спорту. Вскоре меня призывали на военную службу, и я продолжал тренироваться уже в Центральном спортивном клубе армии. Там Станислав Алексеевич Жук мне сразу предложил кататься в паре с Ирой.

— Как вы восприняли это предложение?

АЛЕКСЕЙ. Был очень рад, но все же поначалу в ней сомневался. Вы видите, как она сегодня говорит? Еле слышно. А в шестнадцать лет она выглядела совсем ребенком и подстрижена была под мальчишку.

ИРИНА. Неправда, у меня тогда был «лисий хвостик».

АЛЕКСЕЙ. Что-то не помню, но спорить не буду.

— А почему Иру прозвали «птенчиком»?

АЛЕКСЕЙ. Она порой беззаботна, да и ростом мала. Я же на четверть метра выше и почти на пуд тяжелее ее. Вот она и выглядит рядом со мной птенчиком.

— А кто же из вас в паре главный?

ИРИНА. Я считаю, что в дуэте не обязательно быть кому-либо главным. Важнее «чувствовать локоть» партнера, быть уверенным в нем. Я, честно говоря, не люблю кому-либо подчиняться, и поначалу у нас с Лешей случались небольшие стычки на тренировках. Их теперь не бывает, но я нередко как бы соревнуюсь с ним. Он прыгнет высоко, а я хочу еще выше, он мчится быстро, я стремлюсь еще быстрее. Я не люблю уступать. Может быть, в этом-то и особенность нашей пары? Вот так мы и гонялись друг за другом на нашем первом выступлении.

— Когда это было?

ИРИНА. В марте 1967 года на международных показательных выступлениях, с участием призеров чемпионата мира. Я хорошо запомнила тот день на-

шего дебюта в лужниковском Дворце спорта. Мы тогда допустили немало ошибок, но в общем выступление прошло хорошо.

— Когда же состоялось первое выступление вашего дуэта на официальных соревнованиях?

ИРИНА. В ноябре 1967 года на первенстве Москвы. Мы показали свою «Молдавскую сюиту» и заняли третье место, хотя я выступала с травмированной ногой.

АЛЕКСЕЙ. Я был доволен, однако радужное настроение испортили начавшиеся пересуды в кулуарах. Некоторые, даже маститые специалисты осуждали нашу программу за то, что она чересчур насыщена трудными элементами в ущерб эстетике, будто мы идем по пути вульгаризации стиля и т. д. А кто даже звонил по телефону Ириным родителям и пытался их убедить в несоответствии наших внешних данных, в бесперспективности нашего дуэта. И невдомек было «доброжелателям», что они, сами того не подозревая, сослужили нам добрую службу: у нас появилась спортивная злость и страстное желание доказать правильность выбранного нами пути и то, что мы хорошая пара для фигурного катания.

— И когда же вы это доказали?

АЛЕКСЕЙ. Первый раз в начале декабря того же года в Минске, на матче олимпийских команд, где заняли первое место.

ИРИНА. Я была счастлива, так как прокатала всю программу значительно лучше, чем на тренировках. Словом, все прошло гладко. Через полмесяца мы заняли первое место на международных соревнованиях в Москве, правда, без участия Белоусовой и Протопопова. С ними, как с соперниками на льду, мы впервые встретились в начале января прошлого года на чемпионате СССР в Воскресенске.

— А не смущал вас тогда предстоящий спор за первенство с прославленными олимпийскими чемпионами?

АЛЕКСЕЙ. Как же, робели немножко, однако предстартовой лихорадки не было. Обязательную программу прокатали легко, уверенно и, получив высокую оценку 5,6—5,7 балла, вышли на третье место. Хорошо начали и произвольную композицию, как вдруг в ее третьей части Ира упала, хотя на тренировках никогда такого не случалось. Неожиданный срыв выбил нас из колеи. Последовали другие ошибки. Только удачный финал несколько выровнял положение. Нам достались бронзовые медали, а вместе с ними право выступать на чемпионате Европы.

— Как вы отнеслись к допущенным срывам?

ИРИНА. Мне тогда было очень стыдно перед тренером и ужасно обидно! Ведь так хорошо начали, с таким наслаждением я каталась, и вдруг надо же споткнуться на ровном месте!

— А как прошел ваш дебют на европейском первенстве?

АЛЕКСЕЙ. Менее удачно, чем мог быть.

ИРИНА. «Молдавскую сюиту» (обязательная программа) мы исполнили отлично, оценка судей колебалась в пределе 5,6—5,8 балла. А при исполнении произвольной программы повторилось то же, что и в Воскресенске. Я допустила два сбоя, растерялась, и вместо ожидаемых призов мы получили пятое место. И хотя, вообще-то говоря, для дебютантов это неплохо, но нас не послали ни на Олимпийские игры, ни на чемпионат мира! Сами понимаете, что переживали мы в то время. Даже завоеванный нами весной «Кубок СССР» не мог принести утешения.

— На первенстве страны этого года в Ленинграде вы опять были третьими. Как оценил этот результат ваш тренер?

АЛЕКСЕЙ. Он был доволен: ведь третье место снова давало нам путевку на первенство Европы. В ту пору мы, как никогда, были хорошо подготовлены, чувствовали себя превосходно, однако наша поездка в Гармиш-Партенкирхен (ФРГ) чуть было не сорвалась. Из-за обычной хоккейной шайбы. Фигуристы ЦСКА частенько после основных тренировок устраивают веселый хоккей, играя смешанными командами: парни и девушки вместе. И самый азартный хоккеист — Ирина. И вот незадолго до отъезда на чемпионат Европы во время такого матча шайба угодила Ире в переносицу. Вид у моей партнерши был столь живописен, что мы испугались: пошлют ли нас на европейское первенство? Но, слава богу, домашние и медицинские средства наконец помогли. Хотя все равно следы хоккейной баталии пришлось поначалу запудривать.

— Ира, а как вы теперь относитесь к хоккею?

ИРИНА. Буду играть. А что?

— Расскажите о чемпионате Европы, о своей победе.

ИРИНА. Мы приехали в Гармиш-Партенкирхен без своего тренера. По разным причинам он не смог прибыть, и мы очень расстроились.

АЛЕКСЕЙ. Ира присмирела и не проявляла свою обычную строптивость. Это «одиночество» заставило нас внутренне собраться, и старт был весьма удачен: по обязательной программе мы вышли на второе место после Белоусовой и Протопопова. Произвольную композицию волею жребия мы исполняли после них, последними. Мы вышли на лед под свист публики, выражающей свое несогласие с оценкой выступления предыдущей пары — своих соотечественников. Мы даже не слышали музыку — такой стоял шум. Но вот страсти на трибунах поутихли, а затем слышим, как публика нам дружно аплодирует. Эта неожиданная поддержка окрылила, и мы скользили по льду в каком-то самозабвении.

— Когда вы закончили выступление, то поняли, что стали чемпионами Европы?

ИРИНА. Я как-то об этом не думала, я была очень рада, что так хорошо каталась. Как никогда, хорошо!

АЛЕКСЕЙ. Трудно вспомнить те минуты, но по всему я почувствовал, что мы на первом месте.

— Что вы переживали, стоя на верхней ступеньке пьедестала почета?

АЛЕКСЕЙ. Я не осознавал в полной мере важности происшедшего. Все было как в тумане.

ИРИНА. А мне запомнилось, что Мила Белоусова сказала Олегу Протопопову (они стояли на второй ступеньке): «Наконец-то сразу три советские пары стоят на пьедестале почета» (Тамара Москвина и Алексей Мишин были третьими).

— Спустя несколько дней вы уже летели в Соединенные Штаты на мировое первенство...

ИРИНА. Настроение было превосходное. Впервые, на сей раз с нами был Станислав Алексеевич. А во-вторых, вся обстановка на горном курорте в Колорадо-Спрингсе снимала предстартовое напряжение.

АЛЕКСЕЙ. Кругом друзья, для которых фигурное катание, как и для нас, любимое занятие. И было такое ощущение, что ты приехал на праздник и радуешься, что этот праздник в то же время твоя обычная жизнь, жизнь спортсмена.

ИРИНА. Я немного говорю по-немецки. Леша — по-английски. Мы подружились с американцами Кауфманами, Джаннет Линн, Тимом Вудом, Джоном

Петкевичем, канадцами Липдой Карбоветто и Джей Хэмфри, с немецкой парой Штайнер—Вальтер, с Габи Зейферт, со спортсменами из Чехословакии Ханой Машковой и Ондреем Непела.

АЛЕКСЕЙ. Эти ребята полностью посвящают себя фигурному катанию, проводят целый день на льду, и у нас было много тем для бесед.

— Как сложилось для вас начало чемпионата? Когда вы почувствовали, что вам снова улыбается фортуна?

ИРИНА. После того, как мы заняли первое место по обязательной программе. А добиться улыбки фортуны было трудно, ох как трудно! Ведь Колорадо-Спрингс находится на высоте 2 200 метров — на 200 выше, чем Мехико! А ведь в Мехико не все олимпийцы выдержали испытание высотой.

АЛЕКСЕЙ. На этом чемпионате необходим был строгий самоконтроль. В медленной части стараешься отдохнуть, привести себя в норму, иначе не хватит сил.

— Как вы восприняли свою новую победу?

АЛЕКСЕЙ. Смысл спорта, я полагаю, в том, что бы бороться не столько с соперником, сколько с самим собой. Мы заставили себя выиграть в Колорадо, хотя было очень трудно. Мы победили самих себя.

— Олег Протопопов, как известно, считает, что фигурное катание — это прежде всего художественное, а не спортивное катание. А каково ваше мнение?

АЛЕКСЕЙ. Давайте подумаем, почему эти выдающиеся фигуристы вдруг сдали свои долго казавшиеся всем неприступными позиции в спорте? Да потому, что Белоусова и Протопопов исключили из своей композиции ряд сложных элементов, довели до минимума число поддержек...

ИРИНА. Есть у них такой пассаж: на протяжении 30 секунд Олег три раза подряд отводит и подводит к себе Милу, держа ее за пальчики. Это у них получается красиво, лирично. Лирикой насыщена большая часть их программ. Слов нет, они достигли неповторимого искусства выражения своих чувств и содержания музыки. Но ведь это прежде всего свойственно балету.

АЛЕКСЕЙ. А фигурное катание — это не балет на льду, а спорт, причем спорт, как я убежден, молодых. Ведь редко в наше время встретишь в спортивной элите фигуристов старше 25 лет.

— А как вы относитесь к упрекам, что в ваших выступлениях нет лиризма, как у Белоусовой с Протопоповым?

ИРИНА. Да, у нас нет такого лиризма, как у них, но скажите, почему я должна выражать то, чего не пережила за свои девятнадцать лет и что успели уже прочувствовать Мила и Олег? Я не хочу, не могу играть, как артистка. Зато я показываю что-то иное, свое, личное. Если бы мы стали копировать Олега и Милу, то никогда бы не выиграла у них. Но суть дела даже не в этом. Мы просто с тренером вы-

брали совершенно иной путь для достижения Олимпа в фигурном катании... Мы за остроту и новизну, а этого можно достигнуть только за счет усложнения композиции, насыщения программы элементами высшей трудности, за счет повышения скорости. Плавным катанием с красивыми переходами никого нынче не удивить.

АЛЕКСЕЙ. За счет чего мы сумели опередить олимпийских чемпионов на первенствах Европы и мира? Они сокращают в своей композиции число прыжков, а мы все увеличиваем. У них скорость уже не та, что прежде, а у нас она значительно выше. И мы убеждены, что будущее в фигурном катании за теми, кто все время будет усложнять свою композицию, будущее — за «высшим пилотажем».

— Кого вы считаете своим идеалом в фигурном катании?

ИРИНА. Мне кажется, что не может быть все идеальное сосредоточено в одном фигуристе или в одной паре.

На нашей беседе с чемпионами мира присутствовал их наставник — заслуженный тренер СССР СТАНИСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ ЖУК. В заключение он сказал:

— У меня многие и не раз допытывались: почему я свел в пару этих двух внешне, казалось бы, не подходящих друг к другу спортсменов? Именно на контрастности и построен мой замысел создания новой пары, но с тем, однако, условием, чтобы партнеры, разнясь, вместе с тем дополняли друг друга. Ирина по натуре импровизатор, она полна азарта и выдумок. Она находит истинное наслаждение в катании, и ей просто радостно и весело на льду. А чтобы в полной мере использовать ее индивидуальные особенности, раскрыть все способности, ей нужен особый партнер, качества которого мне даже трудно сформулировать. Я долго искал такого партнера Ирине, ко многим присматривался, и когда увидел на соревнованиях Алексея Уланова, понял, что таким партнером может стать только он. И, как видите, интуиция меня не подвела.

Но, несмотря на большие и безусловные достижения Ирины и Алексея, я далек от мысли переоценивать их успех. Им, да и другим фигуристам, не следует забывать одного очень важного обстоятельства: чтобы фигуристы какой-либо страны могли подняться на пьедестал международного почета, для их национальной школы фигурного катания кто-то должен вначале завоевать авторитет. И тут трудно переоценить роль Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова. К этим двум выдающимся спортсменам, так много сделавшим для советского спорта, я и мои ученики относимся с большим уважением. Однако у нас во многом иные взгляды на само содержание и характер фигурного катания. Ну а творческие споры всегда ведут к прогрессу.



А. и Л. Шаргородские

Александр
Савченко

КЕМ БЫТЬ?

Рисунок А. Цветкова.

Я с детства знал, кем буду. Помню, спрашивали нас в яслях, кто кем стать хочет. Ну, кто моряком, кто токарем, кто ученым...

— А я, — отвечаю, — хочу стать временным поверенным.

— Кем? — переспрашивает воспитательница.

— Временным поверенным, — повторяю. — В делах.

Ну, меня игрушек лишили. За это. Только потом двое ко мне подходят и говорят:

— Мы тоже решили временными поверенными...

Перешли мы в детсад.

— Кем будете, дети? — спрашивают.

Ну, кто врачом, кто лудильщиком...

— А я, — отвечаю, — буду временным поверенным.

— Кем, кем?

— Временным поверенным. В делах.

— Встань в угол, — говорит воспитательница. — Подумай над своим поведением.

А что мне думать, когда я с детства знаю, кем буду. Стою в углу. Трое подходят и говорят:

— И мы будем временными поверенными.

Отстоял в углу. Время пришло в школу идти.

— Ну, кем стать-то хотите, ребята? — спрашивает нас учитель.

Ну, кто летчиком, кто агрономом...

— А я, — отвечаю, — временным поверенным хочу. В делах.

— Хорошо, — отвечает учитель. — Давай дневник. Завтра без родителей не приходи.

Но меня этим не запугаешь. Я с детства знаю, кем буду. Мечту не задушишь. Собрал я друзей: из яслей тех двоих, из детсада троих, из класса несколько, — и организовали мы кружок «Юный временный поверенный». Я — основоположник. Потом в других школах привилось. Пошло. Диспут к 8-му классу провели. «Временные поверенные и лирики». В газету послали статью «Временные поверенные и физики». Самой популярной профессией стало. Герой всех произведений — молодой, ищущий временный поверенный. Мечта всех девушек — временный поверенный. С усами. Газеты о нас пишут, кино нас показывает, радио поет. Короче, к окончанию школы все решили стать временными поверенными. Конкурс ужасный — на временного поверенного, а на других — никого. А меня этим не запугаешь. Я с детства знал, кем буду. Давно готовлюсь.

В общем, когда конкурс достиг 100 человек на место, подал я заявление. На врача. Один — на сто мест. И поступил. Куда и хотел. С детства. Потому что готовился правильно.

БАЙКИ



ЧЕРТЫ БИОГРАФИИ

— Ах, как ему повезло! — хором говорили родственники. — Он высокий — в папу, красивый — в маму, сильный — в дедушку, любознательный — в бабушку, настойчивый — в дядю, общительный — в тетю.

— Да, не повезло нам! — вздыхали сотрудники на работе. — Он в папу нечестный, в маму хвастливый, в дедушку не дурак выпить, в бабушку сплетник, в дядю сквернослов и хитрый, как тетя...

ТАКОЙ ПАРЕНЬ

Учился он в школе лет 13 — ни больше, ни меньше.

Бывало, вызовут его к доске, стоит он — ни жив ни мертв.

Глазами мигает, двух слов не свяжет — ни бе ни ме.

А в институт все-таки попал — ни с того ни с сего.

Вроде и специальность хорошая, а для него она — ни уму ни сердцу.

Сядет перед профессором, зажмурится и — ни тпру ни ну.

Ему и наводящие вопросы, а он не знает ни то ни другое.

Но диплом опять-таки получил, можно сказать, ни за что ни про что.

Поехал на работу в деревню и



г. Ленинград.

Воспитание талантов

Рисунки М. Марьямова.

сразу там оказался ни к селу ни к городу.

Придет на ферму, сядет в уголок и сидит — короче, ни рыба ни мясо.

За год сменил целый десяток мест — ни много ни мало.

Да так и не прижился нигде — ни там ни сям.

Попал, наконец, в контору какую-то, где ни дать ни взять.

Стал работать спустя рукава — ни вашим, ни нашим.

Видят, что он за тип, и выгнали. Мол, не нужен такой — ни то ни се.

Если вы встречали такого у себя, сообщите нам и туда и сюда, а то о нем давно что-то ни слышу ни духу.

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА

Древняя формула «Ваня + Маня = Любовь» математически удивительно точна и неоспорима.

И, может быть, поэтому еще тысячу лет она будет сиять, высеченная нашими потомками на цоколях их прекрасных зданий, вырезанная на гранитных утесах.

Но — к делу...

Из приведенной формулы следует, что «Ваня = Любовь — Маня», а, в свою очередь, «Маня = Любовь — Ваня».

Вернувшись к исходной формуле и перенеся «Любовь» с обратным знаком в левую ее часть, мы видим, что

$$(Ваня + Маня) - Любовь = 0.$$

Иными словами, если от Вани и Мани отнять любовь, получится пустота.

Снова берем исходное уравнение и делим левую и правую части его на «Любовь», получаем:

$$\frac{Ваня + Маня}{Любовь} = 1.$$

То есть оба слагаемые, разделенные на разделенную любовь, дадут единицу — одну элементарную ячейку общества, короче, семью.

Предыдущую формулу можно представить в следующем виде:

$$\frac{Ваня}{Любовь} + \frac{Маня}{Любовь} = 1.$$

При условии равенства двух левых величин (между прочим, неизбежное условие) имеем:

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1.$$

Вот почему жена или муж говорят третьему человеку: «Знакомьтесь — моя половина...»

Математика — она все объясняет.

Г. Новокузнецк.



Семенов работал у нас бухгалтером.

Но разве это была работа? Это не работа... Это сплошной порыв, вдохновение, экстаз и виртуозность.

Мы все сбегались к двери бухгалтерии слушать, как Семенов работал на счетах. Деревянные костяшки счетов выбивали под его пальцами то жизнерадостную польку, то с кастаньетным роком бегали в ритме страстного фанданго, то задумчиво отщелкивали вальс.

Ну, а когда Семенов садился за арифмометр, — о, это мало было слышать! Это надо было видеть! Пальцы старшего бухгалтера вытряхивали из аккуратной счетной машинки Allegro moderato полугодового баланса со страстью и темпераментом, бегая по всяким там клавишам и табуляторам с невероятным изяществом и легкостью. Еще одно, казалось, еще одно мгновение — и прозаический арифмометр возьмет наконец «ля». То самое, верхнее...

— Как это вы так здорово, а? — спросили мы как-то у Семенова. — Где это вы так насобачились?

Семенов с живой готовностью дал интервью:

— Склонность и расположение к счетно-решающим устройствам я почувствовал в раннем детстве. Сколько себя помню, я всегда считал: на пальцах, на счетных палочках, на счетах, на арифмометре и, наконец, в уме. Но родители хотели видеть меня музыкантом. Мне ставили руку, мне меняли учителей и инструменты, меня

привязывали к рояльной табуретке, но ничего не помогало. Если я начинал считать «и раз, и два, и три...», то досчитывал до миллиона. В семь лет я понял, что старшее поколение меня не понимает. Родителям хотелось сделать из меня рояльного Ойстраха, пианинного Яшина, инструментальных Белоусову и Протопопова. Мама мне всегда говорила, что мальчик из такой семьи обязательно должен играть... Ну, а я считал. И музыканта из меня не вышло. Но зато мне поставили руку...

И Семенов выстукал на счетной клавиатуре легкое и изящное рондо суммы выплаты по больничным листкам за истекший квартал.

На столе мелким звоном зашелся телефон.

— Извините! — сказал Семенов. — Алло! Да, дорогая... Занят, дорогая... Нет, не совещание. Чего, чего? Свинка? Какая свинка? И температура есть? Ах, морская свинка! Пусть выбросит. И какая может быть свинка, если через месяц соревнование по обязательной программе! Не хочет? А ты ее привяжи к конькам... Гм-м...

Семенов зло взглянул на нас.

— Извините, я сейчас...

Мы деликатно вышли в коридор.

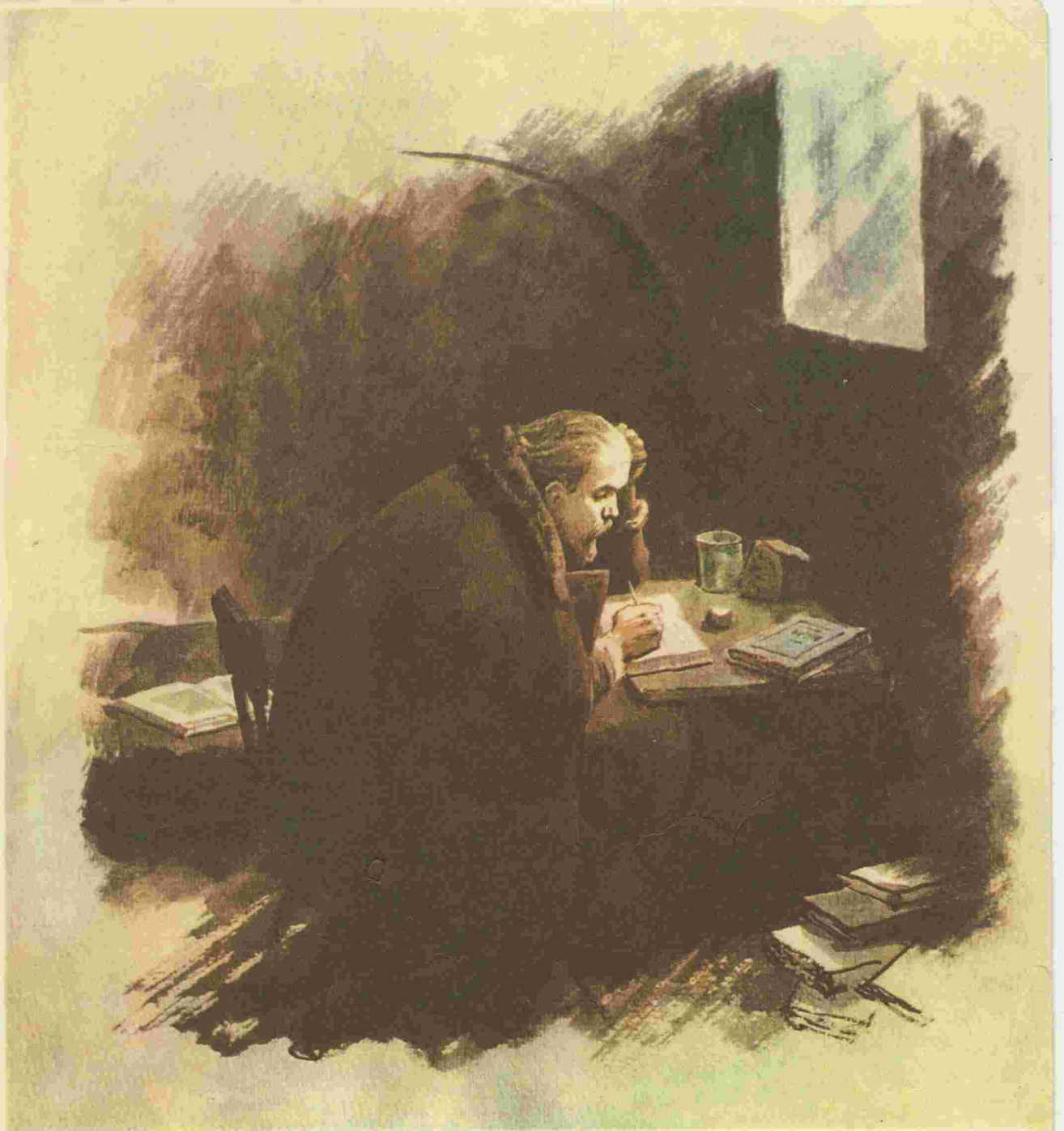
А в спину нам летели обрывки телефонных указаний, которые старший бухгалтер давал жене:

— Никаких свинок... только лед... тренировка... обязательно... тодес... высший класс... золотая медаль... обязательно... позорить отца... не позволю... морских свинок...

Нам оставалось только переглянуться. Что мы и сделали.

Г. Харьков.





Из иллюстраций О. Верейского
к книге М. Прилежаевой «Жизнь Ленина».

Петербург. 1896 год, тюрьма.

«...У Владимира Ильича из хлеба чернильница. Вместо чернил молоко. Он взял книгу и принялся выводить между строк молочными чернилами слова... писал на волю не письмо, а листовку».



Цена 40 коп.

Главный редактор Б. Н. ПОЛЕВОЙ.

Первый заместитель главного редактора
С. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ.

Редакционная коллегия: А. Г. АЛЕКСИН, В. И. АМЛИНСКИЙ,
В. И. ВОРОНОВ (зам. главного редактора), В. Н. ГОРЯЕВ,
Л. А. ЖЕЛЕЗНОВ (отв. секретарь), К. Ш. КУЛИЕВ,
Г. А. МЕДЫНСКИЙ, М. П. ПРИЛЕЖАЕВА.

Индекс
71120